

Ромен

Гари

Повинная голова

CORPUS

Повинная голова
Ромен Гари

Аннотация
Ромен Гари. Повинная голова
I. Мычание души
II. Пикаро
III. Налог на Гогена
IV. Таити, восход солнца
V. От Кона святым отцам
VI. Туризм в земном раю
VII. Ничего святого
VIII. Полицейский и История
IX. Большой белый идол
X. Художник за работой
XI. Меева
XII. Друзья в нужде
XIII. Пляска Чингис-Кона
XIV. Американская трагедия
XV. Святой Гоген
XVI. Что же до Христа…
XVII. Сила в действии
XVIII. “Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?”
XIX. Путешествие по земному раю

XX. Спасение души
XXI. Непобедимый
XXII. Мифологии
XXIII. На борту “Человеческого достоинства”
XXIV. Даровое горючее
XXV. Еще одно поражение Запада
XXVI. Наш французский китаец
XXVII. А если это правда?
XXVIII. Трагедия подлинности
XXIX. Сигнал тревоги
XXX. Кон – колониалист
XXXI. Апофеоз Барона
XXXII. Адам и Ева в земном раю
XXXIII. Ловушка для Кона
XXXIV. Профессионалы
XXXV. Гром и молния
XXXVI. Адам и Ева в земном раю (окончание)
XXXVII. ЦРУ
XXXVIII. За новые Женевские соглашения
XXXIX. Благая весть
XL. Святотатство
XLI. Гоген отомщен!
XLII. Повинная голова

Аннотация

Ромен Гари (1914-1980) – знаменитый французский классик с российскими корнями. Настоящее его имя – Роман Кацев, а псевдоним Гари происходит от русского глагола “гореть”. Под другим своим псевдонимом – Эмиль Ажар – он стал единственными в истории лауреатом второй Гонкуровской премии.

“Повинная голова” – роман мистификатора о мистификаторе. Молодой красивый оборванец без роду и племени живет в хижине на Таити с прекрасной таитянкой и выдает себя то за художника, то за прокаженного, выкачивая деньги из богатых туристов. Подлинное его имя окружено тайной. Все только гадают, почему, пытаясь порвать с цивилизацией и ускользнуть от самого себя, он сбежал на этот остров, который ловко сумел обложить “налогом на Гогена”.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Ромен Гари
Повинная голова

Romain Gary
La tête coupable

© Éditions Gallimard, Paris, 1968
© Éditions Gallimard 1980, pour l’édition définitive
© И. Кузнецова, перевод на русский язык, 2002, 2024
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024
Издательство CORPUS ®

* * *

Для романиста, хотя прямо это не говорится, фигура пикаро[1] несет двойную нагрузку: это зеркало на пути Истории и одновременно бунтарь, восстающий против всесилия Власти во всех ее формах, которую он либо дурачит, либо выставляет на посмешище, не имея других способов с ней бороться.

Стефан Заяда. Происхождение романа

[1] Примечания: 1

Пикаро (от исп. *picaro)* — обманщик, пройдоха, персонаж плутовских романов. (*Здесь и далее, кроме особо отмеченных случаев, — прим. перев.)*

I. Мычание души

Чонг Фат удрученно взирал на оборванца: это был момент горестного братства, когда человек, видя падение ближнего, чувствует, что затронута и его собственная честь. Кон стоял с пристыженным видом, опустив голову и пряча руки за спиной: он только что утратил право носить имя, под которым до сих пор фигурировал в энциклопедии “Ларусс”, — прямоходящее млекопитающее.

Отпираться не имело смысла: китаец накрыл его на месте преступления. Кон забрался в кухню через окно, однако холодильник оказался заперт на ключ, и когда Чонг Фат вышел на шум с веером в руке, со спущенными подтяжками и голым пузом, выпиравшим из расстегнутых штанов, он застал американца на четвереньках лакающим жидкую кашу из плошки, которую владелец ресторана “Поль Гоген. Настоящая кантонская кухня” оставлял по вечерам для котенка.

Чонг Фат, скорее всего, не читал труд Шпенглера о закате западной цивилизации и глубоко опечалился, увидев американского гражданина

в такой недостойной позе.

— Стыдитесь, месье Кон. Соединенные Штаты — великая держава. И американец, который позволяет себе так опускаться на островах Тихого океана, в то время как его отечество героически сражается, чтобы сдержать натиск красных…

— Желтых, — шепнул Кон.

— Коммунистов, — сурово поправил китаец.

Французский подданный и убежденный голлист, Чонг Фат говорил с сильным корсиканским акцентом, который многие поколения жандармов и таможенников насадили, словно экзотические цветы, в разных уголках Таити, где преобладало произношение бургундское с примесью овернского.

— Нам всем стыдно за вас, месье Кон. Не забывайте, что каждый американец является здесь в каком-то смысле посланцем своей страны. А судьба свободного мира зависит сегодня от престижа Соединенных Штатов. Вам следовало бы это знать.

Потупившись и чертя ногой круги на полу, Кон изображал стыд за звездно-полосатый флаг. Надо уважать убеждения ближнего, особенно если вы только что взломали его кассу и завладели порядочной суммой.

— Здесь, на Таити, моральное падение белого человека не может остаться незамеченным, — заключил китаец.

Да уж, подумал Кон. Надо было мне ехать во Вьетнам, там это не так бросается в глаза.

— Подумать только, есть кошачий корм!

Кон убедительно изображал полное нравственное одичание. Главное — выиграть время. Услышав шаги китайца на лестнице, он быстро задвинул ящик-кассу, успел каким-то чудом выскочить в кухню, опуститься на пол и схватить кошачью плошку. Он почесал внизу живота, в который раз дав себе слово зайти в аптеку и купить ртутную мазь. Никогда не следует забывать о братьях наших меньших.

— Извините, — сказал он тактично, как принято между благовоспитанными людьми, продолжая при этом яростно чесаться. — Я где-то подцепил лобковых вшей.

— Вы совершенно отвратительны, — сморщился Чонг Фат.

Кон был польщен. Он всю жизнь страдал от неутоленной жажды совершенства.

Он глядел на плошку, которую Чонг Фат с негодованием совал ему под нос, и думал: неужели вот такая жидкая каша останется скоро от китайского

народа, равно как от русского и американского? С тех пор как он недавно открыл по рассеянности газету, он никак не мог освободиться от бремени своих новых преступлений. В Пекине он именем “культурной революции” вбивал колья в рот старым профессорам — “мандаринам” — и перерезал сухожилия танцовщицам “западного” русского балета. На своей социалистической родине он отправил в ГУЛАГ еще несколько диссидентов, огласил с трибуны ООН, с точностью до десятых и сотых, сколько миллионов детей должны в ближайшем будущем умереть с голоду в Азии и Африке, и попутно продолжал отравлять землю радиоактивными отходами. Даже здесь, в Полинезии, он ожидал со дня на день взрыва созданной им ядерной бомбы, которую готовили к испытаниям на атолле Мурурoа[2]. Так было всегда: мир наваливался на него всей своей тяжестью, едва он переставал заниматься любовью.

Но напрасно Кон искал покоя в бродяжничестве и прятался от самого себя, надеясь забыться, — в глубине его сознания потребность видеть человечество достойным этого звания оставалась все такой же мучительной и неотступной. Порой

[2] Примечания: 2

Мурурoа — остров архипелага Туамоту, где Франция в 1964 и 1968 гг. проводила ядерные испытания.

он даже задавался вопросом, не есть ли его ерничанье своего рода мычание души, испытание огнем[3], которому он подвергает свою внутреннюю веру, чтобы она всякий раз выходила из него победоносной, окрепшей и непоколебимой.

Мне не хватает голоса, подумал он, рисуя большим пальцем на полу ноль. Только наш брат Океан[4] способен говорить от имени человека.

За окном, распахнутым настежь, запахи сада растворялись в нежности тихой ночи, и природа, казалось, знать ничего не знала о своих сыновьях, оставивших ее.

---

[3] Примечания: 3

Намек на легенду о Фаларисе, тиране из Акраганта (Сицилия), правившем в VI в. до н. э. Согласно преданию, он сжигал врагов заживо в бронзовом быке. Доносившиеся наружу вопли казнимых напоминали мычание.

[4] Примечания: 4

“Брат Океан” — цикл книг Р. Гари, в который входит “Повинная голова”.

II. Пикаро

Кон, который звался вовсе не Кон и был вовсе не американец, мечтал сравниться в циничной беспечности с испанскими плутами-авантюристами золотого века, прозванными “пикаро”. Первым из них, как утверждает некий Посада из университета Саламанки, был Хуан Вальдес, псевдоконкистадор, псевдонунций и много еще чего псевдо, повешенный в 1602 году; народ любовно именовал его *hijo de puta*[5], и легенды о его подвигах долго жили в Кастилии, передавались из уст в уста и без конца сочинялись заново. Пикаро вели приятную жизнь за счет испанской казны более полутора веков, меняли имена чаще, чем сорочки, и оставались в каждой новой ипостаси не дольше, чем требовалось, чтобы украсть кошелек или соблазнить девушку. Это были веселые плуты без чести и совести, пройдохи, дурачившие власть и всех ее представителей без разбора: королей, сеньоров, церковников, богачей, военных. Кон жаждал уподобиться им, вновь отыскать живительную струю уда-

[5] Примечания: 5
Сукин сын *(исп.)*.

чи, беззаботности и веселой насмешливости. Но, несмотря на все старания, ему не удавалось достичь подлинной непосредственности, и он постоянно ощущал себя самозванцем: за всеми его плутнями крылось внутреннее смятение, и он ясно слышал в них несносное идеалистическое мычание. Стоило бежать на Таити! Он нес на своих плечах мир, куда бы ни шел, и ноша эта была для него непосильна.

Чонг Фат продолжал его распекать, но Кон давно уже не слушал. Несколько дней назад он не устоял перед искушением и стащил в книжной лавке “Майн кампф” Мао Цзэдуна[6]. С тех пор его мучили кишечные колики и рвота, которые он приписывал не только действию маленькой красной книжечки, которую имел неосторожность проглотить, но и фразе, произнесенной Мао позднее, с высоты своего олимпийского величия: “Войны — это всего лишь мелкие эпизоды…” От одного этого человек может начать есть дерьмо, не то что кошачью кашу.

Кона вдруг охватило такое ощущение бессилия — бессилия бесконечно малого перед величай-

[6] Примечания: 6

Скорее всего, имеется в виду так называемая “Красная книжечка”, цитатник Мао Цзэдуна, популярный в 60-е годы среди западных маоистов.

шей силой всех времен — Глупостью, — что от сочетания ярости с затянувшимся воздержанием он испытал недурную эрекцию, словно благосклонная природа хотела развеять его сомнения в собственных возможностях. “Войны — это всего лишь мелкие эпизоды…”

Временами Кон думал, что люди должны поставить ему когда-нибудь памятник. Да, он лодырь, распутник и вор, зато он не совершил ничего великого и за одно это заслуживает благодарности потомков. Придет день, когда матери будут приводить детей к его статуе и говорить: “Посмотри хорошенько! Этот, слава богу, ничего не сделал для человечества”.

Из глубины ночи послышался рокот Океана у коралловых рифов, и Кон, как всегда, когда слышал этот дружественный голос, с облегчением почувствовал, что его состояние понято и выражено.

Он поднял глаза.

— Хватит, Чонг Фат, — рявкнул он. — Я уже давно зарабатываю на жизнь тем, что являю народам третьего мира поучительную картину упадка Запада. И я не первый, кто до этого додумался. До того как приехать сюда, я провел восхитительный месяц, побираясь перед по-

сольством Соединенных Штатов в Нигерии. Я стоял на тротуаре с протянутой рукой: “Подайте обнищавшему белому…” И кстати, я считаю, что таким образом поддерживал африканцев. Это поднимает их моральный дух. В конце концов американский посол назначил мне ренту, пятьдесят долларов в неделю, чтобы я перебрался попрошайничать к посольству Франции… Но, к сожалению, “Геральд трибюн” разгласила мою выдумку…

Такое действительно было. И примерно в тот же период газеты писали еще о двух пикаро, которые процветали многие годы, утверждая, будто это они сбросили атомную бомбу на Хиросиму и теперь изнемогают от угрызений совести. Один из них, получая по шестьсот долларов за лекцию, открыл в Сан-Франциско магазин сувениров Хиросимы, которые с большой выгодой продавал чувствительным людям. К счастью, он успел вовремя смыться, зато второй оказался на нарах, потому что парень, который действительно бомбил Хиросиму, подал на него в суд и потребовал возмещения ущерба.

— А потом я переехал на Таити, чтобы демонстрировать падение и разложение Запада в более приятном климате. И когда я встаю на четверень-

ки и жру корм вашего котенка, вы должны меня благодарить. Это же конец белой расы. Пробил час Китая. Привет!

Махнув на прощание рукой, он перескочил через подоконник, унося в кармане тридцать тысяч франков из кассы.

III. Налог на Гогена

Таитянская ночь, которую именовали “покровительницей ласк” во времена, когда вещи еще называли своими именами, осы́пала его милостями. Всякий раз, когда она принимала его в объятия, Кону казалось, что он попал в воздушный гарем, где невидимые наложницы вьются вокруг него, расточая едва ощутимые знаки любви и заботы; он чувствовал себя окруженным некоей изначальной женственностью, состоящей из нежности, тайного трепета, прикосновений, вздохов и многообещающих нашептываний. Состояние благодати достигалось мгновенно, оставалось только ждать явления *вахинэ*[7]. Так таитянская ночь исполняла свои обязанности по пробуждению чувственности, возложенные на нее древними, истинными богами.

Китаец, конечно, до завтра денег не хватится, а к тому времени они уже будут приятнейшим образом потрачены. Половину Кон намеревался отложить на покупку красок, хотя и считал это напрасной тратой. Полотна, которые он подпи-

---

[7] Примечания: 7
От таитянского *vahine* — женщина.

сывал Чингис-Кон (этот псевдоним он принял в память о другом известном смутьяне — комике из кабаре и еврее по национальности, расстрелянном немцами во время войны, — чувствуя себя в каком-то смысле его реинкарнацией[8]), писали ученики из мастерской Паавы. Но туристы, посещавшие Дом наслаждений[9], ожидали найти там “творческую обстановку”, посему приходилось держать разбросанные на видных местах тюбики с краской и несколько “незавершенных” холстов.

Кон открыл эту золотую жилу почти сразу по прибытии на остров, полтора года назад: таитяне жили в атмосфере культа Гогена, своеобразной смеси гордости и чувства вины. Когда-то они бросили его подыхать в нищете, среди всеобщего равнодушия, бесконечных неприятностей с полицией и властями, не говоря уж о лютой ненависти миссионеров, последний из которых, преподобный Анри де Лаборд, проживший дольше остальных, писал через тридцать лет после

[8] Примечания: 8

Имеется в виду герой романа Р. Гари “Пляска Чингиз-Кона” (в переводе Л. Цывьяна “Пляска Чингиз-Хаима”).

[9] Примечания: 9

Дом наслаждений — так Гоген назвал свой дом на Маркизских островах.

смерти художника: “Хотелось бы, чтобы об этой жалкой личности перестали наконец говорить”. Теперь здесь благоговейно чтили память того, чьи картины, растиражированные в репродукциях и открытках, оказались так полезны для создания таитянского мифа и развития туризма в “земном раю”.

Короче, пустовала отличная вакансия, и Кон решил ее занять, чувствуя себя в амплуа Гогена весьма комфортно. Он задумал обложить Таити податью, которую окрестил “налогом на Гогена”, и, несмотря на конкуренцию, недурно преуспевал — благодаря, главным образом, своей внешности и предосудительному образу жизни. Фуражка капитана дальнего плавания, золотая серьга в ухе, пиратская борода и испепеляющий взгляд необычайно импонировали туристам. Весь остров знал фарэ[10] художника в нескольких километрах от Пунаауиа, с двумя деревянными эротическими скульптурами — точными копиями тех, что Гоген установил перед своим жилищем в Атуоне к великому негодованию епископа Маркизских островов. Дом наслаждений Кона сохранил от оригинала

[10] Примечания: 10
От таитянского *fare* — дом.

только название, но директор туристического агентства “Транстропики” Бизьен намеревался в ближайшее время реконструировать подлинный дом Гогена на линии туристического маршрута, разработку которого он как раз завершал. На местных жителей распутство Кона, его скотские повадки, нелады с властями и ненормативная лексика производили наилучшее впечатление, вполне соответствовавшее немеркнущему воспоминанию о его великом предшественнике, а также лубочному представлению о “про́клятом художнике” и “непризнанном гении”. Для пущего правдоподобия Кон время от времени выставлял в Папеэте какую-нибудь богопротивную мазню, собственноручно им сотворенную, которая так шокировала добропорядочных обывателей, что полная безнаказанность была ему гарантирована: никому неохота было связываться с еще одним Гогеном.

Таким образом, мнение, будто люди склонны повторять свои ошибки и не умеют извлекать уроков из истории, не всегда соответствует действительности.

Кону не сразу пришла в голову идея “налога на Гогена”. В первые месяцы жизни на Таити турагентство платило ему по двадцать франков в

день за то, что он исполнял перед туристами роль “бродяги с южных островов”, — это безотказно действовало на европейцев, воспитанных в духе романтики и начитавшихся книжек об экзотических странах. Кон подошел к делу творчески и обогатил образ, внеся в него кое-что от себя, чем снискал глубокое уважение Бизьена. Им был создан типичный персонаж современной истории: “бывший”. Бывший соратник Фиделя Кастро по Сьерра-Маэстра, утративший революционные иллюзии и бежавший на Таити, где теперь, с разбитым сердцем, влачит жалкое существование; бывший талантливый ученый, разочаровавшийся в науке, которая свернула на путь гибельных ядерных экспериментов, и бежавший на Таити, где теперь, с разбитым сердцем, влачит жалкое существование; бывший коммунист, разорвавший после Будапешта партийный билет и бежавший на Таити, где теперь, с разбитым сердцем, влачит жалкое существование; бывший режиссер из Голливуда, продавший свой талант и бежавший на Таити, где теперь, с разбитым сердцем… Бизьена восхищала легкость, с которой Кон изобретал, повинуясь капризам настроения, все новых и новых “бывших”, сидя за столиком кафе, где экскурсовод Пуччони, дабы отметить

“случайную встречу”, угощал бродягу с южных островов, а тот за даровую выпивку рассказывал о себе — после долгих уговоров, нехотя, под сочувственными взглядами иностранцев. И не было случая, чтобы преисполненные сострадания слушатели не вручили несколько купюр своему гиду, чтобы тот тактично передал их “бедняге”. Подлец Пуччони взимал с этой суммы двадцать процентов комиссионных, что Кон расценивал как проявление глубокой безнравственности.

И даже теперь, хотя Кон уже давно работал Гогеном, его все еще тянуло иногда поимпровизировать перед публикой — это случалось, как правило, в тягостные минуты, когда он вдруг оказывался наедине с самим собой и со своим подлинным прошлым — тем, от которого он бежал на Таити, где теперь, с разбитым сердцем, влачил жалкое существование…

Отправившись за своим мотоциклом, оставленным недалеко от “Гранд-отеля”, Кон шел по улице Поля Гогена, мимо лицея имени Поля Гогена и площадки, где начиналось строительство музея Поля Гогена. Меж тем пятьдесят лет назад братья из католической миссии и епископ Мартен именовали “жалкую личность” не иначе как Поль Гаден.

Шум прибоя всегда казался ночью более грозным и яростным, может быть, потому, что Океану передавалась тревога людей. Млечный Путь распластывал по волнам шлейф своих световых лет, и Океан мерцал легкими блестками, сыпавшимися с неба, словно монетки разменянной вечности. Лагуна, мачты шхун и кокосовые пальмы островка Моту-Ута наслаждались покоем в лунном свете. А где-то под всем этим спал вулкан, давший некогда жизнь Таити и потухший давным-давно, напоминая Кону все померкшие огни былых распрей и истощившихся надежд. Из них-то и образуются впоследствии камни.

Со стороны бидонвиля, мешаясь с рокотом прибоя, неслись крики, музыка и смех таитян и китайцев, праздновавших взятие Бастилии парижанами. Эти звуки вызывали у Кона зуд в ногах. Ему не терпелось пуститься в пляс.

Он уже сидел на белом мотоцикле с широким, точно крылья, рулем, вызывавшим у него порой ощущение, будто он Георгий Победоносец и сейчас отправится на поиски дракона, как вдруг рядом затормозил хорошо знакомый “ситроен”.

У сидящего на водительском месте Рикманса был хитрый, всезнающий, преисполненный самодовольства взгляд законченного кретина

и прямой пробор ровно посередине непроходимо тупой головы. Даже в темноте глаза его искрились глупостью. Кон считал его достойным преемником жандарма Шарпийе, который некогда составил знаменитый протокол, где обвинял Гогена в езде по городу “на транспортном средстве без габаритных огней” — в ту пору это была единственная конная повозка на всем архипелаге. Впрочем, Кон не держал зла на Рикманса за то, что произошло семьдесят лет назад. Гоген тогда был единственным художником на Маркизских островах, а Шарпийе — единственным жандармом. Они не могли не встретиться.

— У вас будут крупные неприятности, Кон.

— У меня крупные неприятности уже две тысячи лет. Подите к черту!

Когда Кон выходил из себя, его закипавшая ярость давала о себе знать львиным рыком. Сидя на мотоцикле, держа одну ногу на земле, другую на педали, без всякой иной причины, кроме ощущения бессилия, Кон своим *basso profondo* принялся извергать проклятия, адресованные Рикмансу лишь постольку, поскольку тот имел уши. Кон сбежал на Таити, чтобы ни в чем не участвовать, и главной его заповедью было ни в коем случае не читать газет. Но он стал

жертвой обстоятельств. Торопясь по нужде, он схватил первый попавшийся номер “Франс-суар” у китайца из Фии и устроился под гуаявами с великолепным видом на бухту Манурева. Спустив штаны и присев орлом, он в ожидании событий машинально бросил взгляд на приготовленную газету. И на первой же странице узнал, что он продолжает резню в Камбодже, недавно отравил газом йеменских детей, а в Пекине насмерть забил ногами старика, который осмелился, несмотря на “культурную революцию”, хранить дома партитуру Бетховена. На странице три Кону сообщали, что он сумел создать бактериологическое оружие нового поколения, а также газы нервно-паралитического действия, а на странице пять — что он участвовал в марше протеста вместе с чикагскими неграми, крича: “Смерть белым собакам!”, и вместе с белыми, крича: “Смерть черным собакам!”, так что на одного человека собак получалось многовато. Кон пришел в такое бешенство, что у него напрочь отказали функции кишечника, и он потом чуть не отравился слабительным.

И вот теперь Кон орал не своим голосом. Что именно — значения не имело, лишь бы выпустить пар. Не было места ни живописи, ни

музыке, ни литературе перед лицом Силы, оставался лишь нечленораздельный вопль, рев первобытного ужаса, вновь возрождавшегося в нем. Могущество крика, как утверждал Кафка, столь велико, что способно сокрушить античеловеческие законы. Но, плюнув в лицо центуриону Флавию, воздвигшему крест, Иисус закричал — и продолжает кричать по сей день, с той самой минуты, как палач вбил первый гвоздь в Его правую длань, и, когда Кон пытался сосчитать гвозди, вбитые в тело Христа за два тысячелетия, ему становилось ясно, для чего люди придумали электронно-вычислительную технику.

Рикманс вытаращил на него глаза:

— Что это с вами?

Но Кон уже успокоился. Могущество крика, о котором говорил Кафка, было иллюзией, однако сам крик приносил облегчение. Расчищались дыхательные пути. Неплохое упражнение по системе йогов.

— Чего вы разорались?

Кон сурово взглянул на полицейского.

— С каких это пор человеку нужен повод, чтобы орать? — осведомился он.

Ласковый воздух изливал на них свою благоуханную нежность, и с ветвей на их грешные

головы сыпались алые лепестки. Природа сжалилась над ними. Дыхание ночи расточало бесчисленные щедроты. Незримые мотыльки тыкались им в лицо, а светлячки окружали их мерцанием земных звезд. Океан смолк, и от имени Кона говорить стало некому.

— Мне доложили, что вы опять позировали для порнографических снимков. Я же предупреждал, что если это повторится…

— Я не позировал. Меня сфотографировали без моего ведома. Я не знал. Я тихо ловил кайф. Пуччони неожиданно привел туристов в мое фарэ. Я стоял к ним спиной, занимался этим стоя…

— Но вы потребовали с них деньги!

— Из принципа. Нечего снимать меня без спросу, да еще в такой момент. Безобразие! Сущее бесстыдство! Они обязаны были попросить разрешения.

В этой истории с фотографиями не было ни слова правды. Очередной навет мерзавца Вердуйе. Но Кон и не думал отпираться, наоборот: каждый такой факт работал на его репутацию. Вносил дополнительный оттенок подлинности в образ опустившегося бродяги без чести и совести, каковым он стремился выглядеть на Таити. Лучшей маскировки не придумаешь. Люди не подозрева-

ли, кто он на самом деле, и Кон чувствовал себя в безопасности. Конечно, хорошая амнезия не помешала бы, но нельзя хотеть от жизни всего. Он глумливо подмигнул Рикмансу и укатил.

IV. Таити, восход солнца

Бидонвиль тянулся вдоль пляжа на выезде из Папеэте в сторону Пунаауиа, и на много километров вокруг стоял запах человеческих тел. Это был хороший, честный запах, откровенно оповещавший о своем происхождении. В каждой лачуге оркестр играл тамуре[11], не имея никаких музыкальных амбиций и стремясь лишь не рухнуть от изнеможения раньше танцующих. Кон отыскал Мееву в “Рике”, где оставил ее ненадолго одну, чтобы добыть в кассе Чонг Фата денег для празднества. Он схватил ее за руку и пустился в пляс, раскорячившись по-лягушачьи, виляя бедрами и постепенно совершая поворот на триста шестьдесят градусов, в то время как Меева, не сходя с места, бешено вертела задом, извиваясь в древнем танце, который некогда, во времена невинности и простоты нравов, исполнялся вокруг мужского полового органа, пребывавшего в глубинах своей извечной родины, а его обладатель, затаив дыхание, сдерживался изо всех сил, сколько мог, пока наконец, дав себе волю,

[11] Примечания: 11
Тамуре — полинезийский танец.

не уступал место следующему. Капитанская фуражка давно слетела, Кон веселился на полную катушку: глаза блестели, борода была устремлена вперед, ягодицы — назад, улыбка прочно обосновалась под гордым, победоносно торчавшим носом, кстати, полностью измененным с помощью пластической операции, в ухе болталась золотая серьга, из-под ног летели комья земли, гениталии тряслись от непрерывного кругового движения, время от времени он жмурился, отдавая все лицо улыбке, почесывал лобок, дабы усмирить насекомых, или, подцепив со стола бутылку, лил вино себе в рот, не переставая ни на миг тамурировать, хватая мимоходом за попу какую-нибудь таитянку, чтобы взбодриться, и истекая потом под несмолкаемый треск фотоаппаратов в руках туристов, счастливых, что могут запечатлеть в естественной обстановке “бродягу с южных островов”. Так Кон плясал и плясал, останавливаясь лишь раз в час, чтобы увлечь Мееву на пляж, где освобождался путем оргазма от остатков сожженной вьетнамской деревни, ядерного паритета или очередной гнусной акции хунвейбинов. Отдышавшись, он бросался прямо в одежде в Океан, а потом снова возвращался на праздник: танцуя, Кон испытывал чувство

такой свободы и беззаботности, такого веселья и радости жизни, что в эти минуты действительно не имел с человечеством ничего общего.

За столиком в полном одиночестве сидел с неприступным видом Барон — так Кон прозвал этого идеального джентльмена, который был настолько невозмутим и безучастен, что казалось, свалился с неба и случайно попал прямо на таитянский праздник. Костюм в клетку, канареечного цвета жилет, бабочка, серый котелок, не говоря уж о лаковых туфлях, гетрах, перчатках и тросточке, сверкали ослепительной чистотой, и всякий раз, когда он попадался Кону на глаза во время очередного пируэта, у оборванца на мгновение возникала мысль о Боге — на мгновение, потому что у человека нашей эпохи, кровавой и свинской, подобные мысли не удерживаются в голове дольше секунды. Но столь безупречная чистота в сочетании с полной отрешенностью и бесстрастием не могла вызывать никаких иных ассоциаций. Он был чист до такой степени, что в нем не ощущалось ничего человеческого.

Никто не знал, кто такой на самом деле этот Барон, и даже факт его существования, вследствие полного самоустранения и отказа участвовать

в чем бы то ни было, начинал вызывать сомнения. Время от времени Кон дружески кивал ему издали, но ответа не удостаивался, как не удостаивается ответа свыше какой-нибудь ревностный католик, коленопреклоненно возносящий молитвы в деревенской церкви все пятьдесят лет своей жизни.

Около пяти утра Кон снова потащил Мееву на пляж, но на сей раз уже не смог оказаться на должной высоте. Он совершенно изнемог. Так он и лежал лицом вверх на песке, глядя на звезды. Иногда какая-нибудь из них падала. Но в принципе они были подвешены надежно и держались крепко, что заставило его задуматься о вшах.

— Напомни мне завтра купить мазь. Не представляю, где я мог подцепить эту дрянь. Ни сантиметра чистого не осталось на этом острове.

Занимался день, небо потихоньку освобождалось от желтушной тьмы. Белое полотно прибоя поднялось, вздулось и скользнуло к черным рукам разомкнутого кораллового кольца островка Хева-Оа: так он каждый день облачался на заре в свежую рубашку. Океан постепенно вновь обретал свой утренний голос. Пирога с рыбаками выплыла из-под кокосовых пальм, пересекла прибрежную отмель и застыла, словно повиснув

в некоем отдельном мире, который являл собою уже не ночь, но еще и не день, не Океан и не небо. Это была специальная предрассветная пирога, которую “Транстропики” высылали в этот час, чтобы потешить взор туристов при пробуждении. Само небо, казалось, спешило на встречу с “чарующими рассветами”, обещанными во всех рекламных проспектах: оно торопливо подпускало розоватые, золотистые, оранжевые оттенки всюду, куда положено, достигая восхитительных эффектов.

— Ах ты, шалава! — ласково шепнул Кон, задрав голову.

— Не смей мне хамить! — возмутилась Меева. — Моя прабабка спала с самим Помаре Пятым[12], про это в книжках написано!

— Это я не тебе, а небу, — ответил Кон.

Нервная усталость проходила, силы возвращались. Он поиграл сначала с этой мыслью, потом с Меевой, которая тут же помогла ему своим свежим язычком, той удивительной прохладной влагой, которая лишь распаляет огонь. Пирога, картинно стоявшая на фоне зари, его раздражала: все-таки надо иметь хоть каплю стыда! “Тран-

---

[12] Примечания: 12

Помаре V — последний король Таити, правил с 1877 по 1880 г., когда остров был объявлен французской колонией.

стропики” потеряли чувство меры. Чересчур расстарались. Меева тоже, и ему пришлось слегка ее придержать. Он не спешил снова оказаться на *no man’s land*, где человек пребывает в состоянии беспомощного ожидания, пока над ним не смилостивятся законы природы. Законами природы он был сыт по горло.

— Погоди, мы сейчас займемся этим все вместе…

— Как это все вместе?

— Ты, я, небо, Океан. Еще пара минут, и будет очень красиво… Смотри, там, над Муреа, все уже красно-зеленое…

— Кон, а ты можешь посмотреть для разнообразия на меня?

— Подожди, говорю тебе, мы сейчас возьмем в компанию небо и Океан…

— Ах так, меня одной тебе мало!

— Тьфу, черт! Не понимаешь ты творческую душу!

— Почему, очень даже понимаю. У меня есть глаза. Я на нее уже давно смотрю, на твою творческую душу. Не спорю, она очень красивая.

— Ага, есть, вот оно, солнце, поехали…

— Дались тебе эти красоты, Кон. Ты же все равно закрываешь глаза, когда кончаешь.

Он подложил руки ей под ягодицы. Нет, никто его не переубедит: счастье на земле есть. У него были полные руки счастья, и он уже готовился издать ликующий рев, как вдруг почувствовал, что Меева отвлеклась.

— Смотри, какой-то тип нас снимает.

Кон повернул голову. Под кокосовой пальмой он увидел *попаа*[13], уткнувшегося в видоискатель фотоаппарата.

— Да что ж это такое! — возмутился Кон. — Не стало никакой возможности спокойно трахаться, обязательно поблизости окажется какой-нибудь придурок с фотоаппаратом! Вот ублюдки, они добьются того, что у меня будут комплексы. И я уже не смогу без фотографов!

Он высвободился.

— Эй, вы там! — крикнул он.

Незнакомец поднял голову. Маленький туристик, унылый и щуплый, в белых носках и бермудах, выглядел смущенным.

— Извините, пожалуйста, — пролепетал он и снял шляпу. — Я хотел сфотографировать, как солнце встает.

— Весьма польщен, — отозвался Кон. — Сфото-

---

[13] Примечания: 13

От таитянского *popa'a* — иностранец, белый человек.

графируйте и покажите вашей жене. Пусть хоть знает, что такое бывает.

Турист нервно хихикнул и исчез. Кон посмотрел ему вслед. На миг возникло дурное предчувствие и тут же рассеялось. Слежка? Да нет, исключено. Ведь он избавился даже от отпечатков пальцев, а лицо ему хирург в Каракасе изменил до неузнаваемости.

— Ну, мы топопо или мы не топопо? — нетерпеливо спросила Меева.

— Топопо! — решительно ответил Кон.

И отвернулся от своих преступлений.

V. От Кона святым отцам

Кон был настроен решительно: он не желал больше терпеть козни Вердуйе, настало время положить этому конец. Несколько дней назад он потребовал, чтобы Бизьен выбирал: Вердуйе или он. И директор “Транстропиков” вызвал их обоих для разговора.

В десять утра Кон сел на мотоцикл, чтобы прибыть к назначенному часу в турагентство, где должно было состояться окончательное объяснение между ним, Вердуйе и Бизьеном. Но не успел он отъехать, как у него лопнула шина. Кон отвел мотоцикл к фарэ и решил голосовать на дороге, ведущей в Папеэте, однако на острове его все хорошо знали и, едва завидев, жали на газ. Так он стоял около получаса, пока вдали не появился мопед, на котором маячила фигура в белом — молодой доминиканец отец Тамил.

Тамилу было не больше тридцати, но Кон боялся его как чумы: он никогда не знал, чего ждать от преподобного отца, имевшего диплом агре-

же[14] по филологии. К тому же он как-то странно поглядывал на Кона, и Кона это тревожило. Он постоянно опасался, что его узнают. Это было чисто нервное. Он уселся сзади, заняв место привязанного к багажнику цыпленка, которого положил перед собой.

— Ну как? — спросил он монаха.

Накануне Кон предпринял своеобразную попытку примирить Гогена с его заклятым врагом монсеньором Татеном, иначе говоря, чувственное жизнелюбие с католической церковью. Он принес в дар школе при миссии одно из своих “полотен” — в надежде, как выразился он в сопроводительном письме, “увидеть его висящим на том месте, в коем некогда было отказано знаменитой картине моего учителя «И золото их тел»”. Эта картина была написана Гогеном во время безнадежной борьбы с властями за отмену распоряжения, запрещавшего таитянкам не только ходить с обнаженной грудью, но даже носить парео. В наивности своей Гоген придумал военную хитрость: попытаться заставить школу при миссии принять от него в дар “И золото их тел” — если это получится, то бой за наготу туземных

[14] Примечания: 14

Агреже — ученая степень во Франции, дающая право преподавать в средней и высшей школе.

женщин будет наполовину выигран.

— Поздравляю, — сказал доминиканец. — Ваша картина благосклонно принята.

И он вкратце рассказал, как все происходило. Накануне Татен вызвал его на совещание миссионеров, курировавших школьное обучение. Самые почтенные из них — преподобные отцы Зик, Сафран и Этли — насчитывали вместе около двухсот тридцати лет. Явившись, Тамил застал их в полном смятении. Несмотря на преклонный возраст, все трое сновали по кабинету на удивление проворно, но как-то смущенно и беспокойно, напоминая трех белых кроликов. Общими усилиями они отволокли к окну огромный пакет и принялись бережно, хотя и с заметной опаской, освобождать его от газет, в которые “дар” был заботливо обернут монашками. Татен, с острой бородой, густыми бровями и прозорливым взглядом, которым видел насквозь нечистые души — а он немало их разоблачил на своем веку, — стоял заложив руки за спину и безмятежно смотрел, как разворачивают картину. Преподобный Зик нервно развязал последнюю бечевку, преподобный Сафран снял последний лист газеты, а преподобный Этли, пятясь, забормотал молитву, явно готовясь к худшему. Тамил, засунув руки в

карманы, подошел к распахнутому окну с видом на Океан и, отвернувшись, чтобы скрыть душивший его смех, погрузился в созерцание того, что люди именуют безбрежным пространством. Картина была уже полностью освобождена от бумаги. Татен внимательно ее осмотрел.

— Ну и что? — спросил он ворчливым тоном. — С чего вы так переполошились? Что вы тут нашли ужасного? Это современное искусство, абстракция. И никакого святотатства я тут не вижу. Не вижу, и все.

Преподобный Зик, которому было восемьдесят четыре года, нетвердой рукой указал на несколько мест.

— Вот здесь, — пролепетал он, — здесь… и здесь…

— Что здесь? Что вы там увидели? По-моему, тут ровно ничего не изображено. Мешанина красок, преобладают красная и розовая, среди них серые пятна, и все. Ничего интересного, следовательно, ничего опасного. По крайней мере, это не наведет учащихся на дурные мысли.

— Позвольте-позвольте, — забормотал Сафран с сильным голландским акцентом. — Если вы присмотритесь повнимательней…

— Да они же везде! — воскликнул Зик.

Татен сдвинул брови. Взгляд его сделался еще прозорливее.

— Если я и могу здесь что-нибудь разглядеть, то разве что каких-то птичек, довольно скверно нарисованных, которые склоняются над своими гнездышками.

— Это не птички! — простонал преподобный Зик.

— И не гнездышки! — прошептал преподобный Сафран.

— А что же это тогда, скажите на милость? Объясните мне, потому что я, видимо, слишком туп.

Доминиканцы притихли.

— Это называется абстрактная живопись, — с напором продолжал епископ. — Она не стремится к сходству с реальностью.

Зик не выдержал.

— Ничего абстрактного здесь нет, — решительно заявил он.

— А что здесь, по-вашему, есть?

— Это очень неумело нарисовано, — забормотал Зик, — но каждому видно…

— Что?

Сафран в отчаянии воздел руки к небу. Некоторое время он пребывал в нерешительности, но все-таки на нем лежала забота о невинных

душах, трехстах чистых душах малолетних детей, которые каждое утро наполняли классы своим щебетом. Он отважно подошел к картине и обвел трясущимся указательным пальцем некие контуры. Татен внимательно следил за его движениями, потом пожал плечами и призвал на помощь Тамила.

— Вы тут что-нибудь разбираете?

— Ровно ничего, отец мой.

Епископ вздохнул с облегчением.

— Когда смотришь на абстрактное полотно, — снисходительно заметил он, — ни в коем случае не следует пытаться разглядеть знакомые очертания. Иначе в голову может прийти бог знает что.

— Но нельзя же оставлять эту картину в школе! — взмолился Зик. — Таитянские дети и так слишком рано созревают…

На сей раз Татен слегка растерялся. Кустистые брови сдвинулись, соединившись над переносицей в одну линию, глаза вновь устремились на полотно, и Тамил, давясь от смеха, увидел, как почтенный епископ силится направить свое воображение по пути, на который доселе оно еще ни разу не отваживалось вступить. Это длилось довольно долго. Когда Татен отвел наконец взгляд от картины, лицо его выражало одновременно

раздражение и любопытство. Он посмотрел на старого доброго Зика строго и осуждающе.

— Хотелось бы знать, что творится у вас в голове. По-моему, вы слишком давно находитесь на Таити, и вам уже мерещится невесть что…

У Зика в глазах стояли слезы, и Татен смягчился.

— Ну-ну, — проворчал он, — я знаю, что вы мало знакомы с такой живописью, это, разумеется, искусство не религиозное. Но не можем же мы выставлять себя косными консерваторами, невосприимчивыми к современным веяниям. И не надо выискивать в абстракции то, чего там нет.

Снова взглянув на картину, епископ очертил пальцем некое синее пятно.

— Если очень хочется, скажите себе, что это птички, которые вьются над своими гнездами среди густой таитянской листвы… К тому же и цвета здесь вполне гогеновские. Очень удачно.

— Это не птички, — повторил преподобный Зик с чисто германским упрямством. — Это…

— Ну, что?

— Это гениталии, — мрачно сказал Сафран. — Женские и мужские.

Повисло свинцовое молчание, и Тамилу стало

слышно, как бурлит Океан у коралловых рифов. Ему вдруг почудилось, будто Океан смеется и в его смехе звучит хохот Кона. Татен уставился на картину.

— Хм! — изрек он. — Надо же!

Он подозрительно оглядел остальных:

— А вот мне бы никогда такое в голову не пришло!

Сафран стал пунцовым. Зик испустил тяжкий вздох и устремил взор к небесам.

— Давайте разберемся. Где вы это видите?

— Везде, — отозвался Сафран с решимостью человека, которому уже нечего терять.

— Не будете ли вы так бесконечно любезны мне показать?

Преподобный Сафран шагнул к картине и провел по ней пальцем.

— Мы тоже поначалу ничего не заметили, — сказал он, оправдываясь. — Нам дети объяснили. К тому же Кон назвал картину “Земной рай”.

Тут уж епископ удивился по-настоящему:

— Ну и что? Что это доказывает?

Сафран хотел было что-то ответить, но не нашелся, дернул кадыком и промолчал.

— Дети просто подшутили над вами!

— А вот я ничего такого не увидел, — похва-

стался Этли.

Тут Сафран не выдержал. Все знали, что характер у него трудный, чтобы не сказать вздорный, и он явно не собирался в свои семьдесят девять лет, прожив жизнь в благочестии, воздержании и трудах праведных, сносить обвинения в том, что его на старости лет преследуют непотребные видения.

— Это половые органы, — заявил он твердо. — Их ровно двадцать. Мы с отцом Зиком пересчитали. Кон нарочно изобразил их нечетко, чтобы сразу нельзя было догадаться. Безнравственная личность, ведущая возмутительный образ жизни…

Татен воздел руки:

— Ну не станем же мы дважды наступать на одни те же грабли! Мы повели себя в истории с Гогеном глупее некуда, и уж поверьте, повторения этого я не допущу. Не хотите же вы, чтобы про нас говорили, будто мы как были, так и остались непримиримыми врагами художников и искусства вообще? Ничего предосудительного в картине я не нахожу. Я некомпетентен судить о ее художественной ценности, но ходят слухи, что этот человек — гений, и мы не станем брать на себя роль хулителей. Мы живем на Таити, и надо

уметь извлекать уроки из прошлого. Как сюда попала картина?

— Месье Кон преподнес ее в дар школе, — объяснил Этли.

— Ее нельзя здесь держать, — вскричал Сафран. — Монашки все просто в ужасе…

— Вы успели обсудить это с монашками? — полюбопытствовал епископ.

Снова воцарилось молчание, тяжелое и виноватое.

Епископ увел Тамила в дальний угол и некоторое время беседовал с ним там вполголоса. Он не питал никаких иллюзий относительно личности Гогена, его воззрений и привычек. Это закоренелый безбожник, способный на все, и его, разумеется, следует опасаться, но не упуская из виду соображения более важные. Монсеньор Мартен, епископ Маркизских островов, оказался в свое время на редкость неуклюж в своих взаимоотношениях с Гогеном, и этого ему, Татену, вполне достаточно, чтобы повести себя более тонко. Знание истории необычайно полезно. Ведь новый Гоген только того и добивается, чтобы церковь выступила против него и дала ему повод клеветать на нее и обвинять в мракобесии. Татен ухмыльнулся в бороду. Как и все высокопо-

ставленные лица Папеэте, он прочел кое-какие труды о жившем некогда на Таити враге порядка, церкви и общества. И не собирался поддерживать измышления о косности церкви, продолжая войну. В сущности, *терпимость* была бы Гогену отнюдь не на руку.

— Мы примем картину, и я поблагодарю художника при первом же удобном случае. Пожалуй, надо показать ее Вьоту, нашему ветеринару, пусть скажет, есть ли там на самом деле то, что вам привиделось. Если есть, мы уберем ее на чердак. Но будем хранить как зеницу ока. Мало ли что! Главное — избежать проблем с этим молодцом. Не хватало еще работать на его легенду, черт побери! Такие люди больше всего на свете любят прошибать лбом стену, а мы возьмем эту стену да и уберем! Когда стены нет, им кажется, будто перед ними то, что они абсолютно не в состоянии перенести, — пустота. Ведь они не видят дальше своего носа. Пустота!

И епископ сочувственно покачал головой.

Мопед с треском и шумом катил по дороге. Довольный Кон слушал рассказ доминиканца. Отлично сработано.

Некоторое время они ехали молча. Океан не отставал, иногда между пальмами мелькала его

вытянутая синяя морда или кончик белого уха, а возле лачуг местного бидонвиля женщины, стирая белье, обменивались впечатлениями после киносеанса, точно две тысячи лет назад после казни Христа. Кон так и слышал старые как мир слова: “Может, он и смутьян, но нельзя же делать такое с живым человеком!” Это не мешало им стирать белье, которое, кстати, все равно не отстирывалось.

Он поискал глазами Океан за кокосовыми пальмами. Всякий раз, видя пляж с нетронутым белым песком, Кон оживал. Он отчаялся потерять надежду. Стоило ему оказаться на берегу Океана, как сразу становилось ясно, что ничто не потеряно безвозвратно и еще можно начать все сначала. Он вспомнил, как всегда в такие моменты, стихи Йейтса, в которых слышалась гулкость первозданного мира, полного неисчерпанных возможностей:

Я ищу того, кем я был
До сотворения мира[15].

— Я сойду здесь.

Доминиканец остановил мопед:

---

[15] Примечания: 15

Имеется в виду стихотворение У. Б. Йейтса *Before the world was made,* которое автор цитирует неточно.

— Месье Кон!

— Что?

— Вы должны смириться. Вся ваша неистовая активность ни к чему не приведет. Я вам больше скажу, она напоминает шаманские заклинания, отчаянные попытки вынудить Отца Небесного как-то проявить себя. Лучше бы вы просто молились, как все люди. Это не так утомительно.

Кон разразился страшными проклятиями, не столько испытывая в этом потребность, сколько из принципа. Вдруг с верхушки одной из пальм сорвался кокосовый орех и пролетел в нескольких сантиметрах от его головы.

— О господи! — вырвалось у него от неожиданности.

Доминиканец рассмеялся:

— Сбор урожая кокосовых орехов при помощи богохульства! Это открывает новые перспективы перед трудовыми массами острова.

Кон чувствовал, что проиграл очко. Он взглянул Тамилу в глаза.

— Пожалуй, я кое-что вам скажу, — пробурчал он, — потому что не выношу, когда церковники возводят чувство вины к первородному греху. Моя история куда более свежая. Я приехал на Таити, чтобы забыться. Я контужен сотней кило-

граммов бомб, которые сбросил на вьетнамскую деревню, и теперь пытаюсь вытравить это из своей памяти. Погибли двадцать человек — дети, женщины. Вы же знаете благородный девиз мужчин: женщин и детей — вперед. Привет!

Кон пошел прочь. Единственная крупица правды во всей этой тираде заключалась в том, что Кон тяжело страдал от универсальности своего “я”, распространявшегося на все человечество. Тамил описал на мопеде идеально правильный круг и подъехал к нему:

— Отдайте цыпленка.

Для Кона это был нокаут. Он-то думал, что в такой эмоциональный момент доминиканец, расчувствовавшись, про цыпленка забудет. Кон нехотя вернул добычу, но посмотрел на преподобного отца с уважением, допуская, что, возможно, видит перед собой будущего Папу.

VI. Туризм в земном раю

Директор туристического агентства “Трансстропики” сидел за письменным столом рядом с гигантским глобусом, увенчанным в районе Арктики белой панамой. Директора звали Эрве Бизьен де Ла Лонжери, и в свои сорок пять он был главой фирмы, принимавшей в год около семи миллионов туристов со всего света. Непосредственно над его лысиной, которую он то и дело потирал, будто в надежде высечь искру гения, висел на стене девиз, выгравированный на круглом медном барельефе, изображавшем самого Бизьена в профиль: *If you can’t lick them, join them*[16].

Уже больше двух лет он занимался главным образом Таити. Жители загазованных городов мечтали вновь обрести земной рай, и Полинезия стояла на пороге невиданного туристического бума. Но, увы, больше пяти дней в земном раю делать было нечего, и проблема, чем заполнить более длительное пребывание на острове, стала головной болью для всех туроператоров. Таити не оправдывал свой миф. Таитянки старались изо

[16] Примечания: 16
Если не можешь их одолеть, присоединись к ним (*англ.*).

всех сил, но средний возраст приезжих колебался вокруг цифры шестьдесят пять, и “чарующие мгновения на жемчужном песке в лунном свете”, на которые намекали проспекты, сплошь и рядом оставались лишь мечтой. Между тем усиливалась конкуренция со стороны Гавайских островов, и недавно до Таити донеслась грозная весть, что на Гавайях хотят построить полинезийский Диснейленд, где будет со всей исторической точностью воссоздано прошлое Полинезии: “местные *тики*[17], святилища, таинственные обряды”.

Но существовало нечто, что Гавайи никак не могли украсть у Таити: это Гоген и мощнейшая даровая реклама, которую он невольно создал земному раю. Бизьен связывал с Гогеном большие надежды. Он разрабатывал концепцию “страстей” на основе таитянского периода его жизни, со всеми этапами мученического пути “про́клятого художника”, вплоть до одинокой смерти в Доме наслаждений. Наиболее шокирующие моменты должны быть, разумеется, исключены, такие, например, как ночи с “юными чертовками”, о которых он писал: “Они не вылезают из моей постели… Вчера у меня их было сразу три”,

[17] Примечания: 17

Тики — культовая скульптура (идолы, божки) некоторых полинезийских народов.

или история с порнографическими открытками, купленными в Порт-Саиде и развешанными над кроватью великого человека, чье имя носит сегодня лицей в Папеэте.

В данный момент великий промоутер хмуро взирал на стоящих перед ним кандидатов в Гогены. Двух Гогенов на острове быть не должно. Для себя-то он выбор уже давно сделал, но Вердуйе — человек нервный, и следовало обойтись с ним помягче. Этот тщедушный живописец не обладал ни подходящей внешностью, ни нужным темпераментом: маленький, плюгавенький, неказистый, он никак не соответствовал легендарному образу Гогена и вдобавок искренне верил в свой талант, что крайне осложняло работу с ним: он был несговорчив, обидчив и совершенно не располагал к себе публику. В его работах имелась даже некоторая самобытность, которая обескураживала и тревожила туристов: это не напоминало им ничего из уже известного. Целый год Вердуйе был для Кона как кость в горле. Он и так уже намучился с Эмилем, внебрачным сыном Гогена[18].

Помимо бесспорного физического сходства

---

[18] Примечания: 18
Эмиль Гоген умер в 1979 г. (*Прим. автора.)*

с отцом, у Эмиля был еще и столь же буйный темперамент, причем он ловко поддерживал соответствующую репутацию. Так, в октябре 1966 года жандармы застукали шестидесятипятилетнего Эмиля на пляже совершающим при лунном свете “развратные действия” с четырнадцатилетней таитяночкой. Против него завели уголовное дело за совращение малолетней, что окончательно утвердило его в статусе преемника, и газеты всего мира написали об этом интереснейшем факте.

Директор “Транстропиков” ликовал. Тут соединились все самые выигрышные аспекты таитянского мифа: прямая связь со славным прошлым, как бы ожившим вновь, пляж, кокосовые пальмы, лунный свет и четырнадцатилетняя таитянка, готовая дарить вам свою свежесть, даже если вам стукнуло шестьдесят пять — таков, как уже говорилось, был средний возраст иностранных гостей. Копию протокола с пикантными подробностями развратных действий, которые совершал Эмиль Гоген с юной *вахинэ*, оценили в пять тысяч долларов — такую сумму предложил за нее некий чикагский коллекционер, но ему отказали. Знаменитый протокол остался в архивах: полиция своим целомудрием не торгует.

Эмиля уговорили заняться живописью, и его часто видели в портовых кафе, где он цветными карандашами под стрекот туристических “леек” старательно срисовывал с открыток отцовские картины. Поначалу Кон даже думал с ним объединиться. Ничего не получилось, пришлось ограничиться мирным сосуществованием. Но Вердуйе — это уж слишком! Три Гогена — явный перебор. Директор “Транстропиков” задумчиво смотрел на них, вертя глобус. Рыжий хлюпик нервно почесывал щеки, покрытые рыжеватой щетиной, смахивавшей на филлоксеру. И вдруг его прорвало:

— Во-первых, я раньше сюда приехал! Во-вторых, мои картины более гогеновские. У меня и палитра, и фактура, и видение мира как у него, туристы это сразу чувствуют, и я не понимаю, с какой стати должен уступать кому-то свое место. К тому же я работаю сам, а его картины пишут китайцы у Паавы. Но когда я хочу назвать свою мастерскую Дом наслаждений, мне, по вашей милости, запрещают городские власти, заявляя, что дом с таким названием уже есть и находится на авеню Генерала де Голля!

Кон подошел к столу, выдвинул второй ящик справа, где Бизьен трепетно хранил свои сигары,

и взял одну.

— Не отказывайте себе ни в чем, приятель, — сказал Бизьен. — Кстати, жена моя сейчас дома одна.

— Нет уж, — отозвался Кон, — не надейтесь. Тут я вам не помощник.

Он обрезал кончик сигары, поднес спичку, выпустил дым и строго указал пальцем на конкурента:

— Вы бездарность, Вердуйе. Вы даже на собственном лице не умеете изобразить то, что надо. Это вы-то Гоген? Ой, не могу! Вы похожи на блоху, подхватившую насморк.

Вердуйе позеленел — бесспорно, это была его самая большая удача по части цветового решения.

— Мои работы покупают во всем мире! У меня контракт с “Галери Лафайет”!

— А насчет того, чтобы назвать ваше фарэ Домом наслаждений, спросите у любой таитянки из тех, кого вы донимали своими талантами. Говорят, им приходится трудиться целый час, чтобы вы от эскиза перешли к делу, но даже при гениальных дарованиях крошки Унано все, чего удается от вас добиться, по мелкости формата уступает разве что китайским миниатюрам.

— Ну-ну, — перебил Бизьен Кона. — Вердуйе

имеет полное право на любой формат. Нас это не касается.

Вердуйе чуть не плакал:

— Это мерзкая клевета!

— У вас нет ни капли темперамента! Да какой из вас Гоген…

Бизьен поднял руку, чтобы его унять.

— Позвольте, месье Кон. Должен заметить, что у Вердуйе есть перед вами одно важное преимущество. Он связан с нашим гением родственно-исторической связью.

Вердуйе вспыхнул от удовольствия и скромно потупился.

— Он внучатый племянник жандарма Клаври, изводившего Гогена до последних дней жизни.

— Ух ты черт, не знал! — воскликнул Кон, не сумев скрыть невольного восхищения.

— Вердуйе — наша ценнейшая историческая реликвия, — заключил Бизьен.

Вердуйе светился от гордости.

— Клаври — мой двоюродный дед с материнской стороны, это он привлек Гогена к суду, обвинив в “посягательстве на престиж жандармского корпуса путем оскорблений, грубой брани и провокаций”. У меня есть документы, подтверждающие это.

Кон всякий раз испытывал волнение, когда видел перед собой живую ниточку, тянущуюся к одному из великих покойников нашей истории.

Если бы прапрапрапраправнуков Иуды можно было отыскать и доказать их происхождение, они наверняка были бы сегодня нарасхват и за их подписями гонялись бы авторы петиций и манифестов. Если бы их звали, к примеру, Гюстав Искариот или Жан-Поль Искариот, они бы бдительно следили за тем, чтобы в мэрии не забывали указать через черточку еще и имя их предка: Жан-Поль Иуда-Искариот, Гюстав Иуда-Искариот, чтобы, не дай бог, не утратить главное фамильное достояние.

Считается, что Иуда повесился. Кон в это не верил. По его убеждению, Иуда жил до глубокой старости, во всяком случае достаточно долго, чтобы на исходе дней оказаться окруженным любовью и благоговением верующих, которые толпами приходили поклониться последнему живому человеку, имевшему непосредственное отношение к Распятию. И наверняка он всем предъявлял справки, подтверждавшие, что он действительно Иуда Искариот, великий исторический деятель, которому человечество стольким обязано, докучал каждому встречному-попереч-

ному нескончаемыми рассказами о том, как все происходило, и хвастался близким знакомством со знаменитым Иисусом из Назарета. А под конец просто стал невыносим, непрерывно требовал всеобщего внимания, почестей и выражений благодарности, возмущался, если его усаживали не во главе стола. Почти наверняка был беспощаден к иноверцам и призывал к крестовым походам, дабы обратить весь мир в христианство.

В книге Перрюшо[19] имеются на сей счет неопровержимые свидетельства. Гонители кичились знакомством с гонимым. “Выйдя в отставку и поселившись в департаменте Верхняя Сона, жандарм Шарпийе с волнением рассказывал про «мэтра Поля Гогена», выдающегося человека, «великого и несчастного художника», с которым он «имел честь» встречаться на Маркизских островах. «Я даже не подозревал, что на свете бывают такие люди, — объяснял он. — Истинный провидец!»” Клаври, по сведениям Перрюшо, еще более трепетно чтил память Гогена. Обосновавшись в Верхних Пиренеях, в Монгайаре, он открыл там табачную лавочку и, как рассказывает Бернар Вилларе, “благоговейно показывал клиентам ма-

[19] Примечания: 19
А. Перрюшо. Жизнь Гогена. 1961. Цитируется в переводе Ю. Яхниной.

ленькую застекленную витрину, где хранились деревянные фигурки, вырезанные человеком, которого он некогда травил, а впоследствии сделал своим кумиром".

И тут Бизьен показал себя истинным Наполеоном туризма. Он уже некоторое время сосредоточенно созерцал тощего человечка с желтоватой бородкой, который, в свою очередь, смотрел на него подозрительно и тревожно.

— Придумал!

— Что вы еще придумали?

— Вы будете Ван Гогом.

— Вот это да! — только и сказал Кон.

Вердуйе сидел набычившись, исподлобья глядя на них. Готовый Ван Гог, ощущающий себя жертвой тайного заговора.

— Внешность у вас подходящая…

Вердуйе, как и следовало ожидать, начал ломаться:

— Но все же знают, что Ван Гог никогда не бывал на Таити!

Бизьен пожал плечами:

— Ну и что? Все точно так же знают, что Гоген давно умер. Это же просто шоу. И мы обязательно сыграем на отношениях между Ван Гогом и Гогеном, их ссоры — важнейшая составляющая

мифа. Клише, засевшее у людей в голове. Только представьте себе, как эффектно вы с Коном станете браниться на террасе “Ваирии”. Все бросятся фотографировать! Есть же в Арле кафе “Ухо Ван Гога” с огромным неоновым ухом над входом…

Тут Вердуйе одолели сомнения творческого характера.

— Но я же пишу как Гоген, а не как Ван Гог!

— Вы перестроитесь.

Бедняга открыл было рот, чтобы что-то еще сказать, но Бизьен решительным жестом отмел все возражения.

— Вопрос стоит так, Вердуйе: есть у вас моральные обязательства перед Полинезией или нет? Мы отняли у туземцев их прошлое, их культуру и просто обязаны дать им что-то взамен.

Он с удовлетворением затянулся гаванской сигарой. Уловить иронию в его взгляде сумел только Кон, и то ему пришлось пристально всматриваться. Да, о таком партнере можно только мечтать.

— Все равно не понимаю, какого черта делать Ван Гогу на Таити, — буркнул Вердуйе.

Просто дегенерат. Бизьен проявил ангельское терпение.

— А какого черта полинезийские *тики*, которых здесь вообще больше не осталось, и прочие

исторические памятники Океании делают в западных музеях? Давайте назовем это, поскольку иначе вы не понимаете, культурным обменом.

— Но почему вы хотите, чтобы Гогена изображал американец? — прохрипел Вердуйе.

— Во-первых, Кон такой же американец, как вы или я, несмотря на акцент, который он блестяще имитирует. Кстати, я не знаю, кто он на самом деле, но это совершенно не важно. Во-вторых, большинство наших туристов — американцы. Пусть им будет приятно… Но я не собираюсь на этом останавливаться. Я хочу всерьез разыграть карту земного рая. Люди приезжают сюда в поисках нового эдема, так пусть они его получат. Я им устрою эдем со всеми аксессуарами — Адамом и Евой, Неопалимой Купиной и дальше по полной программе, вплоть до распятия Христа на фоне восхитительного пейзажа. Я решил разбить парк с аттракционами, в сравнении с которым гавайский Диснейленд будет выглядеть жалким балаганом. Одной только природы, роскошных видов и юных таитянок недостаточно, чтобы продержать здесь туристов больше четырех-пяти дней. Нужны фестивали, какие-то культурные действа, замки Луары, не знаю что, но все это можно соорудить. У нас тут еще проблемы со

сторонниками прогресса, которые и слышать не хотят о земном рае на Таити. Они мечтают о больших заводах и загрязнении атмосферы. Требуют индустриализации и одновременно развития туризма, что никак не сочетается. Но мы все уладим.

Кон был восхищен.

— Трюк с земным раем не может не сработать, — сказал он. — Ведь однажды он уже сработал и работает по сей день.

Наполеон туризма раскачивался в кресле, крутя глобус с панамой на Северном полюсе.

— И заметьте, никакой пошлости. Культурный автобусный маршрут от площадки Первородного греха до Гогена, Ван Гога и Виктора Гюго на скалах Гернси. Да мало ли что можно соорудить, были бы деньги! Уменьшенную модель Шартрского собора, Версаль в миниатюре… В моем распоряжении четыре гектара земли в красивейшем месте над Пунаауиа… Там запросто можно разместить всю историю человечества — от сотворения мира до Мэрилин Монро. Не забывайте, что у французов есть одно неоценимое преимущество перед американцами с их Диснейлендом: наша история на полторы тысячи лет длиннее.

Кон воодушевился.

— Великолепно! — заорал он. — Вы нанимаете человека, вся работа которого состоит в том, чтобы просто слоняться по острову в терновом венце, таская на спине крест и стараясь почаще попадаться на глаза туристам…

Бизьен тоже постепенно входил в азарт:

— “Хилтон” на полуострове Тайарапу и казино на Муреа, рулетка, баккара, кости… Поле для гольфа в красивейшем уголке планеты…

— И везде — *тики,* — подхватил Кон. — Закажем копии с тех, что выставлены в Музее человека в Париже…

При упоминании Музея человека Бизьена перекосило от злости.

— Святой Антоний среди таитянских женщин, в окружении знаменитых полотен с его изображением…

— Жанна д’Арк! Обязательно должна быть Жанна д’Арк!

— А как же! Включим в наш репертуар все самое лучшее и известное… Никаких заумных штучек, все просто как мычание, в гармонии с естественным окружением, наивно и безыскусно, в стиле Таможенника Руссо…

— Но все-таки нужен Бах! Как же без Баха?

— Будет им Бах, это денег не стоит. Нацепим по

репродуктору на каждую пальму, и кантаты Баха будут изливаться с небес…

— Пикассо!

— Святой Людовик!

— Маленький Освенцим! Среди американских туристов процентов сорок евреев!

— Освенцим и “Легенда веков”[20], которую юные таитянки будут декламировать при лунном свете…

— Мученичество святого Себастьяна, око Всевышнего над Каином, похищение сабинянок…

— Наполеон на острове Святой Елены!

— Кеннеди! Кеннеди обязательно! Куда ж без него?

— Кеннеди, исцеляющий прокаженных!

— Или Кеннеди, идущий по водам.

— И еще надо показать божью кару за попытку сохранить земной рай, возмездие в форме атомного взрыва на Мурароа. Должен же быть у всего этого назидательный конец…

— Будда! А как же Будда? Он непременно нужен!

— Моисей перед Неопалимой Купиной на вершине Орохены в лучах прожекторов, а Купина

---

[20] Примечания: 20

“Легенда веков” — эпический стихотворный цикл Виктора Гюго.

— неоновая!

— Избиение младенцев! — вопил Кон. — Где-то надо устроить избиение младенцев! А то будет чего-то не хватать!

— Телевизор в каждом номере!

— Королева Помаре, встречающая на коленях первых миссионеров!

— Епископ Мартен, омывающий язвы Гогена на смертном одре!

— Покаяние жандармов Шарпийе и Клаври!

— Высокопоставленные лица из администрации острова, несущие гроб Гогена!

— Да просто похороны Гогена, черт побери! На государственном уровне… А прах прямо в Пантеон…

— Пастер, открывающий пенициллин…

— Взятие Бастилии галлами!

До того как поселиться на Таити, Кон думал укрыться на каком-нибудь пустынном островке архипелага Туамоту. Но у него был хорошо развит инстинкт самосохранения. На необитаемом острове ненавистное человечество было бы представлено только им одним — он оказался бы в ситуации скорпиона, которому некого жалить, кроме самого себя.

Чуть покачивая головой, высоко взметнув ма-

ленькие брови, Бизьен вращал глазами, словно в поисках подходящего места для гильотины. Он переводил дух. Вердуйе не мог опомниться и сидел словно громом пораженный. Какое-то экзотическое насекомое с жужжанием билось о стекло, как самая обыкновенная муха.

Кон чувствовал, что на его глазах зарождается новый культ — культ туризма, великая жизненная основа которого состоит в том, что убийца всегда возвращается на место преступления, но на сей раз берет с собой жену и детей.

Посреди Диснейленда Кону виделся возмущенный, испуганный, убегающий прочь Христос, преследуемый организаторами культурного фестиваля: они гнались за ним с пластмассовым крестом, на удивление легким, пытаясь ему втолковать, что распятие будет чисто символическим, тем более что профсоюзные нормы не позволяют держать Его на кресте больше восьми часов в день. Его будут кормить, поить, он будет пользоваться социальными льготами, и единственное, о чем его просят, — это побыть как бы Христом, как бы распятым на как бы кресте в грандиозном парке с культурно-историческими аттракционами. Но Христос от них ускользнул и нашел убежище в чьем-то сердце на Таити. Он объявил сидячую

забастовку и наотрез отказался работать; любое упоминание о делах Человека или о готическом искусстве приводило его в бешенство.

Стоя спиной к окну, Кон с удовольствием курил гаванскую сигару.

На Вердуйе было больно смотреть. Он затравленно озирался, разрываясь между негодованием и боязнью оказаться в стороне от туристического бума. Со своей рыжей шевелюрой и обиженным выражением лица он действительно был похож на Ван Гога — в те минуты, когда продавцы картин советовали Ван Гогу сменить манеру, чтобы его работы не так “шокировали людей со вкусом”.

— Вы даже не понимаете, что вынуждаете меня поступиться своей творческой манерой! Я пишу как Гоген, не могу же я взять и за один день отречься от себя самого!

— Успокойтесь, друг мой, единственное, что от вас требуется, — это перевязать голову бинтом, надеть соломенную шляпу, отпустить подлиннее бороду и рисовать на набережной подсолнухи, бормоча время от времени что-то невнятное. По-моему, это не очень трудно.

Кон покинул кабинет Бизьена в состоянии такого омерзения, что пришел в себя только через

сутки с лишним после грандиозной попойки, из которой не помнил ничего, кроме лица Барона, сидевшего за столиком в “Кит-Кэте” и смотревшего на него в упор ярко-голубыми глазами. Барон был так безукоризненно одет, а Кон в тот момент чувствовал себя настолько грязным со всех точек зрения, что устроил безобразную сцену этому невозмутимому господину, озабоченному единственно тем, чтобы сохранить свою ослепительную чистоту. Он орал, что Бог не должен таскаться по подобным заведениям, что ему надоело, что за ним шпионят, что око Всевышнего не должно проникать в могилу и вечно наблюдать за Каином, что он не считает себя ни в малейшей степени ответственным за разрушение земного рая и ничего не имеет против водородной бомбы, которую собираются взорвать на Мурароа, и даже, напротив, находит, что ее еще мало используют. Его вышвырнули вон, а около двух часов ночи он в момент просветления обнаружил себя сидящим на высоком табурете и объясняющим бармену “Цветочной корзинки”, какой он, Кон, великий ученый: он изобрел штуковину, которая позволяет поймать человеческую душу и засунуть в мотор вместо горючего; у него уже есть такой мотоцикл, такая электробритва и зубная

щетка, и вообще у него все приборы такие. И это, в сущности, не что иное, как технический итог давно идущего духовного и нравственного процесса. С энергетическим кризисом покончено раз и навсегда. Осталась единственная загвоздка: опасность загрязнения атмосферы. Дальше он ничего не помнил.

Видимо, весь следующий день Кон проспал под бананами, потому что, когда он проснулся, вторая ночь близилась к концу. Волны бились о коралловый риф, неплохо имитируя биение негодующего сердца. На верхушке рифа, уже почти скрытой предрассветным приливом, метались в панике полчища крабов, ища какую-нибудь ниспосланную провидением щель. Металлические диски, надетые на стволы кокосовых пальм, чтобы защитить орехи от крыс, озарились по краям серебристым светом зари, напоминая нимбы, которыми великие шляпники Ренессанса увенчивали своих святых. Из стоявшей под пальмами лодки поднялась сероватая фигура, потянулась и удалилась. Это был человек-сувенир — из тех, что во множестве разбросала по берегам Океании эпопея Тура Хейердала: его звали Робер Кошлен, и он кормился тем, что выдавал себя за матроса с “Кон-Тики”. Кон встал. Приступ отчаяния про-

шел. Он чувствовал себя вполне бодрым, готовым продолжить борьбу и вновь облачиться в панцирь циничного пикаро, который он натягивал каждое утро.

VII. Ничего святого

Директор гостиницы Матаоа Дженкинс, насчитывавший нескольких настоящих полинезийцев среди своих английских, ирландских и китайских предков, смотрел на Кона свысока, как и подобает человеку, построившему пятидесятиметровый бассейн под самым носом у Тихого океана. Кон бледнел от ярости всякий раз, когда это возмутительное сооружение попадалось ему на глаза. Он не считал себя обязанным защищать интересы Океана, но бассейн на берегу моря воспринимал как личный вызов. Время от времени он совершал диверсионные вылазки, и несколько раз ему удавалось средь бела дня туда пописать. Не бог весть что, но, увы, это все, что он мог сделать для Океана. По этой причине, как и по ряду других, Матаоа Дженкинс глубоко презирал никчемного Гогена Второго, которого черт занес на благословенные берега Таити.

— Месье Кон, мы же просили вас сюда не ходить. Вчера прибыл пароход. Все туристы — люди почтенные и наверняка не нуждаются в… ваших услугах.

— Я желаю позавтракать у вас в кафе, — объявил Кон. — Готов заплатить вперед. Вы не имеете права меня не пускать. Я прилично одет, у меня сегодня приступ респектабельности. Ностальгия, что поделаешь! Хочется увидеть родные американские лица! Это накатывает на меня иногда. Если вы меня впустите, обещаю больше не ссать в бассейн. Вам ведь уже пришлось раз пять менять воду. Так что предлагаю выгодную сделку…

Директор оглядел Кона с головы до пят: хулиган был облачен в брюки и чистую рубашку; его борода и капитанская фуражка выглядели не такими засаленными, как обычно. У него даже имелась черная кожаная перчатка — единственная — на правой руке. Возразить было нечего. Только нос по-прежнему торчал как-то нагло, словно это был орган дерзости, а не обоняния.

Однако Матаоа Дженкинс смотрел на Кона с большой опаской. Последний раз, когда он позволил ему затесаться среди клиентов гостиницы, — директор вдруг вспомнил, что тогда на нем тоже была эта черная перчатка, — у двух американок, проговоривших с ним минут пять, случилась истерика. Это выглядело тем более загадочно, что, когда Матаоа сделал попытку вышвырнуть Кона вон, обе дамы бросились на

его защиту и даже вручили негодяю чек на сто долларов, продолжая, однако, смотреть на него с ужасом и лить слезы. Было совершенно ясно, что он рассказал им какую-то непотребную байку. Дженкинс попытался осторожно разузнать у американок, что Кон им наплел, но те наотрез отказались давать разъяснения и только заклинали его “быть гуманнее с бедным мальчиком”.

— Хорошо, но обещайте не устраивать скандала. В последний раз… До сих пор не могу понять, что вы им нарассказали.

— Можете быть спокойны! Не подведу.

Кон прошел на террасу и оглядел ее наметанным глазом. Милые белые лица, наши, родные, подумал он в порыве умиления, которое испытывал всякий раз, когда видел симпатичное стадо баранов, с готовностью позволяющих себя стричь. Он заказал кофе, собрав волю в кулак, чтобы не прельститься соблазнительной попкой официантки Маруи. Некоторое время он вел себя скромно и тихо, сидя с невинным видом за отдельным столиком, а Матаоа следил за ним ястребиным взглядом, готовый броситься на него при первом же подозрении. Кон с наслаждением выпил кофе, после чего наклонился к соседнему столику и с величайшей учтивостью произнес:

— Прошу прощения, не будете ли вы так любезны одолжить мне на пару минут “Геральд трибюн”? Я так давно живу вдали от нашей доброй старой родины, что временами на душе делается тяжело, очень тяжело.

Милые лица немедленно приняли участливое выражение. Пожилые дамы улыбнулись. Более толстая из двух наверняка сказала себе: а ведь он ровесник моего сына. Надеюсь, этот балбес сейчас во Вьетнаме, подумал Кон, глядя на них с трогательным смущением. Пожилой господин протянул ему газету:

— Вы давно из Америки?

— Больше двух лет.

Кон с такой легкостью вживался в любую роль, что на миг у него и в самом деле сжалось сердце. “Эх, родина, родина”, — подумал он. И сделал усилие, чтобы выдавить из себя слезу, но ничего не получилось: у него было адское похмелье.

— Да, больше двух лет... Честно говоря, когда я вижу американские лица, у меня слезы наворачиваются...

Кон опустил глаза. Он старался не ради денег: ему необходимо было очиститься. На протяжении тысячелетий стыд, приличия, оглядка на людское мнение сковывали его, пожалуй, боль-

ше, чем что-либо еще, и, дабы они не пригнули его спину к земле — как крест, вечно возрождающийся из пламени, — он вынужден был время от времени их топтать. Вопрос психологической гигиены, не более того.

— Сделайте одолжение, пересядьте, пожалуйста, к нам за столик, — сказал пожилой господин. — Чаффи, Джим Чаффи из Милуоки, а это моя жена Бетси… Ее сестра, Марджори Хокинс…

— Билл Смит, — представился Кон, радуясь, как всегда, случаю назваться новым именем — видимо, в смутной и несбыточной надежде убежать от самого себя. Он ведь уже полтора года терпел себя под именем Кон. Своего рода рекорд.

Он подсел к ним. В тот же миг на террасе появился директор гостиницы и принялся с тревогой описывать круги вокруг их столика. Но Чингис-Кон выглядел смирным, он явно был вежлив и увлеченно беседовал с соотечественниками. Матаоа отошел.

— Вы говорите, два года уже не были в Штатах? — сочувственно спросил Джим Чаффи.

Кон беспомощно развел руками, выражая покорность судьбе:

— А что я могу поделать? Вы же знаете, как у нас обходятся с прокаженными. Их принуди-

тельно госпитализируют и держат в больнице, таков закон.

— Простите, я что-то не совсем понял…

— Видите ли, врачи сказали мне, что я заразился проказой — здесь это еще случается, причем нередко. Для меня не может быть и речи о возвращении на родину. Там таких, как я, изолируют. А на Таити нам позволяют жить на свободе. Эта болезнь здесь считается не особо заразной, разве что при непосредственном контакте…

И он помахал рукой в черной перчатке перед Марджори то ли Хокинс, то ли Хопкинс.

— Вот, хотите пощупать? У меня тут вместо пальцев железные протезы. Я все пальцы на этой руке потерял. Есть опасность, что это может перекинуться дальше, дойти до локтя. Кстати, с помощью новых лекарств процесс можно остановить, если захватить вовремя. Но я поздновато заметил…

Соотечественники окаменели и сидели как истуканы, причем Марджори находилась явно на грани обморока. В отчаянии и невообразимом ужасе она не могла отвести глаз от черной руки, которую Кон совал ей под нос.

— Конечно, мне приходится нелегко. Работать я не могу, не могу даже попросить помощи у своей

семьи, потому что они ничего не знают, я не хочу разбивать им сердце. Моя бедная мамочка, представляете, если б она узнала… Но люди в массе своей добры. Особенно американцы. Не бросают меня в беде. Америка — последняя страна, где еще остались великодушные люди…

Он чуть-чуть опустил руку — испугался, что бедная женщина упадет в обморок раньше времени. Это был интереснейший психологический опыт. Элементарная человечность, да и просто приличия не позволяли трем старым американцам встать и уйти, как им того безумно хотелось. Их буквально пригвоздило к стульям. Джим Чаффи из Милуоки с перекошенным лицом лихорадочно рылся во внутреннем кармане пиджака.

— Я, разумеется, буду счастлив… Но у меня нет наличности… Не согласитесь ли вы принять трэвел-чек?

— Ну что вы, у меня и в мыслях не было просить у вас денег!

— И все-таки позвольте…

— О, право, не стоит…

— Нет-нет, прошу вас, я настаиваю…

Кон еще некоторое время заставил себя уламывать. Чаффи отлично знал, что у них нет ни малейшей возможности унести ноги, иначе как

прикрыв свое бегство гуманным поступком. Почуяв недоброе, директор появился снова и нервно прохаживался мимо их столика. Кон незаметно адресовал ему непристойный жест. Наконец он милостиво принял трэвел-чек на триста долларов. Побольше, чем в прошлый раз.

— Извините, но нам пора, — сдавленным голосом проговорил Джим Чаффи, стремительно вставая.

— А хотите, я покажу вам остров, — предложил Кон.

— О нет-нет, спасибо! У нас есть экскурсовод…

Все трое уже были на ногах. Приближался самый интересный момент, ибо мысль о том, что сейчас он дружески протянет им руку, вызывала у них дрожь.

— Не могу ли я что-то сделать для вас в Штатах…

Все-таки триста долларов, подумал Кон, они вправе что-то получить за эти деньги. Хотя, по сути, они уже и так не зря съездили. Могут теперь до конца дней своих донимать друзей и знакомых рассказами о хорошем американском парне, заболевшем проказой на Таити. Великолепное дополнение к легенде о бродяге с южных островов. Впрочем, ладно, за триста долларов можно

им подкинуть и еще что-нибудь.

— Не могу ли я что-то сделать для вас на родине? — повторил Чаффи. На лбу у него выступили капли пота.

— О, благодарю, ничего. Хотя, если вам не трудно… — Кон тяжело вздохнул и опустил глаза. — Пришлите мне горсточку американской земли, сюда, на адрес отеля. Я буду всегда носить ее при себе. Понимаю, это звучит сентиментально, но, поверьте, мне иногда бывает так грустно…

Одна из дам, та, что постарше, разрыдалась. Дженкинс мгновенно подскочил к ним, глядя на Кона так, словно тот держал в руках бомбу.

— Я же просил вас не надоедать нашим гостям!

Джим Чаффи из Милуоки испепелил его взглядом:

— Оставьте парня в покое!

Он повернулся к Кону, мучительно соображая, как бы его подбодрить, сказать что-нибудь жизнеутверждающее, оптимистическое, одним словом, что-нибудь американское.

— Держите связь с нашим консулом. Встречайтесь с ним регулярно, и вы будете под надежной защитой!

Ничего не понимавший Дженкинс имел вид

полного идиота. Старушки плакали. Кон утирал глаза, Джим Чаффи шумно всхлипывал и сморкался. Кон был так тронут, что хотел горячо обнять американца, но тот проворно отступил в сторону. Кон взял “Геральд трибюн” и протянул соотечественникам:

— Вы забыли газету…

Все трое с трогательным единодушием отшатнулись. При мысли, что можно коснуться газеты, наверняка уже заразной, они побледнели как смерть.

— Нет-нет, оставьте ее себе!

Чаффи, махнув на прощание рукой и подталкивая перед собой своих спутниц, ретировался в номера. Кон представил себе, как все они, раздевшись догола, протирают друг друга спиртом, не пропуская ни одного укромного уголка. Он направился к кассе и предъявил чек.

— Обменяйте, пожалуйста.

Кассирша надела очки.

— Триста долларов? Что вы им такое рассказали, месье Кон?

— Это старые друзья моего отца, — ответил тот. — Вы не могли бы побыстрее?

Но было поздно. Сзади уже слышался звериный рев и приближающийся носорожий топот:

Матаоа несся вниз по лестнице, бранясь как извозчик, лицо его, обычно похожее на ритуальную маску, искажалось нервными судорогами. Он набросился на Кона и стал толкать его к выходу:

— Я запрещаю вам впредь переступать порог гостиницы, ясно? Я вам покажу, как терроризировать моих клиентов и плести им черт знает что!

— Неужели они пожаловались?

— Конечно, а вы как думали? — закричал Матаоа. — И еще грозили добиться у руководства компании моего увольнения за то, что я пускаю в отель прокаженных…

Кон был шокирован:

— Ах, мерзавцы! Какое бессердечие! Вот люди! Я возмущен до глубины души!

— Вы все сказали? А теперь вон отсюда!

Кон почувствовал, что его хватают за шиворот и выпроваживают пинками под зад. На автостоянке перед гостиницей был народ: Кон с удовлетворением подумал, что в очередной раз сделал нечто полезное для престижа белого человека в Океании. Трое бельгийцев, только что приехавших из Конго и еще не успевших опомниться, мрачно уставились на него. Кон дружески кивнул им и уже хотел было повернуться и уйти, как вдруг его сбил удар в челюсть. Он

оказался на земле, но тут же вскочил и вовремя сделал шаг назад, ибо один из бельгийцев, сжав кулаки, надвигался на него. Кон, крича и ругаясь, увеличил на всякий случай дистанцию между ним и агрессором.

— Ах ты, босяк поганый! — Бельгиец был в таком бешенстве, словно произошедшее затрагивало его лично. — Если ты станешь позволять туземцам давать тебе пинки под зад, нам всем каюк. Понял? Каюк! Белых вышвырнут отсюда вон, начнется полный бардак, резня и грабеж, как в Конго. Но тебе-то все до лампочки, да?

— Ну-ну-ну! — произнес Кон, потирая щеку.

Опять из-за него кто-то потерял лицо. Как, черт побери, они еще ухитряются его терять?

— Вам-то что? — спросил он с сильным американским акцентом. — Я консул Соединенных Штатов и не потерплю, чтобы меня отчитывали такие, как вы!

Бельгийцы на миг онемели.

— Вы американец?

Судя по всему, это резко меняло дело.

— Вот моя визитная карточка…

Кон всегда носил при себе в джентльменском наборе профессионального пикаро визитную карточку почетного консула США в Папеэте, ко-

торого ненавидел всей душой, потому что этот сукин сын примерно раз в месяц требовал его высылки. Бельгийцы посмотрели на карточку. Лица их неожиданно просветлели. Тот факт, что представитель Соединенных Штатов мог так низко пасть, подарил им нечто похожее на счастье. Учитывая скорость, с какой в Папеэте распространяются сплетни, слух об оскорблении, нанесенном звездно-полосатому флагу, мгновенно облетит весь город, и Томас Джефферсон-младший будет с недоумением задаваться вопросом, почему французы и таитяне как-то странно ухмыляются, глядя на него.

Кон удалился, весьма довольный собой. То, что он проделал, несомненно, принадлежало к области высокого искусства.

VIII. Полицейский и История

Над домами мирно змеилась зыбь гофрированного железа. На набережной, под сенью акаций, История присутствовала в виде двух пушек, установленных перед входом в городской сад. Пушки были трофейные, захваченные на острове Маупихаа во время Первой мировой войны, когда пиратский парусник фон Люкнера “Морской орел” разбился о рифы. Гигантская терминалия окутывала сад тенью и безмятежным покоем. Из дворца королевы Помаре, где теперь размещалось финансовое управление, лился сквозь открытые окна заунывный стрекот пишущих машинок. Легендарный ручей Лоти[21], где целый век сентиментально-приключенческой литературы утолял жажду экзотики, превратился в сточную канаву. Бесчисленные курятники возносили к небу вечный как мир гимн снесенному яйцу. В маленьких деревянных гостиницах, где по ночам сбываются грезы разноплеменных экипажей торгового флота о южных островах, стояла тишина,

---

[21] Примечания: 21

Пьер *Лоти* (1850–1923) — французский писатель, автор романов и повестей о южных и восточных краях, в частности о Таити.

не нарушаемая в этот жаркий полуденный час ни единым стоном наслаждения.

Кон неторопливо катил на мотоцикле к своему фарэ, намереваясь вздремнуть. На повороте Оуа его обогнал полицейский джип и, обогнав, остановился. Двое таитянских жандармов с широкой улыбкой пригласили его следовать за ними.

— В чем я опять провинился?

— Шеф недоволен вами. Чонг Фат подал жалобу. Утверждает, что вы взломали его кассу и вытащили все деньги.

— Так, это уже не смешно!

Кон забеспокоился. Всякий раз, когда его вызывали в полицию, ему казалось, что там узнали его настоящее имя.

Рикманс помимо лукавого всезнающего взгляда и прямого пробора имел толстые губы и большой нос, безраздельно царивший посреди плоского и пошлого лица. В молодости он служил в Иностранном легионе, затем перешел в колониальную полицию. Там его деятельность совпала с таким количеством переворотов и смен режимов, что он в конце концов начал смотреть на всех мало-мальски заметных уголовников и авантюристов со смешанным чувством почтения и страха: многие из тех, кто прошел через его

руки, сгинули в тюрьмах, но кое-кто выбился в люди, и было совершенно неизвестно, с кем имело смысл обойтись помягче в расчете на высокое покровительство в будущем. В Африке ему не раз случалось поколотить в участке будущего президента молодого независимого государства, а потом оплакивать свою роковую ошибку на груди у жены, ибо тот, кого он избил до полусмерти, стал теперь желанным гостем в Елисейском дворце и мог бы устроить ему повышение по службе и почетную награду.

Он жил в постоянном напряжении, ежеминутно решая для себя сложнейшие задачи: когда перед ним представал в наручниках вор, убийца или другой нарушитель общественного спокойствия, ему чудилось, что в воздухе пахнет грядущим политическим могуществом. Почтовый служащий в Конго, которого он безжалостно карал за то, что тот воровал денежные переводы, сегодня ездил с официальными визитами в Париж, и город украшали флагами в его честь. Старший бой, состоявший у него в услужении в Браззавиле, стал министром здравоохранения, а бандит с большой дороги, которого он лично отделал в Абиджане буквально в последние часы колониального режима, стал три недели спустя

министром внутренних дел. Эти трагические удары судьбы сделали Рикманса совершенно никудышным полицейским: он стал нервным, нерешительным, погубил свою карьеру и угодил на Таити на мелкую должность, но все еще мечтал, что ему попадется на жизненном пути какой-нибудь хулиган или преступник, которому он, на сей раз не ошибившись, окажет покровительство. Но, увы, ничего нельзя было знать наверняка: ведь не все сегодняшние головорезы обязательно станут завтра великими людьми. Все могло оказаться ловушкой, подвохи подстерегали на каждом шагу. Хитроватое выражение, не сходившее с его лица, скрывало полную растерянность, и любому карманнику из Папеэте, которого он сам же засадил в тюрьму, Рикманс готов был украдкой жать руку, полагая, что перед ним, возможно, будущий президент независимой Океании.

Когда он увидел, что к нему в кабинет входит смутьян номер один на всей вверенной ему территории, улыбка, полная всезнающего лукавства, разлилась по его лицу, вытеснив с него все остальное, и только нос благодаря своим размерам блистал на этом празднестве вкрадчивого доброжелательства.

— А, месье Кон… Присаживайтесь. Сигару?

Рикманс инстинктивно, даже не отдавая себе в этом отчета, не выносил “людей искусства”, но он знал, что жизнь несовершенна и, следовательно, надо мириться с тем, что в Папеэте имеется лицей Поля Гогена, хотя некогда это имя было синонимом распутства, безнравственности и оскорбления государственной власти, доставивших бездну хлопот его предшественникам. Он не хотел, чтобы грядущие поколения борзописцев именовали его “толстокожей скотиной, не упускавшей случая досадить художнику, который окружил Таити ореолом красоты, затмевающей красоту лагун”. Не далее как вчера он вычитал это нелестное определение в газете “Франс-суар”, и относилось оно к жандарму Шарпийе, шестьдесят лет назад занимавшему на Маркизских островах тот же пост, что и Рикманс на Таити. У Рикманса было шестеро детей, и при мысли о том, что в один прекрасный день они прочтут в газете нечто подобное о своем отце, у него по спине бегали мурашки. Он широко улыбнулся Кону и тут же почувствовал спазмы в животе — такова была непосредственная реакция организма на столь противное его природе поведение.

У Рикманса с некоторых пор появилась навяз-

чивая идея: все чаще и чаще его мучил вопрос, как бы он поступил, если бы оказался начальником полиции в Иерусалиме и ему приказали распять Христа. Он перестал спать по ночам, жена умоляла его выбросить это из головы, напоминая, что у них и без того куча проблем. Но он не мог сомкнуть глаз.

— Нет, ты только подумай! Мне говорят: ты должен арестовать некоего Иисуса, опасного мятежника, и казнить его нынче же. И что мне делать? Потому что, понимаешь, я ведь еще не знаю, что он станет Иисусом Христом, как никто не знал в Конго, что Лумумба станет Лумумбой. Мне говорят: хватай Иисуса и распни в назидание другим. И как же, черт подери, мне себя вести? Нет, ты войди в мое положение!

— Слушай, Бернар, тут, на Таити, такого с тобой случиться не может. А потом, если даже Христос сюда явится, ты попросишь перевода по службе. И нечего сходить с ума попусту.

— Но такие случаи в нашем деле происходят на каждом шагу. Вспомни Бугунду из Ниамея. Мне тогда сказали: разберись с ним как положено, и пусть сидит. Хорошо, я выполняю. И что получается? Через год он премьер-министр! Нет, ты только представь себе начальника полиции,

которому говорят: разберись с Иисусом как положено и чтоб больше о нем никто не слышал… Мои действия? Я выполняю приказ? Или я его не выполняю?

— Бернар, ты погубишь свое здоровье. Пока Христос доберется до Таити…

— Нет, мне все-таки важно знать! Он может явиться в любой момент, куда угодно, где Его меньше всего ждут.

— У тебя сейчас есть проблемы поважнее, чем Христос… Детей надо отправлять во Францию учиться…

— В Конго я упек за решетку Комако, а он стал министром. В Алжире я наизнанку вывернулся, чтобы не посадить главаря оасовцев Годара, а он никем не стал. Все это чревато серьезнейшими последствиями. Представь себе, что ты шеф полиции здесь, у нас, и вдруг тебе говорят: есть тут один антиобщественный элемент, некий Иисус…

— Бернар!

— Нет, вот давай возьмем Гогена. Хулиган, типичный правонарушитель и сифилитик к тому же… Но куда мы сегодня водим своих детей? В лицей имени Гогена! Да что ж это делается?

— Ты дашь мне поспать или нет? Сейчас три часа ночи!

— Да, кстати, я ходил к монсеньору Татену посоветоваться. Я сказал ему: предположим, завтра у нас будет правительство Народного фронта и мне прикажут распять некоего Иисуса Христа… Как мне себя вести? С Ним ведь уже один раз такое случилось, значит, может случиться опять, в любой момент, в любом месте. Как тогда быть? И знаешь, что он ответил? Что этого случиться не может. Епископ!

— Он прав.

— Как угадать, кто перед тобой: преступник или святой? Что мне делать? Распинать или не распинать?

— Бернар, да у тебя настоящая нервная депрессия!

— Еще бы, когда так не везет… Если я Его распну, меня будут оплевывать две тысячи лет, а если дам ему сбежать, ты только вообрази, что будет! Это же подорвет все здание католической церкви! Не пытать Лумумбу в застенках значило бы лишить африканцев собственного святого мученика. Так как мне все-таки быть?

— Говорю же тебе, если второе пришествие случится, то не здесь. На Таити ездят не за этим.

— Помнишь Джамилю из Алжира? Она едва не умерла в тюрьме. И комиссар Бигрё тут ни

при чем: у нее во влагалище во время допроса треснула бутылка из-под “Перрье” — обычный заводской брак. А он потерял место и оказался на улице. Теперь эта Джамиля у них в Алжире святая. Так вот, представь себе, что некий преступник…

— Успокойся ты ради бога! Клянусь здоровьем наших детей, что тебе не придется никогда иметь дело с Христом. Спи и ни о чем не думай!

— Не может быть, чтобы он тут не объявился. Я уже побывал во всех передрягах, какие только есть, и этой мне тоже не миновать. Ты знаешь, что преподобный Сафран вышвырнул меня из церкви в прошлое воскресенье?

— Это все-таки бред — ходить в церковь и молиться о том, чтобы не было Второго пришествия! Сафрана можно понять. А тебе нужно к врачу, и завтра же!

— Не поможет тут никакой врач! Я знаю, мне на роду написано испить чашу до дна!

Доктор Тулан, которого Рикманс регулярно посещал, объяснил ему, что у него параноидальный синдром вследствие перенесенного психологического шока и тяжелых моральных страданий. Он накачивал полицейского транквилизаторами, но у того не прекращались ночные страхи, которые

не брало ни одно лекарство. С тех пор как был выслан лидер таитянских националистов Пуванаа, Рикманс в ужасе ждал, что тот в один прекрасный день прилетит обратно на правительственном самолете в роли главы нового Полинезийского государства. В свое время его довело до полного смятения письмо Бутанги, которому Рикманс лично сломал два ребра, перед тем как окончательно покинуть Африку. Бутанга стал "высшим главой" новой демократической республики Зоббии и, судя по всему, не забыл расправы, учиненной над ним французским полицейским.

Дорогой господин Рикманс! — писал Бутанга. — *Я занимаюсь в настоящий момент реорганизацией зоббийской полиции перед лицом коммунистическо-империалистической угрозы. Мне была бы очень полезна ваша компетентная помощь, и я был бы счастлив, если бы вы согласились принять на себя обязанности технического советника при моем кабинете.*

Но не так прост был Рикманс, чтобы клюнуть на эту грубую приманку: совершенно очевидно, что письмо писалось исключительно с целью заманить его в Зоббию, где Бутанга раздавит его как муху. Да за кого он его принимает? Рик-

манс даже и отвечать не стал. А через год узнал, что его заместитель Мусса, который когда-то собственноручно пытал Бутангу, получил аналогичное предложение и согласился. Теперь он был его правой рукой, зарабатывал десять тысяч франков в месяц, получал в подарок брильянты и проводил отпуск во Франции, разъезжая на правительственном “бьюике”, предоставленном в его распоряжение. Как объяснял он Рикмансу, удручало его только одно — что Бутанга казнил оппозиционеров всех поголовно, целыми деревнями, и когда Мусса пытался его урезонить, кричал в ответ, что если бы французы вели себя так же, они до сих пор были бы здесь хозяевами, и великий Мао прав: народ должен без колебаний пройти по трупам своих врагов. Он, Бутанга, не позволит коммунистическим диверсантам подорвать основы демократии, которую для него воплощают Наполеон, Виктор Гюго, Лафонтен, Жорес и Люсьен Бонапарт. В конце концов он провозгласил себя императором Зоббии.

Эта история доконала Рикманса. Теперь он подолгу сидел один в кабинете, предаваясь мечтам о величии и славе, от которых у него захватывало дух и на глазах выступали слезы: цветные народы захватывают Европу и взывают к его

опыту работы в колониальной полиции — его назначают начальником Чрезвычайного комитета при Управлении африканских заморских территорий, простирающихся от Парижа до Канна. Завоеватели нуждаются на первых порах в компетентных специалистах при колониальной администрации. Он никогда не был расистом, он настоящий полицейский, человек для него всегда человек, и он будет гуманно обращаться с французами. Что же касается ситуации в Папеэте, то и тут все не безнадежно: его жена, несмотря на свои восемьдесят кило, спит с племянником Пувааны, и если лидер националистов вдруг выскочит в президенты Океании, то эта связь окажется для Рикманса серьезным козырем, потому что у таитян глубоко развиты родственные чувства.

Итак, Рикманс отечески-доброжелательно взирал на Кона, и от этого вид у него был до того фальшивый, что Кону хотелось подойти к нему и привести его лицо в порядок.

— Поговорим начистоту, — сказал полицейский.

— Не о чем нам говорить.

Взгляд Рикманса стал еще лукавее. В кои-то веки он чувствовал под ногами твердую почву. Двадцать седьмого мая шестьдесят пять лет назад

его предшественник, жандармский бригадир Жан-Пьер Клаври нанес больному и обессиленному обитателю Дома наслаждений последний удар — приговорил его к трем месяцам заключения и штрафу в пятьсот франков за клевету и оскорбления в адрес службы порядка. Особая изощренная гнусность этой истории состояла в том, что сам же Клаври и был назначен общественным обвинителем. Кона больше всего бесило, что за спиной Рикманса висели на стене три огромные репродукции картин Гогена, в том числе восхитительная “Те Рериоа”, “Мечта”.

— Пора нам с вами заключить мир, месье Кон, — сказал полицейский.

— Лучше мне сдохнуть, — ответил Кон. — Вы отлично знаете, что судья на вашем грязном процессе не имел никакого права сам назначать обвинителя. А уж делать обвинителем Клаври — просто фашизм!

— Напрасно вы так, месье Кон. Вы ведь знаете, что консул США требует вашей высылки. Он считает, что ваше поведение на Таити бросает тень на американцев в глазах местного населения.

— Ну, во-первых, Джефферсон всего лишь почетный консул. А во-вторых, хочу дать вам совет, Рикманс. Франция вовсе не заинтересована в ро-

сте американского престижа в Океании… Если вы меня вышлете, вы совершите величайшую ошибку в своей жизни. Или американцы вам платят? Вам никогда не приходило в голову, что я, быть может, заслан сюда специально — подрывать в этом регионе престиж Соединенных Штатов?

Рикманс и бровью не повел, хотя в глубине души был сражен. То, что сказал Кон, очень походило на правду. В играх высокой политики Рикманс разбирался как никто.

— Почему, как по-вашему, я позирую для порнографических открыток, Рикманс? Это же антиамериканская пропаганда. Неужто вы до сих пор не поняли?

Полицейский уставился на него мутным взором.

— Напомню вам заодно, что кровать Гогена с изображенными на ней эротическими сценами, которые так возмущали местного епископа, находится теперь в Лувре, заплатившем за нее в пятьдесят втором году несколько миллионов… В одном из последних писем, перед самой смертью, Гоген написал всего несколько слов: “Сегодня я на земле побежден…” В июне пятьдесят седьмого это письмо продали в Париже за шестьсот тысяч франков. Можете швырнуть меня за решетку,

если хотите, но имя ваше будет проклято потомками…

Рикманс молчал. Нет, он не станет себя компрометировать. Пикассо, рисовавший всякие мерзости, считается величайшим гением своей эпохи. Неру провел пятнадцать лет в тюрьме и превратился в национальную легенду. Лумумба, воровавший деньги на почте, объявлен пророком и мучеником. Христос, который был врагом существующего уклада, превратился в столп существующего уклада. Гоген, заразивший сифилисом несколько сотен таитянок, имеет сегодня в Папеэте лицей своего имени, музей своего имени и улицу своего имени. А жандармы Клаври и Шарпийе оказались мерзавцами в глазах потомков. Мир вертится так быстро, что все в нем непрерывно переворачивается с ног на голову, и даже самый дальновидный полицейский не в состоянии угадать, кого же он избивает — бандита или “посланца Провидения”. У Рикманса потихоньку развивалась мания преследования. Он не сомневался, что рано или поздно на Таити будет праздноваться день святого Гогена.

Он встал, дружески положил Кону руку на плечо.

— Ну, полно, не волнуйтесь, — сказал он. — Ни-

чего страшного не случилось. Я уговорю Чонг Фата забрать заявление. Пока я сижу на этом месте, можете рассчитывать на мою поддержку, месье Го… то есть, я хочу сказать, месье Кон. Честно признаться, я не слишком разбираюсь в вашей живописи. По части искусства у меня вкусы скорее консервативные: Гоген, Ван Гог… в общем, что-то, что я могу понять и оценить.

Он проводил Кона до дверей и пожал ему руку:

— И работайте, главное, работайте! А успех — дело времени.

Кон вышел успокоенный: полиция Папеэте не подозревает, кто он такой. Можно не бояться, что кто-то напал на его след.

IX. Большой белый идол

Первая, кого он увидел на улице, была Меева. В белом платье с красными цветами, она сидела под деревом, а рядом стояла корзинка с провизией.

— Какого черта ты тут торчишь?

— Жандармы сказали мне, что Рикманс собирается тебя упечь. Вот я и жду.

— Ты долго могла так ждать!

— Кон, я тебя буду ждать всегда, всю жизнь, пусть даже это продлится целый месяц или два.

Он присел на корточки рядом с ней, погладил ее по голове:

— Что в корзинке?

— Это нам с тобой перекусить.

Кон взглянул на солнце:

— Торопиться некуда. Туристы будут на месте после обеда, не раньше. Бизьен сказал, в четыре… Ты покормила Барона?

— Да. И помыла.

— Много было приношений?

— Не очень. Две женщины принесли цыпленка, просили исцелить их от бесплодия. Приходи-

ли рыбаки коснуться Барона, но сказали, что приношения будут потом, если улов окажется хорошим.

— Не позволяй касаться его задаром. Знаю я этих жуликов! Пусть платят вперед, если хотят, чтобы такой великий *тики*, как Барон, послал им удачу. А то им только дай волю!

Кон обнаружил человека, впоследствии прозванного Бароном, в лощине неподалеку от Матаиеа, там, где когда-то находилось мараэ[22], о котором рассказывает Бордас в “Украденных богах”. Лощина тянется через горы, заросшие пальмами, банановыми деревьями и плюмериями по самую макушку Орохены. Барон одиноко сидел посреди диких дебрей на высоте шестьсот метров над уровнем моря и созерцал остров Муреа, окутанный в предзакатный час флером сиреневой дымки. Никогда прежде Кон не встречал этого господина, и было абсолютно непонятно, как он сюда попал: дорога проходила километрах в пяти оттуда, и Барон явно забрался наверх не пешком — одежда на нем выглядела безукоризненно чистой, без малейших признаков пыли или беспорядка. Он словно свалился с небес в

[22] Примечания: 22
Мараэ — полинезийское святилище.

своем сером котелке, галстуке-бабочке, клетчатом костюме и жилете канареечного цвета. Он сидел на скале, держа в руках, сложенных на набалдашнике трости, перчатки из кожи пекари. На все вопросы Кона отвечал молчанием и был, казалось, глух, как могут быть глухи боги к призывам смертных. Его седоватые усы напоминали мотылька, сидящего над плотно сжатым ртом, а сам он, приподняв бровь и слегка надув щеки, словно сдерживая отрыжку или смех, мутноватыми голубыми глазами индифферентно созерцал горизонт. Единственное, что роднило его с человечеством, — это сильный запах виски, причем отличного качества, вероятно *Vat 69*. Кон мгновенно почуял родственную душу, и ему даже показалось, что в глазах Барона блеснул ответный огонек понимания. Кон не сомневался, что перед ним авантюрист высокого полета, одержимый большой и красивой идеей. Воплотить ее на Таити было не труднее, чем в других местах, учитывая смутную тоску по древним богам, терзавшую сердце народа, отрезанного от своих истоков. Как выяснилось, Запад еще мог что-то ему предложить.

Кон тщательно обыскал Барона, но не нашел почти ничего, что проливало бы свет на его про-

исхождение: при нем имелось шесть паспортов разных государств, фотография кардинала Спеллмана[23], пара чистых носков, снимки Освенцима, комикс, вырезанный из американского журнала под названием *В. С.*, “До Рождества Христова”, повествующий о приключениях некоего доисторического насекомого, кусок мыла и горсть орденов — от перуанского Кондора Анд до креста Изабеллы Кастильской.

Стоя под бамбуками и древовидными папоротниками, среди ароматов и многоцветия земного рая, Кон раздумывал о том, как бы получше использовать загадочного незнакомца, восседавшего на камне в тени гуаяв и не отрывавшего глаз от горизонта. Вид мошенничества, к которому был склонен сошедший с небес аферист, угадать было нетрудно. Во всей Океании не осталось больше ни одного *тики*, ни одной ритуальной маски, никаких следов древних идолов, разве что где-нибудь в Меланезии или Новой Гвинее. И это притом что нигде в мире, кроме, пожалуй, Индии, не найти народа, который так тянулся бы к сверхъестественному, — вероятно потому,

[23] Примечания: 23

Фрэнсис Джозеф *Спеллман* (1889–1967) — американский религиозный деятель, кардинал. В 1953 г. поддерживал “расследования антиамериканской деятельности”, позднее — участие США в войне во Вьетнаме.

что сохранил естественность. Мифология была утрачена, но тоска по богам предков продолжала жить в полинезийской душе.

Их место пустовало, грех было бы не занять такую вакансию. И хотя, если верить философу Мишелю Фуко, все предвещало близкий конец человека, человек явно не сказал еще своего последнего слова.

Через неделю Кон снова наведался в те края и обнаружил Барона в деревне, в чистенькой хижине: тот восседал на циновке с гирляндой цветов на шее. Лицо его было пурпурного цвета — судя по всему, от пальмовой водки; едва Кон вошел, щеки пикаро слегка раздулись, словно он пытался сдержать приступ гомерического хохота. У ног его стояло блюдо с рыбой и жареными бананами. Само по себе это еще ничего не означало, делать выводы было рано — возможно, так всего лишь проявлялось знаменитое таитянское гостеприимство.

То немногое, что Кону удалось за это время разузнать о Бароне, сводилось к следующему: Барон прибыл на Таити на яхте “Галея”, принадлежавшей миллионеру по имени Сальтес, который несколько дней тщетно разыскивал пропавшего спутника. Сальтес сообщил Кону, что впервые

увидел Барона в Дельфах, тот сидел на развалинах древнегреческого храма, напившись до полного столбняка, так что сам напоминал каменную статую. Сальтес взял его на яхту, потому что питал страсть к культовой скульптуре, а этот тип, хоть и не являлся изображением Зевса или Аполлона и не был творением Фидия, казался ему восхитительно изваянным. На яхте Барон выпил такое количество виски, что во избежание крушения им пришлось зайти в Пирей пополнить запасы.

Кон пересказал все это Бизьену, и великий промоутер взялся за дело. Благодаря ему, по соглашению с транспортными компаниями, в скором времени около четырех тысяч туристов смогли увидеть “удивительный пережиток тайных древних верований, великий языческий обряд поклонения белому идолу на острове Таити, где до сих пор витает дух древних богов, ждущих своего часа, чтобы в испепеляющем огне грозовых сумерек явиться на землю и потребовать то, что принадлежит им по праву”. Бизьен собственноручно написал текст буклета. А Джо Пааве, зарекомендовавшему себя с наилучшей стороны во время съемок на Таити “Мятежа на «Баунти»” с Марлоном Брандо, поручил возвести для “белого идола” святилище. Паава не стал ломать

голову и попросту воспроизвел “Дом вождей”, выстроенный на Сепике в Новой Гвинее, более живописный, чем традиционные таитянские хижины, и, на европейский взгляд, более экзотический. Для Барона там соорудили нечто вроде алтаря, на котором он восседал в положенные часы в окружении приносимых верующими фруктов, цветов, денег и кур[24]. Вначале Бизьену пришлось заплатить дюжине местных крестьян и обучить их ритуалам культа с танцами и приношениями. В первое время он даже сам руководил церемонией, но таитяне необычайно быстро все усвоили и исполняли с удовольствием — вероятно, они так и не смирились с мыслью, что древние боги действительно исчезли в глубинах По — это мрачное слово означает и тьму преисподней, и тьму минувших времен.

А через несколько месяцев началось паломничество старух из соседних деревень. Они и не знали, что совершают “древний обряд”, просто видели, что сотни *попаа* приплывают сюда через моря и океаны с единственной, как им казалось, целью — сложить свои доллары к ногам живого *тики*, и это будоражило их воображение, как

[24] Примечания: 24

В апреле 1980 г. мне сказали, что Барон потом исчез с Таити так же загадочно, как и появился. *(Прим. автора.)*

и все, что исходило из Соединенных Штатов. Результат даже превзошел ожидания Бизьена: в любое время дня туристы могли наблюдать старух, сидящих вокруг Барона, или увидеть, как какой-нибудь рыбак входит и прикасается к нему в надежде на хороший улов. Слух о том, что *nonaa* съезжаются со всего света поклониться великому белому идолу и принести ему дары, быстро разнесся далеко за пределы острова, докатился до Туамоту, и старики там долго спорили, кто же это: Таароа или сам великий Теуа. Татен бушевал, кричал об оскорблении христианской религии и поощрении суеверий, даже подал протест по всей форме администрации острова. Ему ответили, что Францию давно обвиняют в подавлении и уничтожении древних полинезийских культов, а теперь вот представилась возможность доказать миру, что все это клевета и никто не мешает таитянам свободно совершать свои обряды и поклоняться своим богам[25]. Не могло быть и речи о том, чтобы местные власти воспрепятствовали зову народной души и возвращению таитян к

[25] Примечания: 25

См., в частности, статью Стена Сигрейва в “Сан-Франциско Стар” от 20 ноября 1966 г. Я, со своей стороны, не раз сообщал о появлении Барона в других местах и при совершенно иных обстоятельствах. Список моих произведений, где он действует в самых разных обличьях, слишком длинен, чтобы приводить его здесь. (*Прим. автора.*)

истокам, да еще в тот самый момент, когда гремевшая на весь мир выставка в Музее человека в Париже демонстрировала великолепные коллекции *тики* и предметов культа из Океании, награбленных за два столетия цивилизаторской деятельности. Запад, разумеется, не требовал, чтобы полинезийцы обожествляли белого *тики,* он просто предлагал им его взамен.

Барон находился на попечении Кона, а тот, в свою очередь, поручил Мееве заботиться о нем. Когда-то Кон слышал рассказ о пеликане по имени Петрюс, который однажды прилетел на остров Миконос в архипелаге Киклады, и население острова окружило его трогательной заботой. Кон дорого бы дал, чтобы узнать, кем через несколько веков, учитывая работу времени и силу легенды, потомки будут считать Петрюса и Барона.

Осенью 1966 года в крупных американских еженедельниках, выходящих огромными тиражами, публиковалась фотография "белого *тики":* слегка ошалелое лицо Барона с надутыми щеками, словно он сдерживает то ли приступ смеха, то ли непреодолимый позыв к рвоте, возвышалось над цветочными гирляндами. Татен, не щадя себя, протестовал устно и письменно, хотя отлично знал, что ничего не добьется: Франция не

могла пресечь попытки полинезийцев вернуться к своему прошлому, не рискуя подвергнуться обвинениям в колониализме. Епископ написал в Конгрегацию письмо, требуя кредитов на строительство новой церкви, чтобы бороться против возврата к язычеству.

Время от времени Барон покидал свой алтарь, отправлялся в Папеэте и там чудовищно напивался, что имело единственным зримым результатом еще более глубокую отрешенность. Кон во время этих вылазок присматривал за ним, устраивал его в гостиницу “Гоген”, в роскошный номер с балконом, выходящим на океан. Барон сидел там целыми днями, устремив в морскую даль бледно-голубые глаза с красноватыми прожилками. Кон подозревал, что он чего-то напряженно ждет и обшаривает взглядом горизонт в надежде, что оттуда явится настоящий великий и всемогущий *тики,* перед которым он сам мог бы склониться. Наверно, он чувствовал, что Человек не фигурирует в завещании Бога.

Но одна вещь необычайно удивляла Кона: поначалу он полагал, что, видя такой успех, Барон выйдет наконец из оцепенения и потребует свою долю барышей. Ничего подобного! Казалось даже, что он совершенно бескорыстен и ищет

лишь какого-то загадочного внутреннего удовлетворения. Кон думал иногда, что этот прохвост действительно искренен в своем нежелании во что-либо вмешиваться и демонстрирует тем самым отказ сотрудничать со своим временем, с Историей и с человечеством вообще, ибо это несовместимо с его достоинством. Барона приходилось кормить, мыть, одевать. Он не шел ни на какие компромиссы, не отступал ни в чем от своей изначальной установки. Кон несколько раз посылал ему молодых таитянок — всё напрасно. Барон был непреклонен: он решительно отвергал все человеческое, даже в самых упоительных формах. Он как бы не жил, он самоустранился, положив себе закон неучастия, неукоснительного телесного и душевного воздержания. Объявили, что Бог умер, и человек решил не зевать. Место освободилось, кто-то должен был занять его. Барон не вел избирательную кампанию, не провозглашал себя сторонником того или сего, но его непроницаемое молчание, отсутствующий вид, полное бесстрастие и категорический отказ вникать в проблемы этого мира делали его кандидатом номер один.

Иногда Кон подходил к Барону и давал ему пару оплеух:

— Ты издеваешься над нами, гад чертов!

Барон не реагировал.

— Сознавайся! Тебе мало обрядовой хижины? Может, ты хочешь, чтобы тебе построили храм?

Лицо Барона розовело — это можно было счесть признанием. Или следами пощечин.

Сидя на обочине в придорожной пыли, Кон размышлял о том, почему он постоянно думает о Создателе с такой обидой, как будто тот виноват, что Его не существует.

— Что с тобой, Чинги? Ты фью?

Слово “фью” означало по-таитянски много чего: грусть, тоску, ностальгию, скуку, усталость, отвращение — все неприятные состояния души.

— Отстань!

— Ты слишком много думаешь, Чинги, от этого тупеют.

Говорили, что в архипелаге Туамоту еще остались красивейшие необитаемые атоллы. Но Кон знал, что не способен долго выдержать на необитаемом острове. Ему необходим внешний враг. Жить наедине с собой было бы самоедством.

— Кон, мы прозеваем туристов. Бизьен нас убьет.

— Ладно, пошли.

Он встал. Меева вынула из волос цветок и зало-

жила Кону за ухо. Кон взял ее за руку. Он любил чувствовать ее руку в своей, любил шагать с ней вот так по берегу Океана, с цветком за ухом. Если бы он только мог найти какой-нибудь далекий островок, без всякого сообщения с Таити… Но все равно рано или поздно они его отыщут. Если не французы и американцы, так русские или китайцы. Возможно, на его след уже напали. Они не позволят себе упустить преступника такого масштаба.

— Где мотоцикл?

Мотоцикл был там, где Кон его оставил, у стены. Он завел мотор. Меева села сзади, с корзинкой в руках. Они помчались.

Меева запела.

Она пела старинную песню о том, как небо полюбило землю, и об их печальном первом соитии, прерванном гигантским приливом Океана, который ревновал к небу, ибо земля принадлежала ему. Из-за этого, так сказать, сбоя земля родила человека-недоделку вместо человека-человека, человека истинного, или человека-бога, которого они с небом так ждали. Да, мрачно подумал Кон, это определенно самый трагический *coitus interruptus* за всю историю мира.

— Замолчи, — сказал он. — Ты нагоняешь на

меня тоску.

X. Художник за работой

Кон примеривался уже около получаса, ища наилучший угол атаки; круп Меевы был красив под любым углом, но для полноты счастья требовалось охватить глазом и красоту пейзажа — все это растительное буйство, где разгулявшиеся краски яростно бросались друг на друга и исступленно спаривались, а вокруг громоздились необозримые массы зелени всех оттенков, разделенные охряной лентой тропы, поднимавшейся к проезжей дороге среди кокосовых пальм. Меева стояла на четвереньках в отрешенно-мечтательной позе *вахинэ* Отахи, которую Гоген изобразил именно в этом положении на желто-бело-голубом фоне, но Кон был не какой-нибудь подражатель, чтобы делать копии. Он попросил Мееву еще чуть-чуть опустить голову и спину, чтобы ее бедра, царственно выделяясь на лазурном фоне, позволяли глазу одновременно наслаждаться небом, водопадом, Океаном за скалами и многоцветием растений на склоне Орохены. Ему хотелось к тому же, чтобы далекий парусник, двигавшийся к полуострову Тайарапу, успел

оказаться поближе и выглядел бы белокрылой бабочкой, севшей на эту восхитительную попу. Только бы продержаться с открытыми глазами до конца — это будет величайший шедевр его жизни.

— Погоди-погоди! Обопрись на локти… так… Чуть-чуть ко мне…

Меева с готовностью повиновалась, она знала, как и все жители Таити, что Гоген был необычайно требователен к своим натурщицам в минуты вдохновения, и всячески старалась удовлетворить художественные запросы Кона.

— Не шевелись!

Он расстелил на земле штаны, чтобы камни не кололи колени, и решительно приступил к делу широкими, уверенными движениями. Работая, он одновременно насчитал не менее десятка белых водопадов на склоне горы, чуть выше полосы эвкалиптов, мапе[26] и цезальпиний; прямо над телом Меевы, которое он крепко обхватил руками, папоротники распускались неподвижным зеленым фейерверком, застывшим в миг взлета, и тысячи орхидей обвивались вокруг монументального ствола *пуараты* с по-

[26] Примечания: 26

Мапе — вечнозеленое дерево высотой до 20 метров, с густой кроной, иначе называемое инокарпус или таитянский каштан.

темневшей от времени корой, а он возвышался над их невинными головками, словно монарх-покровитель, — дереву было не меньше двухсот лет. Оголенная вершина горы являла взору черно-серую стену вулканической эпохи. Кон, чье дыхание участилось в разгаре творческого труда, а движения становились все стремительнее, чувствовал, однако, что в его картине чего-то не хватает: сюда так и просились две лошади, голубая и розовая, вдалеке под водопадом, как на полотнах мэтра. К счастью, этот пробел неожиданно оказался восполнен: на спускавшейся к пляжу тропе появились три таитянки в ярких парео — оранжевом, голубом и бледно-желтом с белыми цветами. Это было как нельзя кстати. Кон попытался продлить миг вдохновения, но пейзаж уже начинал плыть, и художник на миг замер, ибо счастье изначально таит в себе свой конец, а Кон кончать не хотел. Он дружески помахал рукой девушкам:

— Иа ора на! Привет!

— Иа ора на!

Они с удовольствием смотрели на Кона, погруженного в творчество.

— Маитаи? Все хорошо?

— Маитаи, — заверил их Кон, набирая темп.

Таитянки продолжали свой путь с прекрасными безмятежными улыбками, а за ними летели по ветру их черные распущенные волосы.

— За мной!

Этот боевой клич был обращен к Мееве, которая прекрасно его знала и мгновенно устремилась навстречу Кону с таким рвением, что Кону пришлось согнуться пополам и крепко держать ее, чтобы не вылететь из седла. Внизу Океан с ревом бросался на черные базальтовые утесы, словно сердясь на сей раз, что он не человек.

Потом они некоторое время лежали рядом и нежно смотрели друг другу в глаза, как все те, кому больше нечего отдать. Он склонил голову ей на грудь — на тот единственный берег, где чувствовал себя недосягаемым для далеких бурь.

— Как ты думаешь, это самая большая моя удача?

— Не знаю. У тебя всегда получается великолепно.

Это было приятно, Кон ценил учтивость.

Сам он отдавал бесспорное первенство их объятиям в долине Фаутана. Он считал это высшим своим достижением, о чем Меева и не подозревала: она позировала Кону во всех уголках Таити. Но радость, которую она подарила ему в долине

Фаутана, была, пожалуй, одним из прекраснейших моментов его жизни. В том месте гора с четко очерченными уступами, где зелень всех оттенков перемежалась медью и бронзой, была рассечена надвое величественным водопадом. Внизу, в долине, водопад заканчивался широким спокойным устьем, на берегах мирно паслись лошади. Склонившись над Коном, Меева отделывала губами и языком каждую деталь творения, пока пейзаж наконец не закачался. Потом он вспыхнул, окрасился пурпуром и раскололся, и Кону пришлось закрыть глаза. Ничего не поделаешь, счастье требует закрытых глаз.

XI. Меева

Меева была похожа на Тохатао, любимую натурщицу Гогена. Губы полные и мягкие, глаза большие, серьезные, немного печальные, кошачий нос, густые черные волосы — все это необычайно напоминало фотографию, которую Кон долго разглядывал в музее в Эссене. Меева была родом с одного из островов архипелага Туамоту и появилась в Папеэте девять месяцев назад, босая, держа в руках клетку с курами — прощальный подарок односельчан. Кон познакомился с ней не сразу, и за несколько недель, предшествовавших их счастливому соединению, она успела завоевать известность в Папеэте среди местных *танэ*[27] и тех немногочисленных *попаа*, которые все еще искали совершенства, вместо того чтобы довольствоваться тем, что попадается под руку.

Кон встретил ее на похоронах Раффата, автора знаменитых книг “Инфляция человека” и “Долой голод!”, боровшегося много лет против голода в третьем мире. В пятьдесят пять лет, в гневе и отчаянии, сраженный всеобщим равнодушием

---

[27] Примечания: 27
От таитянского *tane* — мужчина.

и количеством долларов, ежегодно уходящих на вооружение, гонки в космосе и подпитку идеологического безумия, Раффат сбежал в Папеэте. Едва сойдя на берег, он начал без передышки трахаться. Так другие уходят в запой — с горя, чтобы забыться. В этом седом человеке с добрейшими серыми глазами и умным, благородным лицом жила непереносимая боль, и его бессилие перед Властью словно переродилось странным образом в силу иного рода, не знавшую ни возраста, ни меры, ни периодов сбоя. Он продолжал получать запоздалые телеграммы с выражением поддержки от интеллигенции, группировавшейся вокруг Бертрана Рассела. Раффат только смеялся и говорил, что все эти сочувственные слова, вероятно, можно отнести к его фиаско в Индии, в Африке и во всем третьем мире, но уж никак не к его деятельности на Таити, которая протекала более чем успешно.

Из рассказов знакомых таитянок Кон знал о яростном и неистребимом огне, пылавшем в душе этого бунтаря, пусть побежденного, но страстно жаждущего самовыражения, подобно Океану, исступленно атакующему незыблемые каменные берега. Когда человек уже не в силах ничего сделать, он еще может заявить о себе.

Раффат заявлял о себе так решительно, что испустил дух в объятиях Меевы. Акции “новенькой” резко поднялись. Кон пригласил ее к себе в фарэ. Это была любовь с первого взгляда, а потом со второго, с третьего и со всех последующих.

В краю, где от минувших веков не уцелело ничего, Меева, казалось, хранила глубокую внутреннюю связь с полинезийским прошлым. Она могла часами рассказывать Кону легенды об островах и атоллах, о духах воды, уничтоженных богом Таароа, и о пяти лунах с человеческими лицами, которые наводили на людей порчу и покровительствовали лишь горстке избранных. Она рассказывала, как Таароа победил эти луны и сбросил их с неба — так появились острова Бора-Бора, Энаоа, Хуахине, Райатеа и Тубуаи. Она описывала Таароа и его воинов подробно и обстоятельно, как если бы переспала с ними или как могли бы их описывать *попаа*, которые изучали прошлое Океании по работам Вильгельма Брандта.

Кон понял, что ему страшно повезло. Рядом с Меевой он ощущал себя ближе к первозданному миру и к тому, кем он был, как писал Йейтс, до сотворения мира.

У нее был мягкий глубокий голос и гортанный

выговор жителей Туамоту, чем-то удивительно напоминавший скандинавский или немецкий акцент. Ее отец, вождь одного из островов, зачал ее в шестьдесят лет, причем, как уверяла Меева, не без помощи утренней луны, той, что на рассвете, перед тем как угаснуть, дарит пробуждающемуся человеку особую силу, и тогда все, за что он берется, получается наилучшим образом. Мать преподнесла ее в дар своим друзьям с острова Рароиа, согласно древнему полинезийскому обычаю дарить новорожденных детей тем, кто хочет иметь сына или дочь, не связанных с ними кровными узами, чтобы крепче их любить.

Меева перебралась на Таити, потому что ей “надоело есть одну рыбу”. Кон утверждал, будто терпеть не может фольклор, идолов, народные предания, мифы, превращенные в метафизический суррогат для оболваненных простаков, у которых отняли истинное наследие предков. Однако Мееву он мог слушать бесконечно. Правда, как он говорил, исключительно потому, что ее голос затрагивал в нем самое чувствительное место.

— Кон!

— А?

Он любил ощущать щекой, губами ее живот.

Любил тихонько мять ей грудь, хотя причислял себя к разряду мужчин, которых больше интересует тыл, нежели фасад. Любил лежать, как сейчас, лицом на ее животе, подложив ей руки под попу. Это было нечто теплое и добротное. Нечто весомое и земное. Исцеление от тоски. Грудь тоже, разумеется, вещь прекрасная — накрыть ладонью сосок, ощутить под пальцами его нежную острую мордочку, — но в самой этой нежности, уязвимости таилась некая эфемерность, тогда как красивый зад, крепко обхваченный обеими ладонями, вызывал ощущение надежности и долговечности. Наконец-то держишь в руках что-то реальное.

— Кон, почему ты никогда не рисуешь?

— Я занимаюсь абстрактным искусством, тебе не понять.

— Знаешь, иногда мне кажется, что ты от меня что-то скрываешь.

Горячий живот под его щекой вздымался и опускался, вопрос о душе не возникал. Это был такой же миф, как история про бога Таароа и пять лун, сброшенных в воду и превратившихся в острова.

— Кон, остановись…

Он не смог удержаться. Все было слишком близ-

ко, совсем рядом с его губами.

Меева еще вздрагивала, когда Кон, подняв голову, увидел группу туристов, осторожно спускавшихся по тропе среди пальм. Их всюду возили на автобусе, но время от времени давали пройти сотню метров пешком, чтобы они почувствовали вкус приключения. Особенно уродливо выглядели даже не мужчины в шортах до колен и коротких носочках, а седовласые матроны в темных очках и ярких цветастых парео.

— Ну всё. Пошли работать!

Водопад шумел метрах в двадцати. Можно было не торопиться, но Меева еще хотела искупаться. Кон надел штаны, голубую сорочку и фуражку, предварительно изваляв их в пыли, чтобы они не выглядели слишком чистыми.

— Давай быстрей!

Она стояла в воде по пояс среди камней.

— А что я там должна делать?

— Ну, Меева! Я же показывал тебе картину двадцать раз!

— Мне надо надеть парео?

— Конечно, как у Гогена.

Он бросил ей парео, красное с белыми цветами. На картине парео было белое и надето на мальчика. Но Бизьен не хотел полного сходства,

чтобы сцена не выглядела нарочито. Туристы должны случайно набрести на живую картину во время горной прогулки. Тогда впечатление будет более ярким. Мееве полагалось пятьдесят франков за сеанс.

— Так, залезай вон на ту скалу и пей из водопада.

— Я разобьюсь.

— Да нет, они сделали там цементные ступени, специально для тебя.

Она вскарабкалась наверх и склонилась к водопаду. Кон не мог не признать, что это красиво. Слева огромный лист папоротника, справа водопад, таитянка, пьющая воду…

Он сел на камень, достал бутылку вина, поднес к губам. За его спиной защелкали фотоаппараты и раздался голос Пуччони, долдонившего заученный текст:

— Гоген любил писать женщин с пышными формами, символизировавшими в его глазах плоды земной природы…

Кон повернулся к туристам в профиль, чтобы дать им возможность запечатлеть на память “бродягу с южных островов”. Он подумал, что при его конкистадорской внешности он, сидя на камне, должен напоминать Прометея. К несча-

стью, он был как выжатый лимон. Даже когда туристы ушли и Меева к нему вернулась, у него не хватило сил протянуть руку к священному огню.

XII. Друзья в нужде

Кон шагал через банановую плантацию, время от времени поглядывая на гору, которую Основоположник писал с такой всепожирающей страстью, что оставалось только удивляться, как она уцелела.

Скоро он услышал шум воды и увидел среди папай соломенную хижину. Кон не любил папайи: их раздутые тяжелые плоды выглядели непропорционально громоздкими по сравнению с самим деревом и наводили на мысль о слоновой болезни. Зато он питал слабость к кокосовым пальмам и мапе, чьи изящные колоннады, казалось, еще выше поднимали небесный купол. Хотя Океан скрывали холмы, свет, как и всё на Таити, был пронизан присутствием моря — на любой пейзаж он переносил изумрудно-зеленые, светло-желтые и прозрачно-голубые оттенки лагун. Кон прошел по аллейке, которая вела к хижине между двумя стенами орхидей — они обвивались вокруг стволов мапе, словно змеи, превращенные богами в цветы за то, что помогли Адаму и Еве вкусить запретный плод счастья.

Перед хижиной сидел по-турецки совершенно голый Рене Ле Гофф, держа насаженную на прутик рыбину и поджаривая ее над костром. Рядом сидела на корточках его *вахинэ* Таймаха в бело-голубом парео и кормила новорожденного младенца, которого мечтали заполучить лучшие семьи Таити. Кон не раз задумывался о том, откуда идет полинезийская традиция усыновлять чужих детей и дарить своих незнакомым людям. Поначалу, вероятно, это делалось, чтобы избежать вырождения на отрезанных от мира островах, где все так или иначе состояли в кровном родстве. А может быть, это шло от каких-то древних ритуалов, требовавших убийства собственного ребенка. Отдавая своих детей и забирая себе чужих, матери могли, в некотором смысле, легально нарушать это повеление.

Светлая шевелюра Ле Гоффа рассыпалась по плечам, а лицо было размалевано красной, синей и желтой краской. Он приехал на Таити два года назад. Когда в Англии молодежь вышагивала десятки миль пешком в маршах протеста, чтобы сказать “Нет!” ядерному оружию, Ле Гофф попытался организовать во Франции нечто подобное. Он был, по сути, предтечей экологистов, своего рода человеком будущего. Однако довольно

быстро ему пришлось признать, что французы — слишком большие индивидуалисты, чтобы волноваться из-за перспективы коллективной смерти. Похоже, каждый, наоборот, считал, что лично для него такой вариант был бы наименее неприятным.

— Сначала мы устроили марш к Музею человека в Париже, голые, вымазавшись дерьмом с головы до ног. Это должно было символизировать дикость и варварство ядерной эпохи. Акция вызвала любопытство, не более того. Потом мы писали петиции, устраивали разные митинги и демонстрации, но встретили в обществе полнейшее равнодушие. Оказалось, что всем насрать. Мы начали ощущать себя какими-то придурками, представителями вымирающего вида среди новой популяции, с которой у нас нет ничего общего. Но я не сдался. Узнав, что на Мурароа собираются взрывать ядерную бомбу, я все бросил и примчался сюда. Запад украл у таитян всех деревянных идолов, и когда здешние люди меня увидели — голого, раскрашенного в красный, желтый и синий цвет… они приняли меня за ожившего *тики*. Я не разубеждал их. Что ты хочешь, им же необходима вера! Материализм провалился с треском.

Постепенно, сам не зная, как это получилось, Ле Гофф начал исцелять недужных наложением рук. Он брался лечить всех, кроме прокаженных, к которым боялся прикасаться. Остальное сделала молва. Борец за мир поддался расслабляющему влиянию земного рая, как и множество других *попаа*. Теперь, говорил он, ему плевать с высокой колокольни на экологию, окружающую среду и ядерные испытания, они интересуют его как прошлогодний снег. Он по-прежнему разрисовывал лицо, но лишь затем, чтобы поддержать репутацию живого *тики.*

В первое время, когда у него еще были принципы, он отбивался изо всех сил от славы целителя, которая родилась исключительно благодаря размалеванной физиономии, будившей в полинезийской душе фетишистские грезы. Кон, со своей стороны, не мог не признать, что с такой устрашающей рожей запросто можно сойти за какое-нибудь божество, управляющее судьбой человека. У Ле Гоффа не было ни гроша, ласковый размягчающий климат довольно быстро подточил в нем последние нравственные устои, чудом уцелевшие после стольких разочарований, и он пал окончательно. Поначалу он трогал животы *вахинэ*, которые молили исцелить их от

бесплодия; затем, если попадалась хорошенькая, стал трогать и все остальное. Чем больше он распоясывался, тем искреннее принимал себя всерьез. Он приходил в ярость, когда местные рыбаки отправлялись в море, не принеся ему даров, и пытался прибить Барона, обвиняя его в бесчестной конкуренции. Но за Барона стеной стояли “Транстропики”, потому что тот имел представительный вид, авторитет, обаяние таинственности и, главное, безукоризненно исполнял обязанности живого идола, чего никак нельзя было сказать о Рене. Поэтому ему предложили сидеть тихо. Бизьен сурово напомнил во время совещания: “Не станем же мы повторять ошибки прошлого и возобновлять кровавые столкновения, причинившие столько бед во время религиозных войн!” Поклонникам обоих идолов оставалось лишь уважать верования друг друга. Рене Ле Гофф, несмотря ни на что, состоял под защитой своего рода Нантского эдикта[28]: ему дозволили продолжать свою деятельность, но при условии, что он не станет больше бросаться с

[28] Примечания: 28

По Нантскому эдикту, изданному в 1598 г. королем Генрихом IV и завершившему религиозные войны во Франции, католицизм оставался господствующей религией, но гугенотам предоставлялась свобода вероисповедания.

кулаками на Барона и скандалить перед обрядовой хижиной. В данный момент он пребывал без средств к существованию.

— Привет, Рене, — сказал Кон. — Что новенького?

— Привет, Чинги! Похоже, я опять подцепил триппер.

— Это все климат, — тактично отреагировал Кон.

Рене вздохнул. Со своими длинными волосами и золотистой бородой он был похож на одного астролога из Латинского квартала, которого Кон когда-то знал.

— Надо бы сделать укол пенициллина, но встает моральная проблема. Ведь, по идее, я должен исцелять себя сам — наложением рук. Если люди узнают, что я пошел к врачу…

— Обратись к отцу Тамилу. Он неплохой парень, никому не скажет. К тому же ни один монах не станет подрывать устои веры.

— Да, но мне как-то неловко просить помощи у служителя другого культа.

Кон нисколько не верил Рене и, конечно, не принимал за чистую монету его истории про крестовый поход против ядерного оружия. А красно-сине-желтая раскраска, вполне возмож-

но, имела целью скрыть лицо, хорошо известное Интерполу.

— Я просто прозябаю, — объявил Рене. — Таитяне — симпатяги, но нет в них настоящей веры, одни суеверия. Да и на западные святыни спрос все меньше и меньше. Мне необходимо упрочить свое положение. Хватит жить под открытым небом и ходить с голым задом. Я хочу, чтоб мне построили храм.

Кон захохотал.

— Что тут смешного? Каждому человеку нужен тыл. Когда они перестанут в меня верить, у меня останется хотя бы храм. Я верю в недвижимость.

Ребенок заплакал, и Таймаха с гордостью на него посмотрела:

— Гляди, Кон, правда, красавец? И уже становится на тебя похож. У моей сестры сын от экипажа английской яхты, но он не такой красивый.

— Ты уверена, что спала со мной? — спросил Кон.

Он тронул младенца за носик, тот засмеялся и задергал ножками.

— Видишь, узнаёт, — сказала Таймаха.

Кон вдруг ощутил прилив надежды, настолько сумасбродной, что едва не начал оглядываться

по сторонам в поисках волхвов, бредущих среди орхидей. Он мысленно схватил себя за шиворот и дал себе хорошего пинка. Сегодня, если бы волхвы и явились к младенцу, то лишь затем, чтобы украсть у него дары или сжечь его дом напалмом.

В Рождество, слыхали вы,
Во Вьетнам пришли волхвы.
Минул год, и бодрым шагом
Вновь волхвы – но с красным флагом.
Вывод прост, и он таков:
Я в гробу видал волхвов.

Кон спрашивал себя, какой народ следующий в очереди на бойню. Но разве угадаешь, вон сколько на земле стран! Какое-нибудь из государств Латинской Америки? Или Иран? Афганистан? Индия? Сам он ни в чем таком не участвовал, но, к несчастью, был не способен провести границу между собой и “ими”. Все это дела человеческие, и приходилось смириться с мыслью, что бесчеловечность есть характерная черта человека.

У него схватило живот. Единственное спасение — немедленно возобновить пляску.

Гора Гогена завораживала своей красотой,

сотворенной не только природой, но и глазом человека, способного ее увидеть. Голый авантюрист, вероятно скрывавший под толстыми слоями краски черты известного террориста, рядом с ним человек, которого звали не Кон и разыскивали спецслужбы всех сверхдержав, таитянка, которая была просто женщиной, и ребенок, имевший шанс чудесным образом стать человеком, молча сидели среди цветов.

— Ты не можешь подкинуть мне немного денег, Кон? — спросила Таймаха. — Уже три дня Рене не подносят ничего, кроме рыбы. А врач сказал, что мне нужно есть мясо и пирожки.

Кон задумался. На острове был один немец, которого он еще не использовал. Он жил в самой красивой вилле Пунаауиа. Как за него взяться, Кон пока не знал и решил действовать по ситуации.

— Ладно, поглядим. Мне нужен час или два, и я ничего не обещаю. Но попробую!

Он вернулся к дороге и сел на оставленный там мотоцикл. До города было не больше десяти километров, но по пути еще предстояло забрать Мееву, которая навещала подругу фью. Эта подруга уже недели две была фью, потому что ее *попаа* уехал назад в Европу, а она все еще не нашла ему

замены. Она умирала от любви.

Меева ждала его у обочины, возле китайского магазинчика, где Кон назначил ей встречу. Она была в джинсах, и Кона это шокировало: таитянка в джинсах! Такое должно быть запрещено законом.

Они доехали до кораллового пляжа на седьмом километре, там Кон остановил мотоцикл и углубился в пальмовую рощу с мягким песком, по которому так приятно было ступать. Вилла, арендованная немцем, виднелась сквозь стволы пальм во всей своей белоснежной красе.

— Подожди меня здесь.

— Что ты собираешься делать?

— Пока не знаю. Возьму его в оборот. Таймахе нужны деньги.

Он разделся, оставил одежду Мееве. Затем бросился голышом на землю и принялся кататься по песку, пока не извалялся так, что стал похож на пещерного жителя, выползшего наружу в надежде поймать ящерицу или отыскать черепашье яйцо.

— Кон, что ты хочешь учудить с этим типом?

— Не твое дело.

Он оставил ее под пальмой и перелез через ограду.

XIII. Пляска Чингис-Кона

По другую сторону лагуны кокосовые пальмы плантации Джапи склонялись к желто-зеленой воде, словно застыв навеки в позе безутешного горя: они напоминали Кону изображения скорбящей Богоматери или плакальщиц античного хора и окружали остров печалью, которая особенно остро ощущалась в предвечерний час. Но Кон давно и бесповоротно вступил в ту фазу исторического сознания, когда взгляд, случайно упавший на трещины в камне, непроизвольно видит в их рисунке карту Вьетнама или всей Азии и уже не может, подняв глаза к луне, мгновенно не опознать в ней лицо Мао Цзэдуна.

Дом, выстроенный швейцарским архитектором и считавшийся самым современным зданием на всем острове, был окружен лужайками с безукоризненно ухоженным газоном — для Таити случай редчайший. Газон начинался от самой лагуны, что было настоящим садоводческим подвигом. Посреди всей этой образцово-показательной зелени сидел в шезлонге элегантный господин, с явно спокойной совестью, и услаждал

свой взор красотой морских далей.

Кон облизнулся. Мерзавец! Думает, удрал на край света и никто его теперь не найдет… Ничего, сейчас узнает, что таким, как он, не уйти от расплаты.

Садовник поливал цветы. Это был некто Мухуу, по прозвищу Попаул, он знал Кона, и у него мгновенно сработал защитный рефлекс, как непроизвольно срабатывал у всех, кто хоть раз имел с Коном дело. Садовник бросил шланг для поливки и кинулся наперерез.

— Что тебе тут надо, да еще в чем мать родила?

— Твой хозяин хочет купить у меня картину.

— Да? Ну, ладно. Только смотри, без глупостей!

Кон направился к своей жертве, упражняясь на ходу в изображении нервных тиков: главное — не переборщить, чтоб выглядело правдоподобно и вызывало сочувствие. В итоге он избрал одновременное подергивание правого плеча, глаза и уголка губ, сопровождавшееся взвизгиванием, похожим на крик мангуста. Именно этот душераздирающий писк и привлек внимание хозяина.

Немец поднял глаза и увидел перед собой этакого гуру из Бенареса, абсолютно голого, облепленного песком и корчащегося в нервных

судорогах. Он непроизвольно встал, причем не без некоторой почтительности, безошибочно опознав в этой наготе, судорогах, блуждающем взоре и черной бороде признаки святости.

— Извините, что я вас…

Три крика мангуста, страшный тик, лицо, исказившееся словно от удара электрического тока. В порыве вдохновения Кон решил добавить еще и легкое заикание.

— …что я вас… п-п-п-потревожил…

Кон с облегчением понял, что немец достаточно стар, чтобы хорошо знать историю. Седые волосы, чуткое лицо, слегка печальное, отнюдь не отталкивающее. Кон любил иметь дело с чувствительными натурами. Во-первых, это было прибыльнее, во-вторых, ему казалось, что таким образом он сводит счеты с самим собой.

— Мы соседи… Я живу неподалеку, в пещере… Когда я узнал, что вы приехали…

Он на время прекратил корчи — в целях экономии боеприпасов.

— Вы… вы меня помните?

— Мне, право, неловко, но я не…

— Разрешите я напомню, меня зовут Кон, Моисей Кон, сын Лейбы Кона.

— Мартин Грутт, из Мюнхена. Очень приятно.

— Вы меня забыли, — прошептал Кон.

Немец выглядел слегка растерянным. Неудивительно, подумал Кон. Двенадцать тысяч километров на самолете, и кажется, будто все это осталось где-то в другом мире…

— Мне очень жаль, но… фамилия как будто знакомая, и все же…

Океан вокруг острова так хохотал, что Кон испугался, как бы старый сообщник его не выдал.

— Я догадывался, что мое имя ничего вам не скажет, особенно теперь, когда прошло столько лет… И однако… Кон… Может, вы вспомните… “Дневник Анны Франк” и все, что с этим связано… Варшавское гетто… Нет? Вам это ничего не говорит? Хо… Хо… Холокост…

Череда судорог, три взвизга, конвульсивное подергивание плеча и головы… Немецкий *попаа* стоял, держа под мышкой “Зачарованные острова” Гонсалве. Цезальпинии соединяли над ним ветви с красными цветами, а за остроконечными пандануса́ми бродил по пляжу Океан, мирно перекатывая белые полукружия.

— Когда я узнал, что вы приехали… я сказал себе: Кон, пора. Ты должен явиться… На регистрацию, как положено…

Панический взгляд расширенных глаз… Стре-

мясь к совершенству образа, Кон подумал о Теллере, отце водородной бомбы, чтобы по коже побежали мурашки. Но было слишком жарко, пришлось удовольствоваться легкой пеной у рта — в искусстве Кон был за реализм.

— Двадцать пять лет я питался одними бананами, зарылся в землю, как крот… Но сумел продержаться, не дался нацистам… а все мои родные — сестра, отец, мать, братья… все… в Освенциме…

Тут Коном овладело что-то вроде пляски святого Витта.

— Освенцим! Освенцим! Освенцим!

Глаза его наполнились таким неописуемым ужасом, что немец увидел в них сразу все шесть миллионов еврейских трупов. Среди цветов слышалось томное воркованье горлиц. На Таити было мало птиц, и Бизьен решил завезти сюда этих чувственных пташек, чьи нежные излияния так хорошо сочетаются с представлениями о любви в эдеме.

Немецкий *попаа* побледнел как смерть. Стоя поодаль, садовник Мухуу наблюдал за ними с поливальным шлангом наготове; он догадывался, что происходит какое-то безобразие, и ждал лишь знака, чтобы вмешаться. Но Кон чувствовал себя

в безопасности. Этот пожилой аристократ явно никогда не был нацистом. Поэтому расплачиваться придется именно ему.

Кон повихлял коленом, изобразив неизвестный медицине тик.

— Вы, конечно, спросите: а где обязательная желтая звезда? На это я отвечу: мы здесь в земном раю, и я хожу нагишом. Постановление о евреях предписывает носить желтую звезду на одежде, а не на голом теле. Вы, возможно, возразите, что правила изменились и теперь на голом теле тоже надо носить — в связи с общим прогрессом и еще потому, что Ферми, Эйнштейн, Оппенгеймер и Теллер — все были евреями, но я не знал, клянусь вам, не знал!

Если этот сукин сын с добрым чутким лицом вообразил, будто достаточно заплатить за билет и снять красивую виллу, чтобы укрыться от цивилизации, то он просчитался.

— Все это кончилось, — дрожащим голосом произнес немец, — давно кончилось…

У Кона мелькнула мысль, что этот невинный, чистый человек может отказаться платить, но он тут же пристыдил себя за то, что плохо думает о людях.

— Как хорошо, что вы приехали, — воскликнул

он. — Я уже не мог больше ждать и бояться, я устал… Двадцать пять лет я жду, что за мной придут…

Из его горла вырвался утробный крик затравленного животного — двуногого разумеется. Он на миг застыл, выпучив глаза, с перекошенным ртом, потом встряхнулся и огляделся по сторонам, словно выйдя из транса.

— Я живу тут рядом, — прошептал он. — Мы соседи… Если вам что-то будет нужно… Кон, Моисей Кон… Я просто хотел поприветствовать вас в земном раю…

Он повернулся и двинулся прочь как сомнамбула.

Меева дожидалась его под пальмами. Он оделся.

— Ну как, Чинги? За сколько он купил твою картину?

— О черт! — взвыл Кон.

Он совершенно забыл про деньги. Так часто случалось, когда им владело подлинное вдохновение. Ладно, наплевать! Может же человек иногда поработать задаром, просто из любви к искусству.

XIV. Американская трагедия

В тот вечер, около полуночи, лежа рядом со спящей Меевой, Кон почувствовал непреодолимое искушение предаться старому пороку. Он встал, пошел на кухню, зажег масляную лампу. На нее тут же слетелся рой мотыльков, и они ринулись прямо в огонь, видимо приняв его за свет цивилизации. Кон немного помедлил, борясь с собой. Это было нарушением всех клятв, которые он себе давал, всех обетов воздержания и его собственной персональной бессрочной забастовки, которую он до сих пор успешно держал. Кон вышел, вгляделся в ночные полутени. Никого. Он вернулся в фарэ, взял карандаш, бумагу… До зари он предавался чистой радости, без всякого риска, без страха перед последствиями. К четырем часам утра карандаш выпал у него из рук, он собрал исписанные листки и перечитал. Получилось очень красиво. Он улыбнулся, еще раз оглядел оставшийся на бумаге след того, кем он был в действительности, потом разорвал все на мелкие кусочки и выбросил в уборную. Затем отправился в кафе старого Папеа, вытащил того из постели, и

они вдвоем до смерти напились — Кон от отчаяния, а Папеа без всякой уважительной причины. Около шести Кон попытался добраться до дому, но рухнул посреди дороги на Пунаауиа и заснул под созвездием Пса, сиявшим над его головой своим вечным светом.

Тут, на дороге, Бредфорды его и нашли. Это был волнующий час первого предрассветного трепета, когда Таити-Нуи, *вахинэ* Тино Таата, Повелителя Рождений, встает со своего ложа и облачается в утренний наряд, сбросив ночные покровы на руки служанкам.

Бредфорды возвращались к себе на яхту после ночного посещения белого *тики,* которого туристические гиды рекомендовали гостям Таити как "поразительный пример живучести древних полинезийских верований".

К десяти часам утра Кон пришел в себя и обнаружил, что лежит в комфортабельном шезлонге, с подушечкой под головой, на палубе яхты "Антинея", чьим изящным белым силуэтом он не раз любовался с берега: яхта стояла в том самом месте, где двумя веками раньше пришвартовался фрегат "Агила" испанца Максимо Родригеса, первого белого человека, осевшего на Таити.

— Господи! — застонал Кон от нестерпимых

ударов молота в голове. — Господи!

— Американец, я вижу, — сочувственно обратился к нему мистер Бредфорд.

— Уичито-Фолс, Техас, — процедил Кон с таким ощущением, будто летит вместе с шезлонгом в бездонную пропасть. — Боже милосердный! Это самое ужасное похмелье за последнюю неделю.

Он снова приоткрыл глаза и увидел над собой приятное женское лицо: сорокалетний рубеж был близок, но еще не перейден. Тридцать шесть — тридцать семь, самый подходящий возраст, если вы хотите вызвать у женщины материнские чувства, еще пригодные к употреблению. У мужчины были волосы с проседью и открытая, располагающая улыбка, как в журнальной рекламе *How to retire at fifty on four hundred a month*[29], с той лишь разницей, что тут одна яхта стоила не меньше трехсот тысяч. Кон взял из рук миссис Бредфорд чашку кофе.

— Не хочу вмешиваться не в свое дело, — сказала она, — но вам, право, не стоило бы столько пить.

— Такие советы еще не помешали ни одному торговцу спиртным спать спокойно, — заметил

---

[29] Примечания: 29

Как выйти на пенсию в пятьдесят и получать четыре сотни в месяц *(англ.)*.

ее муж.

Кон залпом проглотил кофе. Эти люди вызвали у него симпатию с первого взгляда. Их надо было отблагодарить достойно.

— Вы валялись на дороге, в полной темноте, — сказала Ли Бредфорд. — Счастье, что вас не задавил грузовик.

— Это уже третья неудачная попытка со всем покончить, — отозвался Кон.

Так было всегда: он ловил какую-нибудь случайную фразу, цеплялся за нее и дальше полагался на воображение. В темах для импровизации он обычно недостатка не испытывал, но сейчас был не уверен, что с такой головной болью сможет сочинить что-то удобоваримое. На всякий случай он состроил страдальческую гримасу и прикрыл глаза, дабы выиграть время. Ли Бредфорд отправилась на кухню за льдом для его молодого горячего лба, а ее муж хранил тактичное молчание, подобающее джентльмену при виде столь глубокого морального падения.

Одежда Кона, заскорузлая от пота и пыли, была омерзительно грязна, черная борода подчеркивала худобу лица, на котором нос торчал будто парус затонувшего корабля, а в глазах застыло капризное недовольство, как у некоторых люм-

пенов, не способных ни примириться со своим положением, ни бороться с ним. Трудно поверить, но Кону отказывало вдохновение. Никакое пристойное вранье не шло на ум. Словно любовь к ближнему вдруг покинула его. Он призвал на помощь дух покойного пикаро Педро Гомеса, посрамлявшего Власть в лице испанской монархии на протяжении тридцати пяти лет, что противоречит всем законам вероятности и позволяет человечеству сохранять веру в будущее. Педро Гомес, по прозвищу Весельчак, умер, по слухам, в шестьдесят пять лет от приступа приапизма, иначе говоря, эрекции, не прекращавшейся две недели, несмотря на все рвение монашек, сбежавшихся к его одру. Другим его любимым героем был Пэдди Хокэм, который успешно морочил весь белый свет пятьдесят лет подряд, выдавая себя за хирурга, генерала, изобретателя, владельца золотых приисков и короля Сербии в изгнании, и послужил прообразом герцога из “Приключений Гекльберри Финна”. Пэдди Хокэм окончил свои дни в реке, вымазанный дегтем и облепленный перьями, но то были времена пионеров, а сегодня профессиональный риск практически сведен к нулю.

За лагуной и пляжем, на подступах к Орохене,

огромные древовидные папоротники осаждали голубые верховья рек, терявшихся в растительном хаосе. Чуть дальше, в районе невидимого Фааоне, широкие устья дарили морю пресную воду. Над рифом бил крыльями Океан, и белые орлы прибоя устремлялись ввысь, поднимались на миг над отмелью и камнем падали вниз, теряя перья. По зеленой земле бродили голубые и розовые гогеновские лошади и огромные *вахинэ*, в действительности отсутствующие и видимые лишь европейскому глазу, который переносил их сюда из музеев и с бесчисленных открыток. В районе полуострова Тайарапу пятьдесят красных пирог с двадцатью гребцами в каждой выплывали из тумана памяти и стремительно неслись к фрегату Бугенвиля, чтобы доставить туда обнаженных таитянок в качестве приветственного подарка.

— Великолепно, правда? — Мистер Бредфорд курил сигару, наслаждаясь пейзажем земного рая, привезенным с собой с Запада. — Где еще найдешь такую красоту?

Миссис Бредфорд вернулась из кухни с яичницей для Кона. Она была в шортах, как масса женщин, которым не следовало бы их носить. При всей красоте ее форм, их пышность требовала либо полной свободы, либо юбки. Чета Бредфор-

дов источала доброжелательство, искреннее и глубокое, в них обоих ощущалась готовность помочь и беззаветное доверие к ближнему, которое ни в коем случае не должно было пропасть даром. Кон чувствовал себя просто не вправе позволить им покинуть Таити, не обогатив их каким-нибудь незабываемым переживанием. Номер под названием “бродяга с южных островов” был, разумеется, всегда наготове, но его требовалось обновить, скорректировать, придать ему волнующее общечеловеческое звучание… Кон вдруг развеселился, в нем без всякой видимой причины возродилась надежда. Что галактики? Просто камешки на пути человека, чтобы ему легче было отыскать дорогу во тьме.

Он проглотил яичницу.

— Давно я не ел горячего! — воскликнул он.

— Как вы оказались на Таити? — спросила миссис Бредфорд.

Кон уже оклемался. Теперь держитесь! Подлинному таланту похмелье не помеха.

— Не знал, куда податься. Меня обложили со всех сторон. Я загнан в угол.

— Полицией? — с пониманием спросила миссис Бредфорд.

— Нет, совестью! — Кон пустился в большое

плавание, еще не зная, какой избрать курс.

Он помолчал, взял предложенную сигару, а Бредфорды хранили сочувственное молчание, которое, как известно, располагает собеседника к откровенности. Нет, правда отличные ребята, нельзя обмануть их ожидания… Пока Кон раскуривал сигару, на него вдруг, словно небесная благодать, снизошло вдохновение.

Он помедлил еще немного, чтобы все выглядело естественно, задул спичку…

— Я сын летчика, который сбросил бомбу на Хиросиму. Отец мной не занимался, избегал меня — наверно, боялся посмотреть мне в глаза. Он сменил несколько фамилий, но журналисты всякий раз ухитрялись дознаться, кто он такой, и ему опять приходилось бросать работу и начинать все сначала на новом месте. Он страшно пил. Чувство вины, с которым он жил, в конце концов передалось и моей матери, происходившей из семьи квакеров, известных своими жесткими моральными принципами; она стала психически неуравновешенной, даже пыталась меня убить, видя во мне сына Каина. Преступление отца превратилось для нее в навязчивую идею, чреватую трагическими последствиями. Я был еще слишком мал, чтобы понять, в чем дело, но помню,

что у нас в доме постоянно крутились японцы. Мы жили на побережье Тихого океана, где всегда было много выходцев с Востока, и я часто видел, как какой-нибудь японец выходил из комнаты матери, поправляя одежду. Я так никогда и не понял бы, что это значит, если бы психоаналитик, к которому меня отправили в двенадцать лет, дабы подготовить к ожидавшим меня психологическим травмам, не объяснил мне, что моя мать спит с японцами из чувства вины, в надежде на прощение и искупление. До сих пор помню, каким страшным шоком стала для меня эта новость. А в четырнадцать лет я свернул на плохую дорожку, подсознательно считая себя недостойным честной жизни. Я воровал и несколько раз пытался покончить с собой, чтобы заплатить таким способом за вину отца. Психоаналитик в колонии для подростков, куда я попал, объяснил мне, что мать стала фригидной, живя с моим отцом: получив строгое религиозное воспитание, она холодела при мысли, что занимается любовью с человеком, который сбросил бомбу на Хиросиму. И тогда ее психоаналитик посоветовал ей попробовать с японцами, чтобы убедиться, что они ее не отвергнут. Короче, поток японцев не иссякал, и некоторое время мы жили довольно

широко, хотя отец сидел без работы. И все было бы ничего, если бы соседи не заявили в полицию, обвинив мою мать в проституции, а отца в том, что он наживается на ее развратном промысле. Меня забрали от родителей и определили в добропорядочную семью, где ко мне все относились очень хорошо, но в моем подсознании уже прочно угнездилась пресловутая потребность в наказании, потому что сам я себя ненавидел и презирал, ненавидя и презирая в себе отца, которого хотел наказать в моем лице, и потому совершал разные гнусные поступки. Сыграла свою роль и репутация среди одноклассников: они знали, что я сын человека, сбросившего бомбу на Хиросиму, и необычайно этим восхищались. Меня несколько раз арестовывали, но судьи всегда проявляли ко мне снисхождение: они понимали, какая тяжесть лежит у меня на душе. Отца я трезвым почти не видел. Он был человек простой, не понял своей высокой миссии и бомбу на Хиросиму сбросил не задумываясь, как выполнил бы любой другой приказ. Когда он сообразил, что из него хотят сделать Иисуса Христа, ибо человечество распяло его, заставив принять на себя ответственность за историческое действие, в котором повинно оно само, — действие, превратившее его в Иуду,

но Иуду распятого и ставшего мучеником, — он приложил неимоверные усилия, чтобы ощутить нравственные муки, но у него ничего не получилось: он спокойно спал ночью, не видя во сне никаких обугленных трупов. Это в конце концов его и сломило. У него начались страшнейшие угрызения совести — из-за того как раз, что у него угрызений совести не было, и он стал считать себя чудовищем без души и сердца. Он страшно страдал и начал пить. Он, правда, пил и раньше, до Хиросимы, но теперь знал почему. Отец чувствовал себя виноватым, оттого что не чувствовал себя виноватым, он не мог смотреть людям в глаза и стал асоциальным типом, к тому же буйным. В итоге у него накопилось такое озлобление против общества, что он совершил налет на банк, вооружившись игрушечным пистолетом. Его оправдали: психиатры объяснили суду, что это типичный случай и подсознательно он хочет любой ценой понести наказание, ибо преступление, действительно отягчавшее его совесть, — бомбардировка Хиросимы, — осталось безнаказанным. Для отца это было открытие — он понял, что может отныне нарушать закон, не подвергая себя ни малейшему риску.

Он стал настоящим бандитом с большой дороги

и, если попадался, отделывался коротким пребыванием в психиатрической лечебнице: нельзя же карать человека и без того глубоко травмированного Хиросимой. О нем непрерывно писали в газетах и после каждой хулиганской выходки приводили в пример молодежи: вот, смотрите, типичный случай нездорового сознания, жаждущего кары, чтобы испытать облегчение. Его регулярно приглашали выступать на митингах, посвященных преступлениям Америки против человечества, и он всегда стоял на трибуне рядом с отставным офицером авиации, который снискал славу великого страдальца, разбомбив дочиста вьетнамскую деревню. Отцу даже советовали выставить свою кандидатуру на выборах. Однако поддерживать такую репутацию ему было нелегко. Если он в течение нескольких месяцев вел себя тихо и не совершал никаких противоправных действий, “атакуя общество, сделавшее из него преступника”, его популярность падала, про него забывали, газеты переставали о нем писать, а борцы за мир начинали косо поглядывать на него: им казалось, что он предал общее дело, очерствел и перестал терзаться угрызениями совести. И отцу приходилось опять совершать какую-нибудь гнусность, дабы подтвердить, что в

глубине души он по-прежнему страдает и жаждет понести наказание. Короче, это была не жизнь. Он пил все больше и больше, сочетая тем самым приятное с полезным, ибо люди именно этого от него и ждали. Иногда он назначал мне встречу в баре какого-нибудь торгового комплекса, и мы подолгу сидели молча. Видит бог, нам было о чем поговорить, но мы оба были так запуганы, что боялись ненароком сказать что-нибудь, чего в нашем положении говорить ни в коем случае не следовало. Нет, мы были не на высоте, ни он, ни я. Есть люди, созданные для величия, и есть не созданные, мой отец принадлежал к этим последним и мучился от чувства ответственности, потому что знал: на него смотрит вся страна, а он никак не может заставить себя страдать. У него на этой почве образовался комплекс неполноценности, он был совершенно деморализован и постепенно начал действительно сожалеть о том, что сбросил на Хиросиму эту чертову бомбу: сто тысяч человек определенно погибли зря и даже не дали ему возможность подарить своей стране чистую совесть, демонстрируя, как он морально и психически подавлен содеянным. Отец постепенно пришел к мысли, что он жертва общества и виновата во всем армия — прежде

чем приказывать человеку подвергнуть атомной бомбардировке город с огромным населением, надо проверить кандидатов с помощью тестов, потом выбрать из них наиболее совестливого, гуманного и образованного, поистине достойного этой миссии. Так мы сидели, глядя друг на друга, и ни слова не говорили, но понимали друг друга, и я по-своему любил несчастного старика. Я чувствовал: он больше не может, и тогда я решил ограбить ювелирный магазин, чтобы дать ему немного передохнуть. Газеты объяснили мой поступок ненавистью к отцу: я стремился наказать его и отомстить за то, что ношу его имя. Меня опять оправдали, но спустили на меня целую свору психиатров. Мать по-прежнему спала с японцами, но ей было проще: она дочь пастора с наследственной предрасположенностью к покаянию. Она понимала, что такое грехопадение, а мы с отцом — грубые, толстокожие мужланы, если говорить честно. Один или два раза он приходил на наши встречи в состоянии пьяной агрессии, орал, что ему все осточертело, осточертела моя мать со своими японцами, а от этой проклятой Хиросимы ему лично ни жарко ни холодно, и надоело мучиться оттого, что он не мучается, и если я стыжусь того, что мой отец — такая

бесчувственная скотина, то пожалуйста, могу катиться ко всем чертям. Потом он начинал все крушить, а когда приезжала полиция, ему опять приходилось объяснять, кто он такой, чтобы не платить штраф, и полицейские просили хозяина заведения не подавать жалобы, потому что этот человек — мученик науки и его надо понять. Отец покидал бар с гордо поднятой головой, а в дверях оборачивался и показывал мне язык, после чего мы на какое-то время переставали встречаться. В конце концов я возненавидел его действительно — за всю кучу неприятностей, которые он мне доставлял. Многие считали, что я должен сделаться гомосексуалом от ненависти к отцу, — кажется, так полагается. Я даже перестал ходить к психиатру, несмотря на требования инспектора, под чьим наблюдением я состоял. У меня никак не укладывалось в голове, почему я должен становиться педерастом из-за того, что мой отец сбросил бомбу на Хиросиму, как будто одной этой головной боли нашей семье мало. Короче говоря, общество окончательно меня достало. И тут опять объявился отец, так как в газетах написали, что он не осмеливается смотреть сыну в глаза. Он явился вместе с журналистами и посмотрел мне в глаза, чтобы они это видели, а мне стало

до того противно, что я схватил пивную бутылку и разбил о его лоб, и назавтра, конечно, все это попало в газеты. Америка была потрясена до слез, все бросились посылать мне подарки, я сбежал в Сан-Франциско и нашел там работу под чужим именем. Но тут разразился новый скандал: отец попытался вытянуть крупную сумму у японского посольства в Вашингтоне под тем предлогом, что им выгодно, чтобы в мире продолжали говорить о вине Америки перед Японией, но поскольку японцы уже платили сорока двум проходимцам, которые якобы сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки, они ему отказали. Вместо того чтобы заткнуться, мой папаша сделал заявление для прессы, жалуясь, что японцы отказываются возмещать ему моральный ущерб за перенесенные страдания. Все это происходило, как раз когда японский летчик, который участвовал в авиационном налете на Пёрл-Харбор, совершал покаянную поездку по городам Америки, типа *mea culpa* и так далее, и отца обвинили в том, что он затеял этот скандал с целью помешать установлению дружеских отношений между США и Японией. Думаю, вы понимаете, как все это меня допекло. У меня была единственная мечта — поступить в авиацию и разбомбить

Хиросиму, или Нью-Йорк, или все равно что. Я хотел выучиться на летчика, но в авиацию меня, естественно, не взяли — из-за отца. Я понял, что мне ничего не остается, кроме как стричь купоны со своего положения, профессионально играть роль сына, несущего бремя отцовского греха, и я нашел одного типа, который писал за меня статьи, а я их подписывал, потом я стал разъезжать с лекциями, словом, пошел в гору. Но тут мы снова разругались с отцом: он приехал ко мне в Сан-Диего и заявил, что я отнимаю у него кусок хлеба, что на двоих не хватит, Хиросима принадлежит ему, это дело его жизни, особенно теперь, когда он приобрел великолепный нервный тик, весь дергается, и при его-то сединах — он рассказывал публике, будто поседел через несколько часов после Хиросимы, — он не допустит, чтобы родной сын вздумал с ним конкурировать. В общем, мы с ним поделились по-братски. Я взял себе западное побережье, а он все остальное. Отец немного умел играть на гитаре, и для него кто-то сочинил фолк-сонг “Хиросима, ты меня разбомбила”. Это история про ковбоя, который покинул родные прерии и семью, пошел воевать и стал орудием ужасающего преступления, диск продержался целый год на одном из первых мест в хит-параде,

сразу за “Роллингами”. Во Франции даже фильм сняли на эту тему, и он имел бешеный успех — “Хиросима, любовь моя”. Отец с его бомбой запустил настоящий культурный бум. Я тоже хотел урвать свой кусок пирога, купил электрогитару и вместе с приятелями, вернувшимися из Вьетнама, создал собственную фолк-группу, но к тому времени этим уже занималось столько народу, что мы не сумели пробиться. Отец стал мне ненавистен еще больше, и я даже заявил журналистам, что он самозванец и никакую бомбу на Хиросиму не сбрасывал, но военное ведомство выдало ему справку, что он — это он и его права сомнению не подлежат. Вот так. Он не оставил мне ничего, все прибрал к рукам. Его фотографии мелькают везде: в витринах, на дисках, он стал символом американской вины перед человечеством и дает возможность всем чувствовать себя виновными и иметь нечистую совесть, а это очень приятно, так как доказывает, что она у вас есть *and that you really care*[30].

Мне он не посылает ни гроша. А когда я прошу у него денег, кормит поучениями, напоминает, что добился всего сам — *a self-made man* — ценой горя,

---

[30] Примечания: 30
И что вам действительно не все равно *(англ.).*

слез и крови и мне остается лишь последовать его примеру. Идет война во Вьетнаме, почему бы мне не отправиться туда добровольцем, чтобы разделить страдания вьетнамского народа, пошвыряться в него бомбами и тоже стать виноватым, а может, если повезет, меня пошлют бомбить Ханой, и тогда я тоже выбьюсь в люди. Я вернусь оттуда слегка сдвинутым, зато с кучей сюжетов для песен. Общественные достижения моего отца вам известны — с него началось возрождение фолк-рока: атомная бомба, радиация, Вьетнам, расовая дискриминация, нищета в негритянских кварталах — все пошло в ход, стало темой для огромного количества песен и баллад, от Боба Дилана до Джоан Баэз и еще сотен других. А я уехал на Таити вместе с моим агентом, который придумал гениальную вещь, чтобы меня раскрутить: арендовать белоснежный парусник, назвать его “Человеческое достоинство” и взять курс на Мурароа, когда Франция будет проводить там ядерные испытания, чтобы облучиться и таким образом выразить свой протест. Разумеется, французские корабли нас перехватят и арестуют, так что мы почти ничем не рискуем, зато представьте себе заголовки в газетах: “Сын человека, сбросившего бомбу на Хиросиму” и т. д. и т. п. Я

был уверен, что при такой рекламе меня должны засыпать самыми блестящими предложениями. Но когда мы сюда приехали, мой агент потерял ко мне интерес — кинулся на местных женщин, и больше я его не видел. Мне вечно не везет. Такие дела. Вы спрашивали, как я тут очутился, ну вот, теперь вы знаете. Проклятие отца тяготеет надо мной, да, я проклят, мне нет спасения. Моя судьба исковеркана преступлением, которого я не совершал, но от которого не освобожусь никогда. И все-таки я продолжаю жить, чтобы служить примером, предостережением для новых поколений. Я даже заключил контракт с директором местного турагентства, он предоставил мне эксклюзивные права на эту роль, и если явится кто-то другой, кто захочет изображать перед туристами сына, двоюродного брата или племянника того типа, который сбросил бомбу на Хиросиму, он обязуется его выслать. Я и только я имею эту монополию на Таити. Меня называют здесь просто Сын Человека, и этого довольно — всем и так ясно, что это значит. Надеюсь, вы правильно понимаете: я не просто аттракцион для туристов. Я приношу пользу, у меня есть миссия. Когда меня показывают приезжим и они видят, как мы с моей *вахинэ* целыми днями

трахаемся, пьем и танцуем, чтобы забыться, то есть забыть, кто я есть, это не оставляет людей равнодушными, они начинают чувствовать себя виноватыми передо мной. Когда я беру гитару и пою свою знаменитую “Балладу про́клятого сына”, все украдкой утирают слезы: есть что-то трагически прекрасное в образе грешника среди земного рая, это волнует куда сильнее, чем если бы я выступал, как Боб Дилан, на сцене мюзик-холла. Моя известность растет, я уже получил предложение от Диснейленда. Что ж вы хотите? Я обесчещен собственным отцом, и когда говорят, что я бездельник, вертопрах и подонок, то мне хочется спросить: кто в этом виноват? Я принял на себя вину Человека и примирился с этим, я даже не скрываю, что счастлив, вот до чего я дошел, ниже пасть невозможно. Докатился до того, что позирую для порнографических открыток, чтобы еще больше себя унизить и сполна ощутить свое падение. Я продаю их по пятьдесят франков десяток. В сущности, это тоже снимки Хиросимы, похабнее не придумаешь. Исторические документы, так сказать. Вот, взгляните…

Кон достал из кармана открытки и бросил на стол. Это были копии знаменитых порнографических открыток, которые Гоген купил в

Порт-Саиде, по пути на Таити, и которые находятся теперь в архиве Дюссельдорфского музея.

Миссис Бредфорд плакала от унижения. Лицо ее мужа выражало смятение и гнев. Изумрудные волны, кокосовые пальмы, белый пляж и веселые водопады дышали восхитительным равнодушием — равнодушием природы к делам человека. Кон чувствовал, что сумел оказаться на высоте своей благородной ненависти и не зря присвоил себе имя Чингис: только что во главе стотысячной армии разъяренных защитников природы он предал огню и мечу преступную цивилизацию и на дымящемся пепелище исполнил победный танец под смех и рукоплескания отчаявшейся молодежи.

— Прошу вас немедленно покинуть яхту, — обратился к нему бледный от возмущения Бредфорд. — Это низость. Я знаю, что у вашего поколения нет ничего святого, но существует все-таки предел цинизму.

Кон встал:

— Могу я взять сигару?

— Берите *and be damned*[31].

“Монтекристо”. Кон взял всю коробку. Он был

---

[31] Примечания: 31
И будьте прокляты (*англ.*).

страшно доволен, чувствуя себя крестоносцем, который сделал остановку в пути, чтобы разгромить Византию, и готовится двинуться дальше, в Иерусалим, для освобождения Гроба Господня.

— Можете взять шлюпку. Оставьте ее на берегу.

Кон не взял шлюпку. Он прыгнул в воду и поплыл на спине, держа над головой коробку сигар. Он видел, как миссис Бредфорд схватила открытки и вышвырнула в море. Между тем некоторые из них с идеологических позиций вполне могли бы понравиться Мао и его красным псам культуры.

Кон плыл с сигарой в зубах, и глаза его переполняло небо.

XV. Святой Гоген

Весь мокрый, Кон шел к деревне Марутеи по мягкой траве, среди деревьев кешью с такими яркими плодами, что неясно было, поглощают они свет или отдают. Он углубился в рощу папирусов, разросшуюся возле церкви мормонов, и уже собирался спуститься к деревне, чтобы купить в китайской лавочке вина и пасту, как вдруг увидел над входом в церковь надпись, которой прежде не замечал: “Помните, что у каждого сытого есть на земле голодный брат”.

От возмущения он чуть не выронил изо рта сигару. Эти чертовы мормоны — самые настоящие отравители! Такая надпись была бы уместна в любом городе “цивилизованного” мира, но в земном раю, где видеть ее могли только местные жители, она изобличала чье-то лукавое стремление пробудить в душе наивных туземцев угрызения совести и чувство вины. Мормонские змеи не дремали. Они вертелись повсюду, эти чистенькие молодые люди в бабочках, и с неутомимостью грызунов уничтожали последние остатки невинности. По сравнению с мормонами католическая

церковь просто сластолюбивая красавица, не слишком даже неприступная. Нельзя заниматься любовью, нельзя курить, нельзя пить кофе. Кон знал когда-то в Сан-Франциско одну *call-girl,* мормонку, которая не курила и не прикасалась к кофе. Она считала, что если из трех источников греха исключить два, то остаются недурные шансы на спасение. Вид мормонских миссионеров, развращавших жителей острова идеей первородного греха, приводил Кона в такую неистовую ярость, что рыбаки не осмеливались спускать на воду пироги, пока он не успокоится.

“Помните, что у каждого сытого есть на земле голодный брат”... И это в тысячах километров от тех краев, где подобный упрек мог быть кому-либо адресован хоть с малейшим основанием! Нет, единственной целью акции было, несомненно, заразить таитян мучительным комплексом вины.

Кон помчался, как боевой конь, в деревню и купил у китайца кисть, гвозди и краску. Для мести он удовольствовался обратной стороной таблички. Через два дня, подняв случайно глаза и взглянув на надпись, которую он не имел привычки читать, преподобный Смити с ужасом обнаружил, что чья-то недостойная рука подме-

нила ее. Дабы успокоить прихожан и позволить им спокойно наслаждаться жизнью, Кон начертал: “Помните, что у каждого голодного есть на земле сытый и счастливый брат”.

Для Смити не составило труда дознаться, кто это сделал: многие видели Кона на месте преступления. Смити подал жалобу, но ей не дали хода. Исторический прецедент подобного конфликта был слишком хорошо известен на острове, и его преподобие призвали хранить спокойствие. Глупость жандарма Шарпийе, подававшего рапорт за рапортом на того, кто впоследствии стал гордостью Франции и “святым покровителем” Таити, осталась у всех в памяти незатянувшейся раной.

В тот вечер, сняв брюки, чтобы Меева их погладила, Кон сидел на песке перед фарэ и курил сигару, подбадривая взглядом небо, солнце и Океан в надежде на хорошо сработанный закат — он любил, чтобы закат был бурный, с фиолетовым отливом, с тяжелыми массами пурпурных облаков над белой оборкой прибоя, — и вдруг заметил, что одна нога у него вся в экземе, а на другой зияет кровоточащая язва.

— Меева, иди скорей сюда!

Она прибежала, абсолютно голая, как любил Кон. Он посмотрел, как солнце ложится ей на

грудь, опускается на живот, соскальзывает ниже и приземляется на песке у ее ног: вот закат так закат! На горизонте это было, наверно, более грандиозно, но никакие красоты неба не могли сравниться с грудью и бедрами Меевы. Разумеется, солнце превзошло само себя в буйстве красок, с которыми Кон чувствовал себя неспособным тягаться в яркости, — не считая, пожалуй, некоторых эффектов розового и пурпурного, и то лишь в минуты наивысшего вдохновения. Но все же цвет был в данном случае вторичен, а роскошь форм оставалась, бесспорно, на его стороне — на стороне земли.

Солнечное яйцо, красное и раздувшееся, словно готовое расколоться и дать рождение какой-то новой кровавой эпохе, тяжело нависло над Океаном во влажном свете первых дней творения — если допустить, что подобное предприятие могло затеваться при свете. Прибой на отмели показывал зубы, а над Муреа раскинулось царство индиго и ультрамарина, в то время как лагуна еще сохраняла свой изумрудно-зеленый цвет, резко переходивший в бледно-желтый вблизи пляжа. Кокосовые пальмы начинали чернеть, окаменевшие мадрепоровые полипы, именуемые кораллами, вздымали над водой памятники

жизни, преобразовавшейся в материю, а среди водорослей метались застигнутые отливом крабы.

— Посмотри!

Он показал Мееве ноги. Левая икра сзади была покрыта коростой, а на правой алела язва.

— Это мормоны навели на тебя порчу!

Он долго разглядывал ноги, и вдруг его озарило:

— Черт побери! Да это же стигматы!

— Что? Сти… что?

Кон вскочил:

— Стигматы! Стигматы Гогена! Гениально! Я становлюсь подлинным!..

Меева вздохнула:

— Ох, Чинги! Вечно ты выдумываешь какие-то сомнительные штуки. Что ты такое говоришь?

— Как ты не понимаешь? У Гогена были точно такие же болячки на ногах, причем в тех же самых местах. У него был сифилис. Понимаешь, что это значит?

— Кон! У тебя сифилис? Все эта шлюха Унано! Так я и знала!

— Да нет, темная ты женщина! Это стигматы Гогена. Теперь я в порядке! Как будто на мне печать, гарантирующая подлинность! Я удвою цену… Торг неуместен, когда стигматы налицо!

Кон помчался известить “Трансторпики”. Он уже три месяца просил у них субсидию, чтобы отстроить настоящий Дом наслаждений, точную копию дома Гогена, но Бизьен божился, что сейчас на это денег нет. Приоритет был отдан более важным объектам, без которых гавайский Диснейленд их перещеголяет. Кон с победоносным видом вошел в кабинет к промоутеру, задрал штаны и предложил план действий. Стигматы были видны невооруженным глазом, очевидны, бесспорны, и для начала их следовало сфотографировать. Гоген на одре страдания, с язвами на ногах, в Доме наслаждений! Великолепная приманка для туристов! Те, кому дороги интересы острова и таитянский миф, просто не имеют права отказаться раскручивать эту идею. Даже миссионеры на сей раз не смогут ничего возразить — во-первых, потому что с фактами не поспоришь, во-вторых, потому, что мораль торжествует и конец “распутника” выглядит поучительно: Дом наслаждений превращается в юдоль печали. Образ страдания выходит на первый план. Если комиссариат по туризму откажет в кредитах, можно обратиться в министерство культуры: кровь, страдание, готическое искусство, трагедия — это по их части.

Бизьен обещал подумать насчет Дома наслаждений, хотя бы в уменьшенном варианте. Но сейчас у него другие заботы: он готовит для двух тысяч туристов, которые должны вскоре прибыть на круизном судне компании *Matson Line*, живые картины из Библии — их будут представлять туземцы на пути экскурсионных автобусов.

Кон на всякий случай сдал анализ на реакцию Вассермана, после чего успокоился. Кровь его была безупречно чиста — насколько может быть вообще чиста человеческая кровь. Стигматы имели происхождение либо аллергическое, либо психосоматическое. По мнению доктора Шурата, Кон до такой степени вжился в образ Гогена, что его язвы, вероятнее всего, следует считать результатом самовнушения.

Кон, лелеявший грандиозные замыслы, без конца приставал к Бизьену, чтобы тот как можно скорее известил о чуде епископа Татена. Но весь остров и так уже судачил о гогеновских стигматах, и Кон начал получать от крестьян подношения в виде кур и фруктов. Туземцы приходили посмотреть на него, он, лежа в гамаке, слабым голосом благодарил их и благословлял. Даже Меева стала посматривать на него как-то странно, проявляла в постели несвойственную

ей стыдливость и вообще выглядела смущенной. Кон никак не мог взять в толк, что с ней творится, пока в один прекрасный день она попросту не отказалась с ним спать.

— Э меа хаама. Мне стыдно.

— Что с тобой? Почему?

— Теперь нам нельзя, Кон. Это кощунство.

Между тем во всей округе не нашлось бы более располагающего к любви уголка. У самого порога фарэ в благодатный остров вторгался Океан. Коралловый пояс целомудрия был здесь разомкнут и не мешал свободному проникновению белых оплодотворяющих потоков бога Теоны. Пена, напоминавшая своей белизной о чистоте первого соития, со счастливым лепетом накрывала песок. Бесчисленные пальмы, склонявшие голову перед Орохеной, который был богом, до того как стал вулканом и окаменел, окружали суровую наготу вершин зеленым руном, становившимся все гуще и темнее по мере приближения к лагуне, откуда струился свет, устремляясь вверх, навстречу тайне.

Кона охватило глубокое волнение, и его естество отозвалось на призыв земного великолепия столь бурно, что теперь он созерцал себя с гордостью, довольный, что достойно отреагировал на

красоту мира. Но Меева ничего не желала знать.

— Нет, ни за что! Это грех!

— Какой грех? Что ты несешь? Где ты нашла грех?

— Отец Тамил сказал, что теперь, когда ты всюду растрезвонил про стигматы, ты должен жить как святой, тогда и я, благодаря тебе, когда-нибудь прославлюсь.

Вот гад, подумал Кон, вместе с тем отдавая Тамилу дань восхищения. Этот проклятый доминиканец — диалектик первый сорт!

— Не слушай ты его! Он не верит ни в бога, ни в черта и просто смеется над тобой.

— Нет, лучше подождать, пусть пройдет. Ведь это же может пройти, а, Кон? Но Тамил говорит, что, пока у тебя стигматы, я должна тебя почитать. Пока они есть, твой фифи табу.

— Что? — взревел Кон. — Мой фифи табу?

Он мог орать сколько угодно — табу есть табу. Меева была непреклонна.

Дождавшись воскресенья, Кон помчался на мотоцикле в Пунаауиа и подкараулил Тамила после мессы. Он устроил ему ужасающую сцену, но монах в ответ только благодушно улыбался.

— Что за дела? — кричал Кон. — По какому праву вы объявили мой фифи табу? Вы вторгаетесь

не в свою сферу. Это же язычество!

— Ну-ну, месье Кон, вы сами на всех углах кричите, что у вас стигматы.

— Вы отлично знаете, что это у меня чисто нервное! Психосоматика. А потом, у меня стигматы от Гогена, а не от Него. И никакого отношения к вашей религии не имеют! Учтите, если вы не снимете с моего фифи табу, я подам в суд!

Но Кон не забывал и о делах действительно важных. Каждый день он забегал к Бизьену.

— Ну что?

— По-моему, шансов нет. Через полчаса я встречаюсь с Татеном. Подождите меня прямо там, у входа. Не думаю, чтобы он сказал “да”. Будущее туризма на Таити интересует церковь в последнюю очередь.

Канонизация Гогена казалась Бизьену делом абсолютно безнадежным. В то же время он знал, что если этого все же добиться, то Гавайи со своим Диснейлендом отдыхают. Он давно уже вынашивал планы “Гогеновых страстей” по типу Христовых, что позволило бы включить в туристический маршрут самые живописные уголки острова и воссоздать там сцены мученической жизни художника, мечтавшего возродить связь человека с земным раем. Возможности откры-

вались головокружительные. Можно было бы, например, реанимировать Маркизские острова, последнее пристанище Гогена, куда “Транстропики” пока еще не добрались и где даже *Club Med* отказывался работать. Бизьен уже несколько месяцев обхаживал Татена, уговаривая его согласиться. Оставив Кона ждать у дверей, он предпринял последний штурм глухой стены непонимания. Густые черные брови епископа возмущенно взметнулись, как только Бизьен открыл рот.

— Ваш Гоген был похабник, и все это знают. Он блудил как грязная свинья, развешивал на стенах своего жилища порнографические открытки, привезенные из Порт-Саида, совращал маленьких девочек и умер от сифилиса.

— Гоген намеренно принял на себя все человеческие грехи. Сохранилось его письмо Монфреду, написанное за три дня до смерти, где он недвусмысленно говорит: “Язвы, мучения, слабость, полный телесный распад — что это, как не Человек с первых своих шагов на Земле?”

— Я незнаком с этим письмом, — задумчиво проговорил Татен.

— Его купил за пять миллионов старых франков какой-то американский коллекционер. На оборо-

те набросок, сделанный явно слабеющей рукой, он напоминает “Желтого Христа”, которого Гоген написал несколькими годами раньше. Этот человек мучился всеми муками, какие есть на земле, и все же до конца продолжал воспевать красоту творения. Такое впечатление, будто церковь хочет, чтобы радость жизни стала достоянием исключительно безбожников. Не забывайте, что на одном из первых своих автопортретов, написанных в Бретани, Гоген изобразил себя с нимбом над головой…

— Дорогой мой Бизьен, мир увидит еще много преступлений и ужасов, но обещаю вам, что одного он не увидит точно — праздника святого Гогена на Таити. Я почтительно склоняюсь перед гениальным художником, но как человек он был свинья свиньей. И еще одно, раз уж вы пришли ко мне. Никто не имеет ничего против вашей культурной деятельности, и я не возражаю против идеи представить Таити земным раем. Но надо все-таки более тщательно выбирать людей, которых вы берете в исполнители. Вот, к примеру, эта история с Адамом и Евой на прошлой неделе. Согласитесь, что…

— Прискорбнейшее недоразумение…

— Во всяком случае, они арестованы, и поделом.

Сама мысль поместить их нагишом под яблоней… Ну ладно… Допускаю, что одеть их нельзя. И пока они скромно стояли и позволяли туристам себя фотографировать, большого вреда не было. Но потом ваш Адам стал высматривать холостяков среди посетителей и предлагал желающим за пятьсот франков совокупиться с Евой прямо под яблоней. Большинство туристов — американцы, вы наносите серьезный урон престижу Франции!

— Не понимаю, при чем тут Франция. Таитяне, вы же сами знаете, напрочь лишены чувства греха.

— Адам никакой не таитянин, а гнусный подонок Сарразен, которого давным-давно пора выслать с острова!

Бизьен вздохнул. С этим эдемом одни неприятности. На Таити, как известно, не водятся змеи, но как обойтись без змеи, коварно обвившейся вокруг яблони, если хочешь быть верным исторической правде и вообще реалистом? Бизьен послал в Колумбию, в зоопарк Барранкильи, заказ на пару питонов, самца и самку, в расчете на потомство — чтобы, если один сдохнет, не пришлось снова выписывать змей из-за моря. Контейнер благополучно прибыл в Папеэте, и

Бизьен распорядился сразу доставить его на полуостров Тайарапу, где уже установили роскошную пластиковую яблоню с красными гипсовыми яблоками на каждой ветке. И тут стряслась беда. Когда контейнер открыли, внутри оказались вовсе не питоны, а две огромные черные мамбы, укус которых смертелен. Таитянин, открывший ящик, никогда в жизни змей не видел и, бросив взгляд на шипевших чудовищ, с воплями обратился в бегство, оставив дверцу открытой. В одну секунду обе рептилии оказались на воле и растворились в пейзаже. Бизьен немедленно организовал облаву, но безрезультатно. На острове, где никогда прежде не было змей, теперь поселились две мамбы, уже, видимо, начавшие, как и все живое на Таити, со страшной скоростью размножаться. Земной рай обрел наконец то, чего ему не хватало, чтобы полностью оправдать свое название.

В зоопарке Барранкильи подобную ошибку наверняка допустить не могли. У Бизьена было свое объяснение случившемуся. В газетах много писали о планах “Транстропиков”, да и сам Бизьен торжественно объявил туроператорам, что историческая реконструкция райского сада на Таити превзойдет не только все, что есть в

старом Диснейуорлде во Флориде, но и грандиозный проект нового Диснейленда на Гавайях. Теперь он был уверен, что подлые гавайские конкуренты, завидуя бесспорной подлинности нового эдема, подменили контейнер во время стоянки в Гонолулу.

Это было ясно как дважды два.

Распрощавшись с Татеном, Бизьен отыскал Кона, поджидавшего его в “Ноа Ноа”. Кон бросил на него вопросительный взгляд. Бизьен только пожал плечами. Их роднила общая страсть — стремление к совершенству. Добиться канонизации Гогена стало бы для одного из них достойным увенчанием карьеры промоутера, для другого — бесспорным художественным триумфом. Но до этого было пока далеко.

— Что ж, — сказал Бизьен. — Гений — это терпение. Мы не отступимся.

— Скажите, Бизьен, вас еще не сажали?

Нервное лицо промоутера озарилось горделивой улыбкой.

— Никогда! За три года работы в Африке я создал там три новые цивилизации, совершенно неизвестные антропологам. И все сошло великолепно. Даже ЮНЕСКО оказало содействие. Правда, я ничем не рисковал. Ни один белый историк

никогда не позволит себе заявить молодым африканским республикам, невесть откуда взявшимся и лопающимся от национальной гордости, что за их плечами нет великого культурного прошлого. Все привыкли считать, что цель народов или отдельных людей — трудиться ради будущего. Это ошибка. Настоящий националистический мистицизм нацелен на величие прошлого.

— А как же мой орден Почетного легиона?

Бизьен опечалился еще больше. И даже не проводил взглядом зад хорошенькой китаянки, ехавшей мимо на велосипеде. Он вытащил из кармана платок и вытер лоб.

— Никак. Я им говорю: ладно, вы не хотите наградить его по линии народного образования, наградите по линии туризма... Я получил отказ. И начал кричать: “Вы прохлопали Гогена шестьдесят лет назад, не прохлопайте его снова! Дайте Кону орден Почетного легиона, и вы докажете цивилизованному миру хотя бы одно: что Гоген умер не напрасно!” Знаете, что мне ответил Кайбас? “Когда Гоген умер, он был бездарностью. Гением он стал через двадцать лет, после Первой мировой войны, когда все начало разваливаться”.

— Кругом сплошь реакционеры! — возмутился

Кон.

Бизьен встал, расплатился за двоих и ушел, безнадежным жестом нахлобучив панаму.

Кон сел на мотоцикл.

Ни совести, ни веры, ни принципов, ни души — вот рецепт неуязвимости. Каждую рану прижигать смехом. Что ж, взрыв смеха не самый худший взрыв на свете.

XVI. Что же до Христа…

Солнце уже провалилось в Океан, когда он подъехал к Дому наслаждений. Упало несколько теплых дождевых капель. У входа в пролив появилась пирога с балансиром, в ней находились четверо молодых людей в парео: у каждого был цветок за ухом, и тела их алели как бронза в последних закатных лучах. Они гребли, распевая старинное *утэ*[32], происхождение которого забылось вместе с древними богами. В нем рассказывалось о Млечном Пути, именуемом “длинная голубая акула, пожирательница облаков”, и о Венере, облаченной в ночное платье, *taurua o hiti ete a hiahe*. Это были немцы, недавно открывшие новый модный ресторан “Сен-Троп” в Пунаауиа.

Меевы дома не было. Кон растянулся на сыром песке, приложив щеку к родине-матери, и белая пена набегала на его шею и волосы. Прибой смывал следы человека, ржавая луна бродила по краю фиолетовой грозы, а Океан нес порфиру утонувшего солнца. Со стороны пальмовой рощи лениво полз дымок костра, где жарился поросенок. Над

[32] Примечания: 32
От таитянского *’ute* — один из стилей старинного пения.

рощей возвышалась гора, неожиданно близко, вне законов перспективы. Прильнув лбом к земле, словно прося у нее прощения, Кон чувствовал себя почти в безопасности, хотя остался с глазу на глаз со своим главным врагом. Никто, даже Бизьен, ни о чем не догадывался. Ему удалось исчезнуть, раствориться бесследно в новом, им же созданном персонаже. Чтобы жить счастливо и беззаботно, достаточно избавиться от надежды и от любви к ближнему. Это и называется “душевный покой” на человеческом языке. Он подумал о Дейве Рейкине, величайшем трубаче со времен Иерихона, который провел сорок пять зимних ночей у Берлинской стены, играя на трубе — просто ради того, чтобы возвестить о своей вере в слабое человеческое дыхание и его победу над величайшей силой всех времен — Глупостью. Карков, которого Нильс Бор и Планк считали одним из крупнейших теоретиков современной физики, однажды вдруг исчез с научного горизонта и на протяжении двадцати лет в ашраме Пондишери выводил каллиграфическим почерком свои переводы Вергилия на санскрит, а потом уничтожал их по мере продвижения работы, ибо даже такой вклад в цивилизацию был несовместим с его стремлением к самоустранению.

Что же до Христа… Державные власти нашего мира зря так старались и с самого момента Его исчезновения вели против Него тайную борьбу, боясь, как бы Он внезапно не объявился снова и не испортил им все своими крамольными проповедями. Нет, с этим покончено. Кон был уверен: Христос твердо решил не вмешиваться, Он теперь и пальцем не шевельнет. Он бастует, и так будет продолжаться, пока царит над землей созвездие Большого Пса.

Скорее всего, Он бродит из страны в страну в разных обличьях, чтобы никто Его не узнал и не водворил на место, на крест. Его нынешний образ далек от традиционного, и никто не догадывается, что Он здесь, перед колонной танков, среди гранат со слезоточивым газом и полицейских дубинок. Все враждебные Человеку силы ищут Его напрасно, пока созвездие Пса правит миром. Случалось, Его выдавали глаза: в них полыхал такой гнев, что полицейские автоматически спрашивали у Него документы. Документы были фальшивые, но сходили за настоящие, потому что Он делал их сам, — единственное чудо, которое Он себе позволял. Больше всего Он жалел, что в минуту слабости позволил себя распять. И не из-за крестной муки, *а потому что с тех*

пор у них это вошло в привычку, им понравилось. Распятие оказалось для псов вкусной косточкой, которую они не могли забыть, и им постоянно хотелось еще. Они распинали направо и налево кого ни попадя, лишь бы снова испытать это ни с чем не сравнимое удовольствие.

В последний раз Кон столкнулся с Христом нос к носу в Детройте, во время расовых беспорядков летом 1966 года, и мгновенно Его узнал, несмотря на черную кожу. Притормозив свой “шевроле”, Кон схватил Его за руку и потянул в автомобиль. Иисус попытался врезать ему бутылкой по голове, видимо сочтя, что этот белый хочет отвезти Его в укромное место и там распять. Глаза у Него вылезали из орбит, зубы стучали, Он орал *Fuck you!* и так мало напоминал благостного, послушного, безропотного Христа, навязанного нам поставщиками пасхальных агнцев, что Кон не мог взять в толк, как ухитрились стражи порядка опознать Его в облике негра с мужественным негодующим лицом, не имевшим ни малейшего сходства с лубочным воплощением смирения и кротости, которое многие поколения осквернителей малевали Его же кровью. Его подлинное лицо можно видеть на древних византийских иконах, где Он изображен таким, как есть: суровый, грозный,

еще не попавший в руки итальянских педерастов эпохи Возрождения. В конце концов Он все-таки вскочил в “шевроле”, спасаясь от дубинок, и сидел весь дрожа, с распухшим лицом, бормоча:

— Христос! Христос!

— Да знаю, знаю! — крикнул Кон. — После познакомимся!

Он уже слышал позади, совсем близко, сирены полиции, но все повторял:

— Христос! Христос!

— Да заткнись ты! Не выбалтывай свои тайны! Хочешь, чтоб тебя прикончили?

— Куда вы меня везете?

Кон в последнюю секунду увернулся от столкновения с пожарной машиной, вырулил на тротуар, чуть не врезался в витрину.

— Пытаюсь вытащить тебя отсюда, понял?

Какой-то юный защитник белой расы бросился к “шевроле” с коктейлем Молотова в руках.

— Иуда сраный! — заорал он Кону.

— Пошел в жопу, Белоснежка! — крикнул в ответ Кон.

— Выпустите меня! — вопил негр. — Я не дамся живым! Не позволю себя распять!

— Ай-ай-ай, нехорошо, — с укором сказал Кон. — Как же создать новую цивилизацию, если

ты отказываешься заложить первый камень?

Они уже выехали из негритянского квартала, и Кон мог позволить себе подурачиться. У негра по-прежнему стоял в глазах ужас, но дрожать он перестал.

— Иисус Христос! — пробормотал он опять.

— Кон, — представился Кон в свою очередь. — Чингис-Кон. Очень приятно.

Они обменялись рукопожатием.

— Вообще-то, с таким именем лучше поосторожней. Не стоит недооценивать людей. Ты же знаешь, для них привычка — это святое. И для всего у них есть свое место. Так что в один прекрасный день ты можешь оказаться на кресте. Когда тебя зовут Иисус, приходится скрываться.

— Но меня так не зовут…

— Ладно, ладно, — сказал Кон примирительно. — Считай, что я ничего не слышал.

— Я просто проходил мимо…

— Да, с плакатом “Все люди — братья!”. Хочешь, чтоб тебя опять подвесили? Ничего не можешь с собой поделать?

Негр внимательно посмотрел на него:

— А вы-то с чего в это впутались?

Кон был недоволен собой. Он проштрафился. У него не было ровным счетом никаких причин

беспокоиться о судьбе негров. Негры — такие же люди, как все остальные. Почему он должен желать им добра? Что же до Христа… Звезды уже потихоньку преображали остров Муреа, придавая ему вид черного зверя, выгибающего спину на горизонте, Океан светился мириадами микроорганизмов, перебирая их в волнах, и каждый из них вполне мог однажды дать жизнь новому человечеству; гроза, ощетинясь зарницами, ползла где-то далеко в открытом море, не осмеливаясь нарушить покой бродяги, который лежал на пляже, прильнув щекой к материнской груди. Что же до Христа… Далекие раскаты, стихая, переходили в глуховатое бормотание, и грезивший о первозданном мире и нерастраченных возможностях услышал в этом рокоте предвечный голос — знак Его неизменного присутствия, — как будто и вправду достаточно одного-единственного сердца, чтобы ничто не было потеряно безвозвратно.

XVII. Сила в действии

Полтора года назад, едва оправившись от тяжелого душевного кризиса, Кон сбежал на остров Тринидад в Карибском море и жил там на содержании у девушки из “Голубой кошки” — не столько ради хлеба насущного, сколько потому, что роль подонка служила отличным прикрытием: никому не могло прийти в голову искать его среди сутенеров. К тому же он питал к проституткам слабость. Веками они были жертвами хитроумной подтасовки, заключавшейся в том, что критерий Добра и Зла устанавливался ниже пояса, и голова, таким образом, оказывалась ни при чем. Девушку звали Ламартина Джонс, она была негритянка и опекала Кона с какой-то интуитивной чуткостью, которую проститутки обычно проявляют по отношению к существам невинным и чистым. Глядя, как она поднимается наверх с клиентом, Кон испытывал приятное ощущение безопасности: со стороны его поведение выглядело вопиющей низостью — трудно придумать более надежную маскировку. Он находился в бегах уже три месяца и был практически

уверен, что сумел ускользнуть от своих ангелов-хранителей — французских, русских, китайских или американских. Теперь он мог позволить себе напиться, ничего не боясь. И вполне успешно боролся со своим тайным демоном-искусителем. Он выбрал путь самоустранения и сидел целыми днями у моря на камне, не делая абсолютно ничего. Перед тем как исчезнуть, он оставил у себя в кабинете в Коллеж де Франс[33] прощальную записку — назавтра газеты сообщили, что он, вероятнее всего, покончил с собой.

Но иногда, среди ночи, Кон не выдерживал, отодвигал москитную сетку, вставал и выходил на берег. Лунная белизна покрывала пляж от края до края, от мыса бухты Суверен до пальмовой рощи Болл-Пойнта и руин крепости Моргана. Океан, затаив дыхание, выжидал, следил за каждым жестом Кона, готовый к нападению при малейшем резком движении. Мелкий, шелковистый, девственно-чистый песок манил и звал. Было очень светло, мир хранил безмятежный покой, словно уверенный, что Кон не предаст его. Всплеск воды у рифа, лунный отблеск на спине краба… Кон пытался устоять, но это было выше его сил.

---

[33] Примечания: 33

Коллеж де Франс — одно из крупнейших научно-образовательных учреждений Франции.

Взяв палку и убедившись, что в серебристой полутьме нет любопытствующих, он опускался на колени и давал волю своей подлинной натуре. Он даже не задумывался: за долгие месяцы добровольного поста в голове у него накопились готовые решения, их оставалось только записать. Он не думал, он просто открывал шлюзы, целиком отдавался рождавшейся в нем поэме без слов, ее беззвучной музыке. Так он часами, едва сознавая, что делает, ползал на коленях по песку, иногда вставая, чтобы оглядеть строки, которые тянулись по пляжу между маленькими везувиями, где затаились перепуганные крабы.

Он улыбался. Получалось очень красиво.

Потом он ждал, пока утренний прилив покроет его творение. Океан подступал к математическим символам, тревожно вздрагивая, словно опасался, как бы что-то из начертанного не ускользнуло от него, ибо он выполнял здесь роль отца и хранителя человечества. Иногда Океану не хватало разбега на каких-нибудь несколько сантиметров, и тогда Кон сам тщательно стирал и затаптывал последние строчки. И снова удовлетворенно улыбался: кто знает, может быть, он сейчас, стерев свои записи, спас от гибели целый город, или страну, или гены еще не родившегося ребенка.

Оставалась, разумеется, его голова. Там все было по-прежнему четко записано — не смоешь, не сотрешь, не искоренишь. Но тут он поделать ничего не мог. Он брел по направлению к лодке, стоявшей на песке посреди пляжа, и смотрел, как она краснеет от первых ласк зари. Чтобы по-настоящему облагодетельствовать человечество, существовал только один гарантированный способ: привязать на шею камень и утопить свою грешную голову в Океане. Но поздно. Прометей, конечно, мог покончить с собой, чтобы уклониться от своего призвания, но он был уже не в силах вырвать из рук Власти священный огонь, который она у него похитила.

Как-то вечером Кон сидел на пустынном пляже Болл-Пойнта и смотрел, как Карибское море меняет цвет, перебирая весь спектр оттенков и полутонов с удивительным художественным талантом. У самого горизонта, за островком Элизабет, вода и небо соединились в закатном взрыве, разметавшем во все стороны клочья солнечной плоти, и теперь они подрагивали на пальмах, на цветах, окрашивая алым весь берег между старой португальской крепостью и скалами.

А потом Океан вдруг отверг небо, и у ног Кона

осталась лежать лишь бескрайняя темная синева, на которой покачивались кое-где фиолетовые лоскутья.

Он услышал тихий свист и увидел что-то похожее на песчаную змейку, промелькнувшую в двух шагах от него. Видимо, местный мальчишка швырнул, как водится, в белого человека камень. Кону уже несколько раз доставалось здесь за свою кожную аномалию. Он оглянулся: никого. В пятидесяти метрах от того места, где он сидел, начиналась пальмовая роща. Кон возмущенно вертел носом в поисках невидимого агрессора и вдруг почувствовал обжигающую боль в икре — в него стреляли, причем пистолет был явно с глушителем, чтобы он ничего не услышал и отправился на тот свет без паники. У него хватило ума не броситься бежать — на огромном открытом пляже не было никаких шансов уйти живым. Кон поднес руку к сердцу, замер на миг, упал и притворился мертвым. Убийца, похоже, поверил. Никто не вышел из рощи — это означало, что враг не осведомлен о его репутации мистификатора.

Уткнувшись носом в песок и кося по сторонам полуприкрытыми глазами, Кон изображал труп. Спасли его мальчишки, которые прибежали в рощу играть в прятки. Кон услышал их голоса и

сразу следом — шум отъехавшего автомобиля. Тропическая ночь довершила дело его спасения, опустившись со свойственной ей быстротой. Кон ощупал ногу: рана оказалась поверхностной и жгла скорее его любопытство. Белых пока еще не линчевали на Тринидаде — мировые новшества доходили сюда с запозданием. Какой-нибудь поклонник Ламартины Джонс, боровшийся таким способом за ее благосклонность? Маловероятно, ибо места хватало для всех.

Оставалось единственное объяснение: за ним следили от самого Парижа. Несмотря на все ухищрения, он так и не сумел отделаться от хвоста.

Кон подождал, пока луна затянется муссонными тучами, дополз до пальмовой рощи и явился в “Голубую кошку”. Он вошел через черный ход, поднялся на второй этаж, где девушки обслуживали клиентов, и послал одну из них за Диди, хозяином заведения.

Диди в прошлом был ближайшим соратником знаменитого “пастора” Бойзи Сингха, имевшего на своем счету более пятисот трупов и вздернутого после двадцатилетнего царствования над преступным миром Тринидада. И хотя Диди давно стал мультимиллионером, бросить заниматься рэкетом, сутенерством и торговлей

наркотиками ему мешала мнительность: кто-то ему сказал, что, когда бизнесмены отходят от дел, они вскоре умирают от инфаркта. А его врач подтвердил, что нет ничего вреднее для здоровья, чем резко прервать активный образ жизни.

Это был шестидесятилетний чернокожий великан с явной примесью индейской крови. Он продолжал носить, по моде своей молодости, брильянтовую фиксу, чего невероятно стыдились его дочери, вышедшие замуж за представителей местной элиты.

— Что это с тобой?

— В меня стреляли, Диди. Мне надо срочно смыться, и по-тихому, иначе они до меня доберутся.

— Кто они?

Кон ответил не задумываясь:

— Люди Кастро.

Брильянт Диди метнул молнию, за которой последовал гром проклятий, достойных великого Бойзи. Диди на дух не переносил коммунистов.

— За что?

— Я знаю имя выродка, которому они заплатили, чтобы он убил Кеннеди. Они боятся, что я их сдам. Я уже два года скрываюсь. И они опять на меня вышли. Рано или поздно меня прикончат,

Диди.

На следующий день центральная тринидадская газета сообщила, что утром на пляже нашли неопознанный труп бродяги и полиция разыскивает убийцу. А Кон в ту же ночь сел на одно из грузовых судов, принадлежавших Диди, и отплыл в Венесуэлу, где полностью изменил внешность в клинике доктора Муньоса. По закону требовалось представить серьезные основания для пластической операции, и Кон, подделав подпись знаменитого психоаналитика, принес справку, гласившую следующее: “Болезнь г-на Кона представляет собой типичный случай ненависти к отцу, на которого он, к несчастью, внешне очень похож. Это послужило причиной неоднократных попыток самоубийства, которые, совершенно очевидно, являются не чем иным, как символическими попытками убийства отца. Необходимо радикальным образом изменить черты лица г-на Кона, ликвидировать насколько возможно сходство отца и сына и создать тем самым благоприятные условия для дальнейшего лечения”.

Хирург отлично сделал свое дело, и Кон отправился на Таити с новым лицом. На всякий случай он еще обжег себе подушечки пальцев, чтобы избавиться от отпечатков, наверняка хранившихся

в полицейских картотеках всех цивилизованных стран.

Он не вспоминал больше о выстреле на Тринидаде, но однажды ему попалась под руку работа французского философа Мишеля Фуко, и там он нашел нечто, что в принципе могло бы послужить объяснением. “Человек, как без труда показывает археология нашей мысли, — пишет Фуко, — это изобретение недавнее. И конец его, быть может, недалек”[34].

И конец его, быть может, недалек… Не следует ли это трактовать как признание? А вдруг выстрелом на Тринидаде кто-то хотел ускорить вышеупомянутый конец? Вполне вероятно. Странно только, что можно вот так, черным по белому, сообщать о своих планах, но тут, скорее всего, был расчет на недоверчивость публики.

Он сел на песок у воды, спиной к пальмам. На Таити ему нечего бояться. Если Фуко прав, то у человека нет врагов, кроме него самого.

---

[34] Примечания: 34

Мишель Фуко. *Слова и вещи.* Перевод Н. Автономовой.

XVIII. “Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?”

Пироги лежали у берега на мелководье, но уже потихоньку начинался предрассветный прилив. Кон с трудом удержался от искушения вскочить в одну из пирог и уплыть. Все равно придется возвращаться. Открытое море — это иллюзия. Остается довольствоваться капитанской фуражкой.

Он поднялся, зашагал к фарэ, вошел и в темноте наткнулся на что-то большое и мягкое, увертливо скользнувшее в сторону. Упал какой-то тяжелый предмет, и Кон услышал прерывистое дыхание.

— У меня в руке револьвер, буду стрелять наугад! — сказал он. — Живым вы меня не получите!

— Ради бога, месье Кон, это же я!

— Кто это я?

— Фернан Жилет.

Из-за дурацкой мании местных китайцев выдумывать себе французские имена Кон не сразу сообразил, что это портной Ку Вон, который держит магазин под аркадами порта. Он нашел на

ощупь масляную лампу и зажег. Фернан Жилет стоял в глубине комнаты, среди холстов, которые Кон как попало размалевал яркими красками. Китаец с решительным видом прижимал к себе две “картины”.

— Так, ну-ка, объясни, — потребовал Кон.

— Клянусь вам…

— Ну-ка, объясни, кто тебя надоумил назваться Фернаном Жилетом?

— Моя жена решила, что это хорошая фамилия для портного.

— М-м, — пробурчал Кон. — Так это ты таскаешь мои картины? На прошлой неделе у меня уже пропали две.

— Но я не украл их, месье Кон. Эти картины принадлежат нам.

— Да что ты говоришь? Я обещал их твоей жене в качестве прощального подарка?

— Вы отлично знаете, о чем речь, месье Кон. Мой отец много лет верил в долг месье Гогену, но так и не увидел своих денег. У меня есть все счета, могу показать. Если хотите, посмотрите наши торговые книги, мы всегда их очень аккуратно вели. Месье Гоген вечно обещал отцу, что заплатит, как только прославится, но так и не расплатился. А сегодня его картины стоят целое состояние. Но

отец ничего не получил. Один раз его обманули, и он не хочет быть обманутым во второй раз. Мой отец уже очень стар, но он хорошо помнит Гогена. Все на Таити знают, что вы унаследовали его дело, и отец считает, что вы должны заплатить долги. Поэтому он послал меня за картинами. Они принадлежат ему по праву.

У Кона перехватило дыхание, на глазах выступили слезы благодарности. Этот Фернан Жилет доставил ему самую чистую творческую радость за всю жизнь. Любые надежды могут сбыться, раз люди научились не повторять своих ошибок. Знание истории — золотая жила, которую просто грех не разрабатывать. Эксплуатация чужой славы — один из надежнейших путей к величию.

— Возьми их, приятель, выбирай самые лучшие. Когда-нибудь они будут стоить миллионы. Кстати, моя последняя выставка в Париже имела грандиозный успех. Воллар мне написал… Ладно. Скажи отцу, что я вовсе не забыл свои долги, просто как-то вылетело из головы…

Фернан Жилет сиял.

— Если вам нужен костюм, месье Кон, приходите в любое время.

— Передай от меня отцу, что он молодчина. Сколько ему лет?

— Девяносто три.

— Вот она, настоящая мудрость. Есть люди, которые не желают извлекать уроков из прошлого… Знаешь, за сколько продали картину Гогена месяц назад в Лондоне? За триста миллионов старых франков. Твой отец не прогадает. Постой, я подпишу картины… А то сейчас надо смотреть в оба, кругом столько подделок!

Кон дважды расписался “Чингис-Кон”. Подпись выходила у него лучше всего. Фернан Жилет был в восторге.

— Главное, берегите картины от сырости, — посоветовал Кон. — А то пропадут.

— Не беспокойтесь, мы сохраним их в лучшем виде. Мой отец действительно был другом месье Гогену. Вот смотрите, что я вам покажу.

Он достал из кармана сложенный листок бумаги и аккуратно развернул. Кон подошел поближе к лампе и прочел:

2 июня 1898 г.

Баночка серой ртутной мази от лобковых вшей

Флакон метиленовой сини для горла

Бальзам Жубара от геморроя

Пузырек морфия, пятьдесят сантиграммов

Шафранно-опиевая настойка от болей

Сказать Ку Вону, что я заплачу, как только деньги от моей выставки в Париже, которая прошла с большим успехом и где все мои картины продались, будут мне доставлены ближайшим пароходом. Если он хочет, могу дать ему в залог большую картину, которую я только что закончил, она называется “Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?”. Если нет, могу предложить свою гитару в прекрасном состоянии, итальянского производства.

Поль Гоген

Кон долго смотрел на записку. Он несколько раз перечитал список лекарств, стараясь как следует все запомнить, от серой ртутной мази против лобковых вшей и бальзама от геморроя до морфия и шафранно-опиевой настойки от болей. Полный набор — Гоген был поистине образцовым обитателем Дома наслаждений.

Он вернул записку Фернану Жилету.

— Попробуй предложить это в Музей человека в Париже, — сказал он на прощание.

Потом вышел на пляж, поднял глаза к небосводу и стал искать созвездие Пса.

XIX. Путешествие по земному раю

— Слушай, Кон, ты так себя уморишь!

— Ну и что? Ты не понимаешь, что такое призвание. Бальзак работал по семнадцать часов в день и из-за этого отдал концы. Вот что такое искусство!

Он собрался с силами и снова взялся за дело. В сущности, он жаждал не оргазма, а того, что за ним следует, — нескольких блаженных минут забвения, полного покоя и неуязвимости для внешнего мира. Только в эти мгновения ничто не могло его раздосадовать или вывести из себя.

Над ними большой *маараму,* "старейшее дерево на земле", принимал в этот предвечерний час знаки почтения от ветра *хупе,* который поднимался с заходом солнца; состязались в благоухании цветы и соль, Океан и утесы, а шум прибоя постепенно стихал, напоминая речитатив какого-нибудь далекого сказителя. Меева задыхалась от усталости, вытирала пот голубовато-зелеными ветками папоротника, притягивая их то к шее, то к бедрам, и у нее на коже остава-

лась изумрудная пыль. Совсем близко шумели водопады, суля прохладу, недостижимую, однако, из-за крутизны скал.

Они уже два дня путешествовали по острову. Кон давно собирался взять с собой Мееву, чтобы она попозировала ему в самых живописных уголках Таити.

— Знаешь, Кон, я в конце концов разозлюсь. Встань так, повернись туда… Надоели мне твои картины. Ты что, не можешь трахаться просто так?

— Могу. Но когда вокруг красиво, это гораздо лучше. Фон необычайно важен. Возьми вот, к примеру, итальянскую живопись. Им мало было, чтобы Христос истекал кровью на первом плане, они непременно изображали вокруг великолепный пейзаж. Им хотелось, чтобы наслаждение для глаз было полным.

Меева с любопытством посмотрела на него:

— Слушай, а почему ты все время говоришь о Христе? Это фью.

Кон испугался. Видимо, он плохо следил за собой.

— Разве я говорю о Христе все время?

— Да, без конца. А когда не говоришь, это еще хуже.

— Как хуже?

Меева замолчала. Она подтянула к себе лист папоротника и вытерла ноги и грудь.

— Вот так — хуже.

— Ты можешь объяснить почему?

— Не знаю… В общем… Э меа хаама. Мне стыдно. Если ты не прекратишь, я больше не смогу с тобой. Я робею. Иногда кажется, что ты вроде как святой или что-то в этом роде.

У Кона мурашки побежали по коже. Между тем было тридцать пять градусов в тени. Он открыл рот, чтобы оправдаться, но предпочел сделать это иначе, и через десять минут Меева не только забыла все свои опасения, но и обозвала его бесстыдником, после чего Кон, успокоившись, заснул в ее объятиях, а старые усталые тучи, пришедшие откуда-то со стороны островов Антиподов, тащили над ними по небу свои лилово-чернильные туши.

Ночевали они на земле, в зарослях бамбука или пандануса, рядом с лагуной, чьи воды уходили в море, повинуясь великому ночному движению приливов и отливов. Когда-то говорили, что это бог Фатеа ищет своих упавших с неба семерых сыновей, приподнимает моря и смотрит на дно, не подозревая, что его заклятый враг, бог земли

Ахеру, давным-давно превратил их в атоллы. На обнажившихся кораллах жили тревожной и юркой жизнью испуганные отливом крабы: их паническое бегство или каменное оцепенение напоминали о бесчисленных опасностях зари творения и неописуемом первобытном ужасе, от которого эти крохотные создания не избавились по сей день. В такие минуты белизна Млечного Пути тоже казалась бледностью какого-то древнего страха.

Они закутывались в старое одеяло, единственное приданое, которое Меева привезла с собой с далеких островов Туамоту, — на нем была великолепная вышивка: знаменитая гогеновская “Яванка” с маленькой красной обезьянкой у ног. Меева очень дорожила этим одеялом, его когда-то подарил ей немецкий этнолог за ее благосклонность. Этот *попаа* знал наизусть легенды полинезийцев и их историю начиная с первой пироги, что спустилась некогда с небес: в ней было сорок гребцов, все как один — боги, но земная скверна быстро сделала свое дело, и они превратились в людей. *Попаа* звали Шульц, и Кон действительно знал эту фамилию, всем известную на островах: ЮНЕСКО направила его в Полинезию познакомить туземцев с их прошлым

и помочь им восстановить связь с культурой предков.

Иногда, перед тем как уснуть, в час, когда ложатся тени, благоприятствующие возвращению подлинных имен на уста сказителей, что сидят вокруг костра перед черепами и скелетами животных и людей, умерших, оттого что родились, — в час, пробуждавший в сердце Кона потребность в каком-нибудь прекрасном обмане, более могучем и великом, чем все прежние, рожденные человечеством в тоске одиночества, Меева прижималась лицом к земле в смиренной позе, полной трепета и мольбы, и этот жест страстного поклонения, казалось, вызывал из небытия очертания стопы какого-нибудь властительного исполина.

— Знаешь, чего бы мне хотелось, Кон? Чтобы ты когда-нибудь взял меня с собой во Францию. Там можно все узнать про наших предков. Немецкий *попаа* мне говорил, что там все наше прошлое хранится в музеях и в книгах. Я ушла из миссионерской школы в тринадцать лет, но во Франции, мне кажется, я могла бы за год узнать все наши древние обычаи и *настоящие* имена…

Кон страдал. Негодование, являвшееся, впрочем, его нормальным состоянием, заставляло

бурлить его кровь с ревом и рокотом, в которых он предпочитал не узнавать обычный шум Океана на коралловом барьере.

— Ты обязательно должен отвезти меня во Францию, Кон. Ведь там все наши боги. Говорят, они очень красиво смотрятся за стеклом с подсветкой и специальный человек объясняет, кто они и что сотворили.

Кон лежал на спине, придавленный огромной тяжестью в сердце. Развалясь на облаке, луна напоминала лежащую “Маху” Гойи. Он зажег вечернюю сигару, которую непременно выкуривал перед сном, и ее дым унес с собой последние тревоги уходящего дня. На вершине кокосовой пальмы какой-то жук или грызун, названия которого он не знал, надрывался в громком сухом поскрипывании, чередуя его с долгими паузами, нарушаемыми лишь лепетом *хупе* — ветра, дующего с земли.

Когда Кон уснул, ему опять приснился Христос. По рассказам негров из Ресифи, Он чуть не выдал себя недавно в Бразилии, забросав камнями крестный ход в голодающей деревне: церковники дошли в своем цинизме до того, что несли изображение смиренного и кроткого Христа-агнца, глубоко безучастного к бедствиям

человека. Настоящий Христос взревел от ярости и начал швырять камни в этот символ покорности, приколоченный к кресту. Его арестовали и посадили в тюрьму. Несколько недель этот одержимый, прильнув лицом к прутьям решетки, выкрикивал мятежные призывы, требуя превратить свинскую земную помойку в пригодное для жизни место. Наконец в один прекрасный день Он вдруг понял, что единственный бог, которого заслуживает наш век, — это Христос Самоустраняющийся. С тех пор он прячется в сердце некоего бродяги на Таити, где никому не придет в голову Его искать.

После этого мессианского сна Кон проснулся среди ночи, разбуженный необычной, к тому же немецкой песней. Он протер глаза и увидел Мееву. С растрепавшимися волосами, в которых запуталась рыжая луна, Меева стояла, обратив свою наготу к фосфоресцирующей белизне, не знавшей ни пределов, ни меры. Она пела. Наверно, и этой песне ее научил немецкий *полаа*-этнолог:

Ich weiss nicht, was soll es bedeuten,
Das ich so traurig bin;
Ein Märchen aus alten Zeiten,

Das kommt mir nicht aus der Sinn…[35]

Кон узнал стихи Гейне. “Старинная сказка одна…” Вот и все, что осталось от первой пироги и ее гребцов, ставших первыми маори.

На рассвете они сделали крюк, чтобы навестить Рене Ле Гоффа. Бизьен поддерживал его, как мог, но бретонец все равно кипел: “Транстропики” построили настоящую обрядовую хижину для его конкурента в двух шагах от шоссе, а его, Ле Гоффа, даже не внесли в список “культурных достопримечательностей”, возле которых должны останавливаться экскурсионные автобусы. Он сидел у себя в фарэ, раскрашенный с головы до ног, но приходили к нему только те, кого он сумел завлечь сам рекламными проспектами со своей фотографией, — его *вахинэ* разносила их по гостиницам и совала в руки туристам. В довершение всего, поскольку *попаа* явно не проявляли к нему особого интереса, местные крестьяне тоже перестали в него верить и являться с подношениями. Он обрушил на голову Кона страшный поток сетований и угроз:

---

[35] Примечания: 35
Не знаю, что стало со мною —
Душа моя грустью полна.
Мне все не дает покою
Старинная сказка одна. (*Перевод В. Левика.)*

— Ты можешь мне объяснить, почему они поощряют этого проходимца, а меня бросают на произвол судьбы? Что они против меня имеют? Еще год назад, как только приезжал какой-нибудь журналистишка, Бизьен тащил его сюда, заплатив предварительно крестьянам, чтобы они пришли коснуться меня и поднести дары, — хотел продемонстрировать, что на острове делается все для сохранения древних народных верований. А сейчас — ничего. Крестьяне косятся, им от меня теперь никакого проку, я не привлекаю туристов, не приношу деревне дохода. Чем я хуже того жулика? Что во мне не так?

Достаточно было мельком взглянуть на беднягу Ле Гоффа, чтобы понять, что в нем не так. Хотя он был весь размалеван самым варварским образом, ему не хватало таинственности.

— Ты слишком много болтаешь, — ответил Кон. — Если бы ты хоть изредка держал пасть закрытой, а не разорялся перед каждым встречным-поперечным насчет любви к человечеству, разоружения, христианского милосердия и прочей чепухи, которую люди сто раз слышали, я уверен, что Бизьен мог бы тебя использовать. Но ты, видимо, считаешь, что туристы специально едут на Таити послушать речи, которыми

им прожужжали все уши дома. Тебе не хватает достоверности, вот и все. Или ты считаешь американцев полными идиотами, способными поверить, будто таитянский *тики* для того и существует, чтобы вещать о братстве между народами и ядерной угрозе? Это выглядит несерьезно.

Но Ле Гофф обладал истинно бретонской твердолобостью, и Кон вдруг понял, посмотрев на его истощенное лицо и искренние, сверкающие праведным гневом глаза, чего ему действительно не хватает и почему у него нет никаких шансов на успех: он выглядел несерьезно, потому что был серьезен. Он хотел делать добро. Этот недотепа, выдававший себя за мошенника, оказался самозванцем: в глубине души он и вправду жаждал спасти мир, и, несмотря на все его ухищрения, это было заметно. Такое скрыть не может никто, разве только гений. И Кон высказался прямо, без обиняков:

— Ты не годишься. Можешь сколько угодно разрисовывать себе физиономию, но это видно.

— Что? Что видно?

— А то, что ты пытаешься скрыть от людей свое человеческое лицо. И что в день, когда на Мурурoа рванут эту водородную гадость, ты вымажешь себе лицо дерьмом.

С минуту Ле Гофф неистово боролся с собой. Но куда там! Это была чистая душа.

— Да, вымажу, клянусь тебе, вымажу! — заорал он оглушительным голосом, так что куры, копавшиеся в земле у его ног, бросились врассыпную.

Кон сплюнул:

— Ладно, но тогда не жалуйся, что тебя не принимают всерьез. В роли *тики* ты много на себя берешь. Думаешь, гиды из *Club Med* поведут к тебе своих клиентов, чтобы ты их потчевал идеологическими передовицами из женских журналов? Люди не могут в тебя верить. Если ты считаешь, что полинезийский идол должен держать перед своими поклонниками пламенные речи в защиту мира, то ты просто ненормальный.

Ле Гофф слушал со слезами на глазах:

— Что ж теперь со мной будет?

— Я поговорю с Бизьеном, у меня есть идея. Ему нужен человек.

Кон был искренне возмущен: Ле Гофф выбрал самый живописный уголок острова, чтобы нарушить здешнюю гармонию прекраснодушными терзаниями, угрызениями совести и глупым мычанием, взывающим к человеческому достоинству. Вот уж поистине настоящий змей! Если он тут останется, может случиться землетрясе-

ние: земной рай способен на что угодно, лишь бы выбросить отсюда этого зануду.

Склон горы, казалось, ходил ходуном от взрывов ослепительных красок, бивших разноцветными фонтанами — пурпурными, желтыми, медно-красными — вокруг гигантских папоротников, которые словно простирали над ними руки, усмиряя отеческим жестом разгулявшуюся молодежь. Выше, в зарослях цезальпиний, звучал хрипловатый хор водопадов. А далеко внизу, за холмами, покрытыми гибискусами, орхидеями и гуаявами, за пальмовыми рощами, заслонявшими пляж, крошечные рыбаки волокли по отмели сети, где уже бились сотни рыб, посылая серебристые отблески, мгновенно исчезавшие на фоне желто-зеленой воды. Высокая белая башня облаков поднималась от Океана вертикально вверх, застыв неподвижно между дневным и вечерним ветром.

Кон еще раз сплюнул. Зачем явился сюда этот бретонец с лицом святого, которое он тщетно пытается скрыть под дикарской раскраской? Для покаяния уже слишком поздно, для человека — рано.

XX. Спасение души

Они вернулись к мотоциклу, оставленному у дороги, и отправились ночевать на пески Фионы, а старая грозовая туча, три дня собиравшаяся с силами, наконец разразилась злобным рокотом где-то над Океаном, словно досадуя, что не может попасть в какую-то намеченную на суше цель. Воздух заполнили желтые джунгли зарниц — они ветвились на небе, уходя корнями в Океан. Закатное солнце застряло в теле небесного спрута, покрытого черными вздутиями: ничто, казалось, не могло их прорвать и выпустить оттуда чернильную жидкость. Неподвижная туча распласталась на небосводе, словно на одре страдания, не в силах освободиться от того, кого носила во чреве и кто именовался Тахуэ, бог нескончаемых вод. Меева, прислонясь к дереву, расчесывала волосы, более прекрасные в глазах Кона, чем все небесные феерии. Далекие молнии и внезапные медные вспышки в том месте, где застряло солнце, озаряли лицо Меевы древнейшими земными отсветами. Широкий испанский черепаховый гребень играл янтарными блика-

ми, и каждый его взмах, мерные движения руки и пальцев приносили Кону успокоение, какое дарит тревожным натурам вечность, заключенная в мгновениях счастья. Над невидимой деревней, наполнявшей лес детскими голосами и предвечерним собачьим лаем, летал большой оранжево-зеленый воздушный змей, если только это не был крылатый вестник ночей без рассвета, о котором говорится в легенде о Ваирао.

Меева пела. Кон с удивлением узнал *утэ* о божественных предках арий[36], которое он слышал лишь однажды — его исполнил специально для него доктор Хортег из Смитсоновского института в Вашингтоне:

Вождь Тавэ из мараэ Таутира
жил с женщиной Тауруа,
потом с женщиной Туитераи —
Так родился вождь Марама…

Генеалогическое древо насчитывало больше сотни ветвей, и Меева перечислила их все до одной, вплоть до последнего родившегося младенца, чье имя запрещалось произносить, дабы не пробудить зависть царствующих богов.

---

[36] Примечания: 36
От таитянского *ari'i* — вожди.

— Где ты это выучила?

— На Туамоту, где же еще?

— Они там еще поют это *утэ*?

— Нет, конечно. Меня немецкий *попаа* научил. У него в стране знают наши *утэ*. Их изучают в университетах, где все надежно сохранено.

Кон чуть не плакал, но слезы были единственной сферой, где он неукоснительно соблюдал обет воздержания.

Назавтра в Хитиаа, куда они приехали к полудню, им пришлось стать свидетелями китайской трагедии. Молодой лавочник, бледный как смерть, без малейших признаков восточной флегмы на искаженном лице, шагал в наручниках между двух жандармов. Он тяжело ранил ножом молодую жену в первую брачную ночь.

Юная китаяночка использовала пузырь с кровью цыпленка, подменив им девственность, давным-давно утраченную под кокосовыми пальмами, но муж случайно это заметил. Теперь он шел в тюрьму с ошеломленным видом, какой бывает у мужчин, когда они, на миг поднявшись над собой и совершив невероятный поступок, возвращаются спустя какое-то время к своим обычным масштабам.

В Хитиаа, на террасе “Флоры”, Кон обнаружил

на столике старый номер парижского “Фигаро”. Он заколебался, пытаясь устоять против искушения, но потом все-таки протянул руку к жалу змеи. Однако он с радостью узнал, что Христа пока не нашли. Две тысячи лет Его просто ждали, теперь Его активно разыскивали. Префектура полиции информировала граждан о том, что “977 подростков были задержаны для установления личности и переданы властям как незаконные иммигранты”. Кон развеселился. Главной заботой державных властей было уничтожить Христа в зародыше, до того как он станет для них опасен. Остальное человечество здраво полагало, что мысль о присутствии Христа среди людей есть просто бред, крамола и богохульство. Оказавшись в миграционном отделе при префектуре полиции, Он выдал себя за израильтянина и всю ночь бормотал молитвы на иврите, уверенный, видимо, что они не станут искать Иисуса среди евреев, ибо, следуя их логике, Он вряд ли захочет опять явиться на землю в этой роли. Во всяком случае, они немало потрудились, чтобы отбить у него охоту. Истинная причина преследования евреев на протяжении двадцати веков была вовсе не в том, что они распяли Христа. Просто власти не могли простить проклятой нации, что она

породила такого смутьяна.

Меева пила кока-колу.

— Скажи, Чинги, как так получается?

— Что получается?

— Мы уже четыре дня ездим на мотоцикле, и ты ни разу не заливал горючее.

— Какое горючее? У меня же электрическая “хонда”. Я тебе сто раз говорил.

— Ты никогда не заправляешься. Это ненормально.

— Ненормально, ненормально! А что, по-твоему, нормально?

Он бросил на стол деньги. Потом решил признаться. Не столько для того, чтобы удовлетворить любопытство Меевы, сколько для собственного удовольствия.

— Объяснить тебе? Все очень просто. Мы придумали одну штуку вместе с другими учеными. Мы сообразили, что душа, наша душа, — это энергия, и она улетучивается, когда человек умирает. Короче, энергия разбазаривается, а ее можно сберечь. И вот мы изобрели способ ее ловить. Получили бесплатную энергию, которая никогда не истощается. Засовываешь душу в мотор, и он работает до скончания времен. Раньше это был процесс исключительно духовный, а мы поста-

вили дело на научную основу. Мой мотоцикл — первый, я еще пока не получил патент, но это не важно. Знаешь рекламу “Посадите тигра в бензобак”? Душа. Я ее отлавливаю, не даю ей затеряться и заставляю служить человеку. У меня и электробритва, и зубная щетка работают на энергии души. Что-то вроде вечного двигателя. Пошли?

Меева пожала плечами:

— Дурак ты, Чинги!

Она с достоинством уселась сзади на мотоцикл, обнажив красивые сильные ноги почти до того места, где это становилось действительно интересно.

В Хитиаа была школа скульптуры и живописи, основанная неким англичанином, дабы создать в искусстве особую полинезийскую традицию, для которой Гоген, так сказать, подготовил базу. Паава, директор школы, из кожи вон лез, чтобы сфабриковать таитянские традиции народного творчества, которые можно будет потом использовать в интересах туризма. Это позволит собрать средства для модернизации острова и навсегда покончить с пережитками первобытного прошлого и примитивизмом.

В школе обучались человек двадцать, в ос-

новном китайцы. По восемь часов в день они копировали картины Гогена и Таможенника Руссо так называемого мексиканского периода или разрабатывали собственные темы, черпая вдохновение главным образом в масках и идолах из книги Жана Гиара об Океании.

Паава, один из культурных столпов острова, был толстый полинезиец, чьи предки некогда приплыли сюда из Англии и Сербии и чья настоящая фамилия была Павелич. Однако лицо его имело все признаки маорийской крови, ибо его мать была настоящей таитянкой, причем очень типичной, возглавлявшей в течение двадцати лет лучший местный ансамбль народных танцев. Если на Таити снимался фильм, ее почти всегда приглашали участвовать в съемках. Паава сам начинал как танцор в труппе матери, пока его не заметил некий лорд, который в него влюбился и увез с собой в Англию, где дал ему образование, увенчанное тремя годами Кембриджа. Именно там, в Кембридже, Паава и открыл для себя сокровища полинезийской цивилизации и вернулся на Таити с благословения и при материальной поддержке своего покровителя, пройдя перед этим двухлетнюю стажировку в Оахаке, в Мексике, в знаменитой мастерской

Саймонса, где создавались лучшие произведения искусства доколумбовой Америки. Их продавали затем коллекционерам и музеям с гарантией подлинности, выданной самыми уважаемыми экспертами мира. По идее, отсутствие каких-либо следов полинезийской цивилизации на Таити должно было облегчить Пааве задачу, давая полную свободу фантазии, однако оно имело и свои неудобства, ибо об этом все знали и практически невозможно было наладить торговлю “находками”. Пааве приходилось действовать через Новую Гвинею и Гебриды, где старинные деревянные статуэтки еще сохранились, и отправлять туда своим людям древности, изготовленные в его мастерской. Многие его произведения фигурировали в книгах по искусству с такими, к примеру, подписями: “Один из лучших образцов искусства ачинов: ритуальный топорик для забоя свиней” или “Маска Апо-Апо. Обратите внимание на сходство с головой бога Мури (искусство ачинов). См. на обороте”. Отмеченное автором сходство с головой бога Мури было необычайно лестно для Паавы, ибо единственное, чем он руководствовался в своем творчестве, — это скверной фотографией оригинала в какой-то немецкой монографии.

Он встретил Кона с распростертыми объятиями, но сам все еще дрожал от гнева: он обнаружил в школе, в каком-то дальнем углу, десять номеров “Плейбоя”, которые, как выяснилось, читали его ученики и передавали друг другу. Он был растерян и подавлен.

— Конец всему! — жаловался он. — Как эти паршивцы будут воссоздавать полинезийские фигуры, если они постоянно смотрят на западную похабщину? Я должен был догадаться раньше. Недели две назад мне вернули одну работу — дочь бога Махурэ, — указав на то, что грудь, руки, ноги, запястья, лодыжки обладают изяществом, совершенно чуждым архаическому искусству. Если мои ученики любуются целыми днями на красоток из “Плейбоя”, значит, им плевать на родную культуру с высокого дерева!

— Они почти все китайцы, — заметил Кон.

— Естественно. Только китайцы еще сохранили хоть какую-то сноровку в пальцах, вероятно благодаря каллиграфии. Похоже, все накрывается. Я надрываюсь напрасно. Знаете, что я вам скажу: в сущности, вы с вашими порнографическими открытками в тысячу раз ближе к нашему образу жизни и нашим загубленным традициям, чем я и мои ученики!

— А как поживает Барон?

Лицо Паавы просветлело.

— Великолепно, — сказал он. — Пойдемте. На это стоит посмотреть.

Кон оставил Мееву в мастерской — она прислонилась к окну в живописной позе. Ей явно хотелось пробудить интерес к архаическим формам у молодого красавца с резцом в руках, попусту тратившего физические и душевные силы на кусок дерева. Пальмовая роща была совсем рядом, прямо за школой, а Кон, неизменно снисходительный в этих делах, совершенно не собирался мешать тому, что здесь готовилось и должно было очень скоро произойти под пальмами. Что бы ни говорил Паава, таитянские традиции не умерли окончательно, они сохранились в самом прекрасном своем выражении — в объятии.

XXI. Непобедимый

“Культовый шатер”, который Паава расписывал собственноручно, располагался в нескольких сотнях метров от школы, среди зарослей гуаяв, под сенью “священной рощи” мапе, особо благоприятствующих таинствам. На дороге ждали три туристических автобуса — в порту Папеэте стояла пришедшая из Гонолулу “Мари-Лу”.

Барон с венком на шее восседал на алтаре — ритуальном хука-хука с Новых Гебрид — в окружении местных плодов и цветов, названия их перечислялись в проспектах, которые гид вручал каждому при входе. Барон был по-прежнему в своем клетчатом костюме, канареечном жилете и сером котелке — казалось, он попал сюда прямо с ипподрома в Эскоте. Уж не англичанин ли он, подумал вдруг Кон, и если да, то наверняка упивается сейчас благоговением, которым его окружают цветные после распада империи. Быть может, в прошлом он занимал высокий пост в министерстве по делам колоний и теперь несказанно доволен этим своеобразным реваншем, пусть даже и запоздалым.

— Более ловкого пройдохи я в жизни не видал, — сказал Паава с оттенком почтения в голосе. — Он достоин того, чтобы сидеть куда выше, над облаками. Да, да! Я уже четыре месяца за ним наблюдаю… Но ничего, никаких реакций, полная бесстрастность. Иногда кажется, что он давным-давно привык к поклонению и слушает гимны в свою честь уже много веков.

У входа столпилось около двухсот туристов, в основном скандинавы и немцы: они ждали своей очереди сфотографировать великого белого идола. Бизьен запретил впускать больше двадцати человек сразу, чтобы не мешать верующим и не устраивать базар вокруг религиозного таинства. Гид Пуччони вполголоса инструктировал столпившихся вокруг него экскурсантов:

— То, что может вам показаться примитивным суеверием, является для этих людей актом искреннего поклонения древним богам, которые некогда вершили судьбы маори. Мы просим вас не разговаривать в шатре, не курить, и, напоминаю, вы должны быть полностью одеты — это требование местного вождя, от которого мы тут все зависим. Пришедшие в бикини могут получить при входе парео.

Кон счел разъяснения Пуччони излишними:

европейцы, приехавшие в такую даль взглянуть на страну своих грез, уже и так находятся под сильным впечатлением и, конечно, относятся с должным трепетом к туземным обрядам, описанным любимыми писателями. Западные люди вообще рады увидеть собственными глазами, что кто-то еще во что-то верит, это действует на них умиротворяюще. Единственное, что они могли бы счесть недостатком, — так это отсутствие в шатре библиотеки с трудами гуманистов эпохи Просвещения.

У ног Барона дюжина “молящихся”, выбранных среди самых хорошеньких девушек деревни, расселась в кружок, сложив ладони, в позе — отнюдь не таитянской — танцовщиц с барельефов Ангкор-Вата. Паава решил, что не будет ничего дурного, если у посетителей возникнет мысль о существовании неких утраченных связей между искусством маори и древних кхмеров. Доказал же Тур Хейердал, что обитатели острова Пасхи происходят из Перу; Эрик Бишоп разбился о рифы на своем плоту, пытаясь доказать обратное. Возможно, среди туристов окажутся какие-нибудь студенты-этнологи, которых поразит сходство позы “молящихся” и танцовщиц Ангкор-Вата, и тогда, кто знает, может однажды родиться новая

теория о происхождении местных богов.

Бизьен хотел, чтобы девушкам разрешили сидеть в шатре с обнаженной грудью, но встретил категорический отказ властей; исключение сделали только для ритуальных танцев, исполнявшихся под открытым небом при лунном свете. Администрация острова полагала, что вид обнаженной груди в храме может шокировать посетителей. Вначале девушкам, а заодно и вождю, приходилось платить: длившиеся почти два года съемки “Мятежа на «Баунти»” научили туземцев не упускать своей выгоды. Но потом, как объяснил Паава, туристы стали для деревни таким щедрым источником процветания, что белому идолу начали и в самом деле поклоняться как богу-благодетелю.

Щеки Барона по-прежнему выглядели слегка раздутыми, и Кону опять показалось, что пикаро едва сдерживается, чтобы не расхохотаться.

— Одного я не понимаю, — сказал Паава. — Зачем ему все это?

— Людям нужно во что-нибудь верить, вот он им и помогает, — ответил Кон.

— М-м, — отозвался Паава. — Все-таки это подозрительно. Вы знаете, что он отказывается сам подтираться и я вынужден платить своим

ученикам, чтобы они это делали?

— А может, он английский колониалист, выгнанный из Индии, и хочет таким образом отыграться на цветном населении?

— Нет. Бывают минуты, когда я начинаю верить, что он *настоящий*.

— Настоящий кто? Вот что интересно!

— Чтобы сидеть, как он, часами, абсолютно невозмутимо, отрешенно, ни в чем не участвуя, без малейшего проявления эмоций, нужно иметь истинное призвание, подлинную ненависть. Явился же он откуда-то, в конце концов! Не свалился же с неба в котелке и перчатках… Взгляните, что я нашел. Я взял его пиджак, чтобы отдать почистить, и за подкладкой обнаружил вот это.

Он протянул Кону с десяток фотографий. На всех был снят Барон. Барон с Гитлером. Барон во главе отряда вооруженных партизан, захватывающих в плен троих немецких солдат. Барон, принимающий из рук шведского короля Густава какой-то диплом в торжественной обстановке, напоминающей вручение Нобелевской премии. Барон рядом с Кастро на Сьерра-Маэстра. Барон с папой римским. Барон перед грудой трупов во Вьетнаме. Барон на ступенях Елисейского дворца

с генералом де Голлем. Барон наблюдает, сложив руки на набалдашнике трости, за казнью революционера неизвестно какой страны по произволу неизвестно чьей полиции. И наконец, Барон среди хунвейбинов: он бьет ногой старого китайца, у которого на груди болтается табличка “Я собака”.

— Это коллажи, — сказал Кон.

— Да, но зачем? Хотите знать мое мнение? Этот сукин сын — гуманист, демонстрирующий превосходство Человека над всем, что с ним происходит. Ну, вы меня понимаете… Человек с большой буквы, этакий вечный аристократ, чье достоинство ничто не может поколебать… Что-то вроде де Голля в метафизическом плане. Вы посмотрите на него! Безукоризненно одет, перчатки, трость, костюм, котелок посреди всеобщего свинства. Этот бродяга провозглашает неуязвимость человеческого достоинства, которое никакие творящиеся на земле гнусности не в силах затронуть. Он отказывается капитулировать.

Кон внимательно посмотрел на Барона. Ему показалось, что и Барон внимательно на него смотрит. И даже как будто едва заметно подмигивает. Щеки белого идола раздулись еще больше, лицо покраснело, а торс, скрытый цветами, за-

трясся в конвульсиях. Кон подумал, что на сей раз хитрец не выдержит и захохочет во весь голос, захохочет от радости, подобной той, что испытал некогда пикаро Алонсо Сьенфуэнтес, после того как четыре года подряд выдавал себя за вест-индского епископа, а потом сбежал с казной нищенствующего ордена Святого Иоанна Утешителя Сирых, исчислявшейся миллионами. Да, в мире всегда были люди твердого закала, умевшие отстоять в борьбе с Властью радость жизни и волю к жизни — вопреки всем и ради всех.

— А еще я обнаружил вот что, — сказал Паава доверительным тоном.

Это оказались рекомендательные письма в Ватикан за подписью нескольких кардиналов. Подписи были отлично подделаны, и единственное, что выдавало подлог, — это отсутствие имени держателя, для него было просто оставлено место. Имелось и еще одно письмо, на сей раз явно подлинное:

Дорогая Нини! Поручаю тебе моего дружка, он только что освободился и никого на Пигаль не знает, парень очень хороший, позаботься о нем ради меня, Господь тебе воздаст. Твоя Бикетта.

Адресовано “Нини у мадам Клапот, «Синий

бар», улица Бланш”.

Кон взглянул на Барона с некоторым уважением: это был, несомненно, настоящий профессионал. Кон не переносил любителей. В сером котелке набекрень, в перчатках из кожи пекари, он восседал на хука-хука маорийских богов, вдыхая цветочные ароматы и демонстрируя поистине божественное самоустранение.

— Великий жулик! — сказал Паава. — Но я от души желаю, чтобы он продержался как можно дольше. Надо же спасти хоть что-то из мифологии и традиций Полинезии!

Кон, со своей стороны, задумался: а вдруг это самозванство, отважно бросающее вызов потусторонним силам, есть своего рода разведка боем, попытка спровоцировать некую высшую подлинность и заставить ее себя проявить — подлинность внешнюю по отношению к человеку, но без которой не может быть и подлинности человеческой.

Когда он вернулся в школу, Меевы там не было. Он отправился искать ее в пальмовую рощу у лагуны и быстро обнаружил счастливую парочку: весело смеясь и держась за руки, они бежали под пандануса ми в ту сторону, где среди ракушек заканчивался тонкой белой струйкой один из

самых красивых водопадов Таити. Он назывался Мать цветов, потому что на всем его пути, от Орохены до побережья, растительность отличалась каким-то особым буйством и разнообразием. Кон не любил мешать людям смеяться, поэтому он сел на песок и стал терпеливо ждать, когда у Меевы кончится ее великая любовь.

Очень скоро под пальмами состоится душераздирающее прощание с клятвами в вечной верности, не знающей преград, кроме разве что забвения — увы, почти мгновенного. От этого Кону делалось грустно. Он питал слабость к красивым любовным историям и угрюмо курил сигару, размышляя о том, что коробка “Монтекристо”, полученная от Бредфордов, подошла к концу и завтра ему нечего будет курить. Меева появилась, когда он жадно затягивался крошечным ароматным окурком.

— Что с тобой, Кон? Ну и вид у тебя!

— Я докуриваю свою последнюю сигару.

Он бросил потухший окурок в песок.

— Ну как?

— Он страшно милый, этот Тахеа. Я, наверно, с ним еще встречусь, если попаду сюда. Но вообще наши *танэ*… Они делают это как кролики. Просто невежливо с их стороны.

— Ну, что ж ты хочешь! Французы говорят: гений — это терпение.

Вечером должен был состояться большой *тамаараа* для туристов с песнями и танцами, и Кон хотел поскорее уехать, чтобы не видеть, как шестидесятилетние шведки и немки танцуют при лунном свете тамуре — зрелище из самых мучительных и непристойных, какие только случается наблюдать в мирное время. Однако ему трудно было уйти с пляжа в этот час, когда песок еще хранил дневной жар, вечерний бриз нес с моря прохладу и запахи, которыми он пропитался на Маркизах, а медное небо отливало то красным, то оранжевым над коралловыми башнями у входа в пролив Хевееа.

Кон уже собирался встать, как вдруг увидел выходящего на пляж Барона. Он шел со стороны пальмовой рощи с высоко поднятой головой, в котелке, зажав трость под мышкой, и направлялся прямо к Океану. Кон даже подумал, не вознамерился ли этот аристократ возвратиться прямиком в родную стихию, откуда человечество когда-то вышло, и дать тем самым понять, что после краткого пребывания на земле в человеческом обличье он отвергает предложенные условия и предпочитает отправиться восвояси.

Но ничего подобного. Барон просто вышел на пляж размять ноги и полюбоваться закатом. Он стоял лицом к бескрайнему простору воды и критическим взглядом, чуть приподняв бровь, оценивал выставленную на его обозрение цветовую гамму. Была какая-то вопиющая несообразность в присутствии здесь этого чопорного джентльмена из Эскота: казалось, он ошибся широтой, долготой, веком, планетой и даже человечеством.

Небо стало сиреневым, зеленые переливы лагуны быстро сменялись глубокой ультрамариновой синевой, а Океан вдали у горизонта уже ловил серебристые отблески луны, на мгновение заслоненной бродячим облаком.

Барон любовался. Когда над густой массой волнующихся пальм, пронзенной кое-где копьями света, появились внезапно двадцать пирог и заскользили, услаждая взор, в сумеречной стихии, где происходит тайный сговор между небом и Океаном, Барону явно понравилось. Когда же *утэ* ночных рыбаков, столь непохожее на *утэ* рыбаков утренних, зазвучало вдали над серыми мадрепоровыми башнями и темной лагуной, в которой еще мелькали обломки затонувшего солнца, а чернобрюхие тучи с лиловыми спинами

сбились в огромное стадо, словно хищные звери, спешащие после кровавого пира на водопой, — Барону, похоже, понравилось еще больше.

И тут он сделал нечто настолько неожиданное, что Кон мог лишь склонить голову перед столь ошеломляющей спесью.

Барон поаплодировал закату. Снисходительно-благосклонно, кончиками пальцев, держа в одной руке перчатки.

Потом, достав из жилетного кармана мелочь и тщательно ее пересчитав — не столько, вероятно, из бережливости, сколько давая понять, какое скромное место он отводит этому зрелищу, — небрежно бросил чаевые Океану и небу, дабы отблагодарить двух скоморохов за работу, недурную, конечно, но явно не стоящую в его глазах больше десяти с половиной франков. Засим Барон повернулся спиной к великолепию природы и, высоко подняв голову, удалился в сторону пальмовой рощи, чтобы вновь занять свое место на воздвигнутом ему алтаре.

Кон проводил его дружеским взглядом, от души пожелав ему острых зубов, полных карманов и бессмертия.

XXII. Мифологии

Меева спала, луна склоняла над Коном лицо евнуха, со стороны Мурурoа поднималась матовая белизна, на пути которой вставала темная глыба полуострова Тайарапу.

Кон не любил луну: когда-то она была вдохновительницей дивных романтических грез, но потом потеряла способность порождать иллюзии, чем и обесценила себя полностью. Чтобы видеть далеко, надо уметь закрывать глаза: не видеть незримое есть слепота души. Человек должен выдумывать себя — решительно и упрямо, не делая никаких уступок своей сиюминутной исторической роли. Иначе на веки вечные воцарится на небе созвездие Пса. Кон часто думал о словах пикаро Карлоса из Севильи, по прозвищу Эль Вьехо, которые тот выкрикнул с последним вздохом, угодив в конце концов в лапы святой инквизиции: “Бог себя создаст!” Более прозорливых слов никто не произносил ни до, ни после, хотя палач тут же заглушил “богохульство” литром воды, влитым в глотку псевдопокорителю несуществующей “империи солнца”.

Было темно. Над водой светила луна, но черная стена деревьев, где скользили тревожные тени, не сулила ничего доброго тому, кто считал себя предателем рода человеческого. Один выстрел, как на Тринидаде, и на сей раз все будет кончено. Мир будет спасен. Но ведь не его вина, что наука попала в руки Власти. Америка, Советы, Англия, теперь еще Франция… Потом поползет дальше: Индия, Пакистан… А там уж недалеко и до самодельных бомб, доступных каждому. Будь проклята техника, подумал он. Техника — дырка в заднице науки.

Кон внезапно ощутил страх, являющийся у человека одним из ярчайших проявлений подлинности. Он почувствовал прикосновение и с криком вскочил. Но это просто Меева случайно дотронулась до его локтя.

— Фу! Как ты меня напугала!

— Почему? Чего ты боишься?

Он с достоинством сплюнул:

— С каких пор человеку нужен повод, чтобы бояться?

Ее большие черные глаза блестели в темноте, позаимствовав у неба звезды.

— Знаешь, Кон, мне иногда кажется, что ты от меня что-то скрываешь.

— Скрываю? — удивился он. — По-моему, нет на свете более правдивого парня, чем я. Мне действительно так кажется. Да и нечего мне скрывать.

— Что-то не верится!

— Ты опять про эту историю с Туаматой? Но мы же тогда еще не были вместе!

Она покачала головой:

— Я не о том.

— А о чем?

— Надо очистить себя изнутри, Кон. Тебе сразу полегчает.

— Да я только это и делаю! Живу ради этого. Пытаюсь очиститься от всего, начиная с первых каменных ножей и кончая Мао Цзэдуном. Куда уж больше, так можно и подохнуть. Это даже самый верный способ подохнуть, поверь мне.

Меева вздохнула. Когда она вздыхала, у нее двигалась не только грудь, колыхались даже ягодицы. Он положил руку на свое земное достояние. Это была самая красивая пара ягодиц, какие он когда-либо любил. Ощущая их под рукой, он чувствовал, что жизнь удалась.

— Кто ты, Кон?

— Как кто? Я же тебе сто раз говорил. Я один из отцов французской водородной бомбы, той, что

собираются взрывать на Мурароа. Поэтому я все время и пытаюсь очиститься.

— Но ты же не виноват!

— Как не виноват?

— Ты ведь не мог знать, что они притащат ее сюда, твою бомбу. Ты наверняка считал, что ее взорвут где-нибудь в другом месте.

Кона поразила ее логика. Эта невинная таитянка руководствовалась в своих суждениях изначальной народной мудростью.

— Да, — сказал он, — конечно.

Лежа на спине, Кон вскинул голову и оглядел себя, постепенно вырастающего от ласк Меевы: сначала он поднялся над горизонтом, потом все выше, выше — до середины Млечного Пути. Казалось, возможности его безграничны. Где-то на уровне Кентавра он счел, что достиг вершины своего величия, и нежно привлек к себе лицо Меевы. Потом полежал еще немного на спине, с гордостью созерцая свой член на фоне звезд, свой человеческий скипетр, воздетый, как знак высшей власти, среди звездных толп, поющих из синей тьмы гимны давно исчезнувшим Атлантидам. Он царил. И чудилось, будто созвездия склоняются перед державным жезлом властелина творения.

— Ну, Кон, а я?

Он вернулся с небес и занялся Меевой. Тяжелая красота ее тела, его примитивные, архаичные формы вновь опьянили его мечтой о начале времен. Вокруг этой наготы, ждавшей его прихода, ночь, сбросив будничное обличье, преображалась в легендарное звездное парео, о котором рассказывает *утэ* арий. Его держали рабы-великаны, раздев избранницу, которую жрецы в ночь полнолуния предназначали для наслаждения богов. В те времена облака назывались *аораи,* царские жилища, и прельщенные властители спускались оттуда к своей дрожащей добыче на семицветных пирогах, ануануа, которые иногда можно видеть и днем, — пришедшие ниоткуда белые люди называют их радугой.

Опершись на руки, Кон смотрел на ту, что была еще так близка к первому земному объятию, когда людей переполняла надежда, ибо они не знали самих себя. Он коснулся губами ее губ в поцелуе, когда-то почитавшемся священнодействием, и еще приподнялся, чтобы наглядеться на это первозданное тело: оно наводило на мысль о материнстве, о так и не состоявшемся великом рождении, в ожидании которого человек по сей день скитается в поисках подлинного пути. Ему

захотелось рассказать ей о девственности земли, к которой еще так близко ее тело, назвать имена изгнанных богов, унесших с собой свои тайны и чистые образы, так что в руках завоевателей остались лишь подобия, деревянные или каменные.

— Знаешь, кого ты мне напоминаешь, когда лежишь голая на песке?

Она погладила его по лицу:

— Знаю. Мой немецкий *попаа* тоже любил трахаться на пляже при луне и говорил, что я похожа на "Спящую цыганку" Таможенника Руссо… Он показывал мне репродукцию…

Кон совершил головокружительное падение с небес на землю, забыв от неожиданности все слова, кроме простейших:

— Черт! Ужас! Все ушло! Ни хрена не осталось.

Меева посмотрела на него и согласилась.

— Ничего, сейчас вернется, — утешила она Кона. — Главное, не волнуйся!

— Да я о другом! — взвыл Кон. — Об этом я не беспокоюсь, это вообще единственное, что всегда возвращается! Но Полинезия, прошлое, земной рай — это кончено навсегда. Каюк! Невинности больше не осталось на земле! Ей крышка!

Так оно и было. Человек зашел в развенчании мифов столь далеко, что ему осталось лишь скло-

ниться перед своей собственной подлинностью, дабы миф о Человеке, миф, в который он так долго верил, перестал наконец мучить его своими непомерными притязаниями.

XXIII. На борту “Человеческого достоинства”

Они сделали крюк, чтобы навестить “профессора Харкисса на борту его шхуны”. По единодушному мнению профессионалов, это был один из лучших аттракционов Океании.

Шхуна под названием “Человеческое достоинство” стояла на якоре в лагуне Терева, в нескольких сотнях метров от берега. Кон считал лагуну Терева действительно райским местом. Коралловое царство окрашивало над собой воду в самые разнообразные тона: светло-желтый внезапно сменялся нефритовым, темно-синий — изумрудным, переходя затем в оранжевый или ржаво-красный, и все это мерцало и переливалось. Непрерывно возникали и исчезали новые оттенки: перламутровые, темно-фиолетовые, — глаз их ловил, терял, искал, находил, потом опять терял, уже насовсем, при малейшей перемене света. Шхуна устремляла высоко вверх две свои неподвижные мачты, а над ними высилась могучая крепость облаков, которые тоже казались коралловыми: там виднелись точно такие же

башни, гроты и лабиринты, что и в морской глубине, словно подводные строители добрались до самого неба. Далекий риф останавливал буйные набеги Океана, опрокидывая огромных белых коней прибоя, и в хаосе волн порой вспыхивала и тут же гасла ломкая радуга.

Старые ризофоры с лианами, неотличимыми от корней, плотно обступили лагуну, склонясь в позе плакальщиц. Тут преобладали цвета зеленый и серый, но в них вклинивались местами красный, желтый, голубой, розовый, белый — островки растительности, посылавшей на штурм горы свои пестрые передовые отряды.

Кон объявил Мееве о намерении запечатлеть это великолепие и приступить к работе немедленно, без предварительной подготовки, хотя серьезные художники уделяют ей обычно немало времени, прежде чем взяться за кисть.

Песок под его коленями тоже участвовал в ласках, и Кон упивался красотой мира, которому ягодицы Меевы на первом плане сообщали теплоту и осязаемость.

— Нет, ты только взгляни на этот фон! Какие оттенки желтого! Какая нефритовая зелень! И еще ржавое золото вон там! С ума сойти!

— Тише, Чинги, я все понимаю, но не надо так

дубасить!

— Очень красиво!

— Да, очень!

— Красота-а-а-!

— Стой, стой, подожди меня!

Но он уже больше не мог сдерживать вдохновение. Лагуна сделалась алой, пурпурной, багряной, шхуна потемнела, живой пейзаж устремился в глубь его зрачков и через миг вернулся на место уже в виде готовой картины. Кон лег на спину.

Меева дулась.

Она сидела на песке, поджав губы. Он умасливал ее по-всякому, был нежен, сулил незабываемый закат — вот только немножко придет в себя. Но единственное, чем она даже ради него не поступалась никогда, так это правом на свою долю райских плодов.

— Так нечестно, Кон. Почему ты меня не дождался?

— Я не виноват, это пейзаж меня увлек.

— Ты разбил мне сердце.

Кон сел перед ней на корточки, похлопал ее по руке.

Она сорвала с него фуражку и швырнула на песок:

— Тоже мне капитан дальнего плавания! Тебе

только в луже плавать!

— Хочешь, сядем на мотоцикл, поедем в деревню, и ты там найдешь себе *танэ* на свой вкус.

— Поздно, я теперь фью.

Ох уж это фью, означающее все что угодно, — легкую печаль, беспросветную тоску, глубокое горе.

— Те хэре неи ау, — сказал Кон.

Только таким сложным способом можно сказать таитянке “Я тебя люблю”, причем выражение это происходит от другого, означающего “схватить, поймать в ловушку”.

— Давай сплаваем к шхуне. Заодно и отвлечешься.

“Профессор Харкисс” принял их с распростертыми объятиями. Бедняга изнывал от скуки. Если не считать нескольких ночных вылазок в Папеэте, он не покидал корабль уже два месяца. По его словам, такой способ зарабатывать на жизнь есть одновременно вернейший способ ее угробить. Мэтьюз — так его звали по-настоящему — уверял, что Бизьен помешался на своем Диснейленде и перегибает палку. Конечно, он, Мэтьюз, первый готов признать, что на Таити мало культурных достопримечательностей и приходится как-то разнообразить пейзаж с помощью колоритных

персонажей, чью поучительную биографию рассказывают туристам доверительным шепотом. Но лучше уж быть Бенгтом Даниельссоном с “Кон-Тики”, сколько бы тот ни хихикал над своей ролью, чем профессором Харкиссом. О, история вполне убедительная, ничего не скажешь, туристы это любят, особенно скандинавы. Профессор Харкисс — молодой физик из когорты передовых ученых, возмущенных преступным использованием гениальных открытий ядерной физики. Он примкнул к экологическому движению *Ban the bomb*[37], прекратил в знак протеста свои исследования и решил пробудить громкой акцией дремлющее общественное сознание. На борту своей шхуны, неспроста названной “Человеческое достоинство”, он ждет теперь ядерных испытаний на Мурароа, чтобы, как только они начнутся, проникнуть в зону смертоносной радиации. Власти что-то пронюхали — их насторожило название шхуны — и взяли его под пристальное наблюдение, но, к счастью, у него есть среди военных свои люди…

Бизьен вложил столько души в образ профессора Харкисса, что в его стараниях трудно было не

---

[37] Примечания: 37
Запретить бомбу (*англ.*).

разглядеть неподдельную ненависть к прекраснодушным идеалистам, гарцующим без всякой практической пользы на арене романтического цирка. Кон угадывал за этой желчной мстительностью какую-то глубокую давнюю рану, скрытую горечь и, быть может, даже ностальгическую грусть, которую великий промоутер, как и сам Кон, явно жаждал из себя вытравить. Это был свой брат пересмешник, соратник по глумливой борьбе с непобедимой Властью, борьбе тщетной, но бодрящей. Мэтьюз получал от “Трансстропиков” пятьдесят тысяч франков Океании в месяц за исполнение роли профессора Харкисса и справлялся с ней вполне успешно. Вид “поседевшего раньше времени” молодого ученого, готовящегося к смерти, производил на туристов неизгладимое впечатление, особенно на фоне чарующего пейзажа. Но два месяца — это все-таки перебор, Мэтьюз был сыт по горло. И потом, вокруг такая красота, что он начал чувствовать себя среди всего этого каким-то подонком. Да еще Бизьен запретил ему пить, пока не отчалят туристы. Напрасно Мэтьюз втолковывал ему, что, мучимый стыдом и угрызениями совести, профессор Харкисс должен, по всем законам психологии, искать забвения в алкоголе. Бизьен

был непреклонен: пьянство на корабле под названием “Человеческое достоинство” исключено! Мэтьюз, со своей стороны, считал, что под таким флагом, наоборот, можно только спиваться от отчаяния. Но поди поспорь с Бизьеном! И никаких женщин на борту — Мэтьюзу пришлось перейти на полное самообслуживание. Бизьен жаждал чего-то возвышенного, благородного, героического — чего-то греческого. Когда-то он возглавлял агентство в Афинах, и Греция с тех пор не давала ему покоя. Короче, высокая трагедия: ни капли спиртного и никаких *вахинэ*. Мэтьюз, однако, не собирался среди всей этой красоты вести жизнь аскета и время от времени пускался в загул. Вчера, например, он кутил в Папеэте, но опоздал потом на рейсовый *truck*[38], который шел в Маутуру, и когда прибыли туристы, они не обнаружили на борту “Человеческого достоинства” никого, что, в сущности, вполне естественно, ха-ха-ха, но привело Бизьена в дикую ярость, и он грозился выслать английского пикаро с Таити за злоупотребление доверием и аморальное поведение. Кону, конечно, смешно, но пусть сам попробует поторчать тут месяц-другой, и он, Мэтьюз, готов

[38] Примечания: 38
Небольшой таитянский автобус, переделанный из грузовика.

прозакладывать свои штаны, что ему очень скоро станет не до смеха. Да, пусть попробует — два месяца на борту “Человеческого достоинства” без капли спиртного. Были моменты, когда ему хотелось привязать себе камень на шею и — в воду. Ну а вообще что слышно?

Меева сидела на палубе, повернувшись к ним спиной; ее широкие шоколадные плечи темнели над зеленовато-сиреневым парео, как коричневая громада скал над альпийскими лугами и рощами.

— Она, кажется, фью, — заметил Мэтьюз.

— Она против холодной войны, — тактично ответил Кон. — Кстати, вы знаете, что маори помещают душу в брюхо? И, как явствует из работ Эллиса и Моренхоута, мотивируют это тем, что именно в животе возникают спазмы и боль, когда мы нервничаем. Живот, говорил Моренхоуту жрец Хуахи, непременно дает о себе знать, когда человек охвачен желанием, страхом или чрезмерной страстью. Значит, кишки и есть вместилище души.

Мэтьюз курил легендарную трубку, с которой профессор Харкисс никогда не расставался, и поджидал туристов.

— Знаю, — сказал он. — Поэтому у арий дефека-

ция считалась священным актом, освобождением тела от души, которую боги засунули людям в утробу, чтобы держать их в своей власти. Душа — это как бы "пятая колонна" на службе у богов. Отсюда и привычка без конца пить слабительное, которая существует на Таити до сих пор.

Он вдруг застыл, лицо его исказилось от ужаса, и он указал дрожащим пальцем в сторону пляжа.

— Вон, вон они, — прошептал он.

С полсотни туристов высыпали на берег и толпились около пирог. Лагуна огласилась треском транзисторов, и модный шлягер — Бах в обработке нового джаза, придуманного в Англии и окончательно порвавшего с традицией блюзов, спиричуэлс и диксиленда, — устремился к небу. Затем в земном раю раздалась песня чемпиона французского хит-парада Майэсса: "Плюнь мне в ротик, мой котик, я это люблю-ю, люблю-ю, люблю-ю..." Намотав на себя картины Гогена, превращенные в узор на парео, Запад грузился в пироги, а у подножия горы, на дороге, скрытой от глаз половодьем растительности, урча, разворачивались автобусы. Их шум успокаивающе действовал на экскурсантов, у которых живописная дикость ландшафта вызвала сначала восторг,

затем тревогу. Первые лодки заскользили по лагуне.

Кон схватил Мееву за руку и перемахнул через канаты. Прежде чем спрыгнуть в воду, он с состраданием посмотрел на Мэтьюза:

— Слушай, мой тебе совет: бросай все и возвращайся домой, в Англию.

“Профессор” вздохнул:

— Мне нельзя в Англию. У меня там жена и трое детей.

XXIV. Даровое горючее

Они проделали половину пути вплавь, потом просто побрели по прозрачной воде, огибая коралловые колонии, вздымавшие на их пути свои барочные постройки. Всюду сновали крохотные розовые крабы в окружении водорослей и морских звезд, забытых отливом.

Прежде чем отправляться назад в Папеэте, Кон намеревался освоить с помощью Меевы некий тайный уголок, где он полгода назад побывал один. Это был источник, скрытый в лощине Ваита, некогда вдохновивший — о чем Меева узнала от своего этнолога-немца — неизвестного автора на создание песни “Бесконечный бог”, которую ныне можно было услышать, и то не целиком, лишь от старых сказителей, еще не окончательно потерявших память. Пришлось идти около часа по каменистому руслу реки, в туннеле из далий, обвивавших стволы огромных ризофор и фикусов. Ветви деревьев напоминали длинные тонкие грибы с розовыми коронами вместо шляпок.

Растительность была настолько густая, что заглушала шум потока, образуя навес и стены

из лиан, соединяющих берега. На этих лианах древние боги сушили кожу принесенных им в жертву людей, чтобы потом облачаться в эту кожу, раскрашенную в их любимые цвета — желтый и красный. Кон не предполагал найти “бесконечного бога” в его убежище, поскольку его единственное земное воплощение покоилось за стеклянной витриной в музее Гейдельберга. Но красота окружающих мест принадлежала, несомненно, ему, “бесконечному богу”: он сумел сбросить ее, когда его увозили, и оставить здесь — над прозрачной водой витало некое волшебство, до сих пор не поддающееся никакой демистификации. Из глубокой расселины бил источник. В его белом кипении скользили, исчезая и тут же возникая вновь, переплетенные тени папай, жасмина и далий; чуть дальше, над огромными пучками папоротников, увенчанных шелковистыми султанами, тиковые деревья вздымали свои золотисто-бронзовые стволы в окружении неизвестных растений с длинными черно-коричневыми листьями, словно обугленными пламенем породившего их вулкана. Мшистые камни, из толщи которых милостью какого-то бога пробивались тонкие, хрупкие стебельки с желтыми цветами, несли караул вокруг млечно-

го пути водяных брызг. Тучи бабочек вились над королевской скалой, самой верхней, где когда-то совершилось бракосочетание “бесконечного бога” с первой женщиной, вышедшей из моаны, “великого глубокого моря”. От этого брака родилось несколько атоллов, но никто не знал каких, ибо их имена хранились в тайне и огласка грозила им немедленным затоплением. На королевской скале, где некогда высился *тики,* остался лишь пушистый ковер сиреневой пыльцы.

Вода доходила почти до пояса, и, чтобы завершить набросок Меевы, работу над которым Кон столь поспешно и эгоистично прервал два часа назад, им пришлось карабкаться к бамбуковой роще, окружавшей королевскую скалу белыми плюмажами. Кон вновь ощутил прилив вдохновения. Когда Меева сбросила парео и встала на четвереньки, открывая себя гению, он устремился вглубь пейзажа с безмерной благодарностью, породившей всех истинных богов, легенды о которых помогли потом создать людей. Он творил с таким воодушевлением, что уже через несколько минут набросок превратился в законченное произведение, и они вместе достигли совершенства, не уступавшего в своей счастливой экспрессии шедеврам Возрождения, хотя у Джотто или Ма-

заччо оно воплощалось, разумеется, в иной, более долговечной форме.

Мысли Кона вертелись вокруг одного: как бы эти мгновения совершенства положить в основу цивилизации? Существуют же ракообразные, у которых оргазм длится двадцать четыре часа.

Возвращаясь, они с удивлением заметили между папайями белую фигуру. Подоткнув рясу, держа в одной руке сачок, в другой — чемоданчик, им навстречу по колено в воде спешил отец Тамил, причем ловкость его движений явно не уступала изворотливости ума. Увидев Кона, он застыл разинув рот.

— Черт возьми! — выдохнул он. В устах монаха такие слова означали сильное душевное потрясение. — Это вы?

— Да, я, — ответил Кон не без удовольствия, ибо ему слишком часто случалось путаться в вымышленных именах, и иногда хотелось доказать самому себе, что он — это он. — Что с вами? У вас такой перепуганный вид!

— Со мной ничего, — сказал доминиканец, — но там, наверху, с кем-то случилась беда. Я слышал ужасные крики. Похоже на человеческое жертвоприношение, но на Таити их давно уже не бывает.

— Да, — вздохнул Кон. — Истинная вера покидает мир.

— Что там произошло?

— Мы с Меевой занимались любовью.

Доминиканец был потрясен:

— И вы всегда так орете?

Кон потупился. Меева скромно стояла в воде и, напевая, поправляла волосы. Поток аккомпанировал ей журчанием.

— Как вас сюда занесло с чемоданом и сачком? — спросил Кон.

— Я приехал соборовать старого вождя Вириаму, а поскольку мне сказали, что тут водятся редкие бабочки, каких нет больше нигде на острове, я решил совместить приятное с полезным… Месье Кон, вы не должны так рычать! Надо все же оставить что-то животным.

Тамил проводил их взглядом. Когда они исчезли в зеленых дебрях, он поднялся к скале “бесконечного бога” и остановился на вершине, среди древовидных папоротников и бамбуков, на том самом месте, где совершались некогда жертвоприношения всемогущему *тики* в обмен на покровительство, которое не спасло, однако, Таити от нашествия новых, лучше вооруженных богов.

Святой отец открыл чемоданчик, достал оттуда радиопередатчик и установил на скале. В горах радиоволны нуждались в дополнительной заботе человека, поэтому Тамил вытянул из сачка антенну и укрепил на передатчике. Потом нашел нужную частоту и вышел на связь.

Что-то в словах доминиканца смутило Кона, катившего на мотоцикле к деревне под названием Пиотии вместе с Меевой, которая, нежно обхватив его руками, прижималась щекой к его спине.

— Ты не помнишь точно, что сказал этот святоша? — спросил Кон. — Он приехал кого-то соборовать?

— Старого вождя Вириаму, который отдает богу душу, аминь, — отвечала Меева.

Кон внутренне негодовал всякий раз, когда слышал выражение “отдать богу душу”. Давно уже нечего было отдавать, люди все-таки должны знать свою историю, даже если не читают газет. Внезапно он понял, что насторожило его в словах Тамила.

— Как он может отпускать ему грехи? Ведь Вириаму — мормон, разве нет?

— Не знаю. Может быть, он перешел в католичество?

Когда таитянский вождь становится мормоном, это печально, но когда таитянский вождь-мормон еще и обращается в католичество, перед тем как присоединиться к своим предкам-маори, это уже просто черт знает что. Расстроенный, Кон ощутил потребность срочно взбодриться.

— Поехали заправляться, — сказал он.

В Пиотии человек пятьдесят крестьян столпились возле какой-то хижины, указав тем самым Кону местонахождение заправочной станции. Он затормозил.

— Я вот думаю, не погрузить ли мотоцикл на грузовик, который идет в Папеэте?

— Зачем?

— У меня горючее кончается.

Меева перестала что-либо понимать:

— Ну? Так чего же мы ждем?

— Чтобы отлетела душа старого Вириаму. Тогда мы заправимся.

— Заправимся?

— Ну да! Я же тебе объяснял.

— Что ты мне объяснял?

— Я двадцать раз тебе говорил, что у моего мотоцикла суперсовременный двигатель. Над его созданием люди работали испокон веков, но теперь наконец получилось. Не помню уж,

кто первый додумался, то ли русские, то ли мы, европейцы, то ли американцы, — война ведь всегда способствует техническому прогрессу. Главное, найден принцип. Но иногда еще случаются неполадки. Промышленники поспешили и слишком рано выбросили изобретение на рынок. Бывают утечки. Бывает, что кто-то все еще стихи сочиняет. Остается проблема отходов, побочных продуктов культуры. В общем, механизм окончательно не отлажен, но работает.

Он погладил бензобак:

— Вот она, здесь, внутри. Потому что в этой штуковине, которую вы, дикари, называете душой, нет ничего духовного. Это просто энергия. Когда ее закачиваешь в бак, она сопротивляется, ищет выход, прет наверх, в точности как пар в котле Папена. И заставляет работать мотор. Это намного мощнее, чем атомный двигатель, к тому же не стоит ровно ничего. Надо только ее поймать, поместить в бак, и она будет крутить колеса вечно, если изредка менять пришедшие в негодность экземпляры. Наука достигла своей конечной цели. Я купил мотоцикл перед отъездом сюда, это один из первых. Ну вот…

— Что вот?

— Отдав концы, Вириаму высвободит свою

энергию. У меня в мотоцикле есть специальное устройство Матье — Кона, чтобы ее перехватить. Но нужно находиться не далее чем в ста метрах от места. Сейчас увидишь.

Не прошло и получаса, как дочь Вириаму, смеясь, вышла из фарэ, чтобы сообщить односельчанам радостную весть: ее отец умер, он отправился к своим предкам маори на небесный атолл, откуда лишь несколько капель счастья упало когда-то на землю вместе с дождем.

Кон рванул с места.

— Ты дурачишь меня, — сказала Меева.

— Да нет, ты же видишь! Я заправился.

— Ну да, конечно, так я и поверила!

Кон не настаивал. Эта девушка жила в счастливом неведении гигантских шагов, сделанных цивилизованным миром ради того, чтобы претворить в жизнь завет Мао: “Преобразовать духовную энергию в физическую силу”.

Они заночевали перед памятником королю Помаре Пятому, в глухом туннеле из черных кофейных деревьев, под сплетением ветвей *пурау*[39], служивших поясом “бесконечному богу”. Кон питал слабость к королю Помаре, окончив-

---

[39] Примечания: 39

Таитянское название гибискуса, дерева из семейства мальвовых.

шему свои дни в беззаботном пьянстве. Рядом с его могилой стоял протестантский храм. Возможно, из-за этого туземцы считали всю территорию вокруг зараженной проказой: кто сюда ступит, непременно подхватит страшную болезнь. Крышу королевской гробницы венчала урна в форме бутылки рома — знак высочайшего почтения к монарху. У Гогена было рекомендательное письмо к Помаре Пятому, но, увы, его величество скончался от цирроза печени. Гоген успел лишь отклонить честь расписать зал прощания, где усопший король Таити лежал в мундире французского адмирала. Гоген написал своему другу Монфреду:

Мне бы не позволили изобразить над катафалком Библию и бутылку рома, хотя одно напрямую объясняет другое. Поэтому я сказал: спасибо, нет. Видишь, я еще не разучился быть вежливым.

XXV. Еще одно поражение Запада

Они вернулись в Папеэте около десяти утра. Кон завез Мееву к подруге — поведать о недолгой великой любви, пережитой на пляже с юным *танэ*, ни имени, ни лица которого она не помнила, — а сам отправился выпить кофе в “Микки”. Он сидел за столиком, критически глядя на статую Гогена — безликое официальное творение парижского скульптора, которое в данный момент водружали на пьедестал, — как вдруг увидел молодого Ивао, больше известного как Йо-Йо, бегущего со всех ног к зданию пожарной охраны. Однако, вместо того чтобы войти туда, он остановился посреди площади, ошалело вращая глазами, словно у него внезапно отшибло память и он забыл, где находится.

В жилах девятнадцатилетнего таитянина Йо-Йо текла французская, греческая, исландская и шведская кровь. Вообще из викингов выходили, как правило, отличные маори, весьма одаренные по части мореплавания. А вот примесь китайской крови удручала Кона: из-за нее у местных девушек появлялись узкие запястья и щиколот-

ки, тонкая талия и изящная шея, которым он решительно предпочитал грубоватые архаичные формы.

Большинство старинных таитянских семей носили англосаксонские фамилии, а Йо-Йо Вильямс являлся прямым потомком того самого капитана, что высадился на Таити в XVIII веке с легким гриппом и вызвал эпидемию, унесшую за несколько недель треть населения острова. С тех пор Вильямсы представляли население Полинезии во всех французских политических ассамблеях.

— Что стряслось?

Вильямс перевел испуганные глаза на Кона:

— Пожарники! Пожарники!

— Что-то горит? Где?

— Датчанка, ну, вы знаете, манекенщица из Парижа… Нельзя бросить ее так…[40]

— Господи! Да объясни же, в конце концов!

Он схватил Йо-Йо за шиворот и хорошенько тряхнул. К бедняге вернулся, хотя и не полностью, дар речи. Конечно, такое происходило на Таити и раньше, но тут случай был особенно тяжелый.

---

[40] Примечания: 40

Во Французской Полинезии, как и во Франции, пожарная служба оказывает помощь не только при пожаре, но и в других чрезвычайных ситуациях.

И девушка-то славная, даже по-своему трогательная, тщедушная, правда, — красивая гладильная доска для кутюрье-педерастов. Кон расстроился.

— Быстрей! Надо срочно вызвать пожарных! — лепетал Йо-Йо Вильямс. — Нельзя ее так оставлять! Это позор!

— Беги лучше за ветеринаром, а я поеду к ней. И никому ничего не говори, тут надо действовать аккуратно. А то малышка потом не сможет в городе показаться. Люди засмеют.

Фарэ, которое Вильямсы сдавали датчанке, находилось над деревней Фааа, посреди банановой плантации. Кон вскочил на мотоцикл и помчался вверх по склону холма, а Йо-Йо бросился на поиски доктора Моро. Кон корил себя: если бы он в свое время дал себе труд переспать с ней, катастрофы можно было бы избежать. Но не может же он заниматься благотворительностью, к тому же бдительная Меева никогда не забывала с утра его разрядить, так что, за исключением редчайших случаев, когда попадался художественный объект, будивший в нем истинное вдохновение, он не позволял себе растрачивать творческие силы попусту.

Он, конечно, дрогнул, когда она послала ему робкую, слегка встревоженную улыбку, но Ко-

ну не нравился тип современных манекенщиц — слишком тощие, в постели все время хочется их накормить, как будто трахаешь голодающую Индию. И все-таки он мог бы сделать над собой усилие — теперь Кон винил себя в недостатке человеколюбия. Девушка была сама не своя, в состоянии нервного шока, который в той или иной степени испытывают все белые представительницы слабого пола, приезжающие на Таити. Они перестают здесь чувствовать себя женщинами и буквально теряют голову. Этот феномен хорошо известен специалистам, ему посвящена целая глава в книге “Экзотика и секс” профессора Лотара Ангуса. Возьмите любую девушку, только что вышедшую из американского или парижского салона красоты, перенесите ее в Полинезию — и она немедленно потеряет все краски, поблекнет, угаснет, растворится, станет пустым местом, белым пятном, ничем. Экзотическая красота лиц, форм, кожи, волос таитянских женщин, да и всего пейзажа в целом, такого ослепительно-яркого, по контрасту низводит ее до уровня какой-то бледной бракованной копии. Под тропическим солнцем все фотографии журнала *Elle*, со страниц которого она сошла, выглядят дешевой фальшивкой, тщетной попыткой скрыть физическую

немощь. Туристы сразу вспоминают витрины улицы Севр, Фобур-Сент-Оноре или Пятой авеню и чувствуют, что зря потратились на путешествие. Белая женщина рядом с коричневато-золотистыми таитянками кажется тусклой и блеклой. Кроме того, мужчины едут на Таити в поисках экзотики, первозданности, древних мифов и шарахаются от одного вида женщины с парижской модной картинки. *Вахинэ* одерживает верх по всем пунктам, причем без труда. Ей даже необязательно иметь сносную внешность — достаточно быть таитянкой, овеянной романтикой южных морей. В ее лоне турист ищет первобытную подлинность, ради чего, собственно, он и платит немалую сумму в *Club Med*. Дайте ему смуглянку с плоским носом, могучими бедрами, белым цветком в длинных волосах — и он счастлив. Не так давно Сан-Франциско смаковал подробности пылкой любви между корреспондентом одной из американских газет на Таити и красавицей *вахинэ.* История их страсти и расставания стала бестселлером, над ней рыдала вся Америка. Автор умолчал лишь об одном — о подарке, который он сделал на прощание обольстительной островитянке. Он осчастливил ее новенькой вставной челюстью. Туристы теряли голову в

объятиях девушек, которые, попадись они им в Европе или Америке, обратили бы их в бегство. Миф, привезенный ими с собой, был неизмеримо сильнее реальности, зримой и осязаемой. Когда приходили корабли с Маркизских островов или с Туамоту, мужья и любовники дезодорированных белых женщин пускали слюни от восторга при виде грязных босых ног и черных волос под мышками. Белой женщине, чтобы противостоять шоколадным богиням, оставалось лишь совершенствоваться в технике секса, но и это оружие было бессильно, ибо *nonaa* стремились на Таити не ради секса, а ради романтики. Таким образом, девушка, купавшаяся во всеобщем обожании в Париже, терпела на Таити полный крах, теряла весь психологический капитал, вложенный в собственный образ. Если она немедленно не отправлялась назад, то вступала, во имя чести, в неравный бой против экзотических соперниц и тут уж готова была на все: случалось, что самые гордые и недоступные красавицы Парижа или Нью-Йорка спали на Таити со всеми подряд, чтобы вернуть утраченную уверенность в себе.

Карен прилетела на остров полтора месяца назад сниматься для модного журнала в обществе фотографа мужского пола неясной сексуальной

ориентации. Через десять минут после посадки, как только появились первые *вахинэ*, встречающие туристов с цветочными гирляндами на шее, она перестала существовать. Ни одного приглашения на обед, ни одного восхищенного взгляда, ни одного вздыхателя в радиусе ста метров. Кон видел, как она обедает в одиночестве на террасе гостиницы, принимает на пляже эффектные позы в стиле *Vogue*, а ее спутники бросаются на портовых девок, мечтая в их объятиях испытать чувства, которые испытывал в райском саду их предок Адам. Кон улыбнулся ей пару раз из великодушия — девочка была, скорее всего, фригидна, у него на это нюх. Однако, не умея, как всегда, устоять перед взглядом побитой собаки, он все-таки подсел к ней за столик. На нем были грязные тапочки и идеально чистый свитер с эмблемой Королевского яхт-клуба, прихваченный в отсутствие хозяев на английской яхте, где он шарил в поисках сигар. И естественно, капитанская фуражка. Он необычайно дорожил ею. Способен был даже сотворить Океан или несколько Океанов — исключительно ради того, чтобы иметь возможность носить фуражку капитана дальнего плавания.

— Позвольте представиться. Капитан О’Хара.

— Карен Соренсен. Очень приятно.

Она протянула ему руку с длинными накрашенными ногтями, и Кон сразу же расценил их как совершенно непригодные, чтобы не сказать опасные, для ласк и объятий. Карен напоминала вырезку из модного журнала, где женщин превращают в образчики фармацевтической или гигиенической продукции из области научной фантастики, что, по мнению Кона, грозило обернуться в один прекрасный день повсеместной реабилитацией грязи. Все в этих существах так тщательно продумано, просчитано, взвешено, все такое холеное, ухоженное, вылизанное, отполированное, что член в состоянии эрекции, вторгающийся в подобный шедевр, подобен брошенному в витрину кирпичу. Бесчисленные кремы, духи, лосьоны для и лосьоны против, лаки, помады и макияж, сплошь покрывающие поверхность тела, наводят на мысль о незримой косметике, таящейся в сокровенных глубинах, и все сексуальное любопытство сводится к тому, чтобы угадать, чем вы будете благоухать по выходе: “Ланвеном”, “Роша”, “Диором” или “Скиапарелли”. В самый прекрасный момент возникает впечатление, будто вы обнимаете тюбик засохшей жидкой пудры, которая никак

не выдавливается. И, кончая, хочется пошарить в поисках колпачка, чтобы ее завинтить.

Выплевывая накладные ресницы, чувствуя во рту жирный привкус помады и туши, вы ищете, куда бы прильнуть губами, чтобы в рот не попала какая-нибудь химия. Что-то вдруг вспенивается под вашими поцелуями или отдает маслом, вопреки известной поговорке, ибо идет все отнюдь не как по маслу. В общем, вы получаете удовольствие лишь оттого, что все же учинили некоторый беспорядок.

Кон однажды попробовал заняться любовью с манекенщицей от “Бордаса” и вышел из этого испытания, украшенный маленьким пакетиком на нитке, вроде чайного: пакетик содержал “Элежиак”, суперсовременное очищающее средство мгновенного действия. Полным забвением естества объяснялся и удивленный возглас парижского чуда, которое он имел неосторожность атаковать в машине. Стадия поцелуев, имевших вкус бутерброда с маслом, была пройдена вполне благополучно, но потом рука барышни случайно наткнулась на Кона во всем его великолепии. Она вытаращила изумленные цыплячьи глазки, захлопала искусственными ресницами и задала вопрос, который стоило бы поместить в качестве

эпиграфа ко всем женским журналам: “Что это?” — “Это, — ответил обескураженный Кон, воспользовавшись лексикой *Club Med,* — дружелюбный инструктор”.

На приморском бульваре Папеэте, на фоне величественных округлостей Океана Карен выглядела хлипкой водянистой картинкой, которая в любой момент грозила полностью утечь в “клинекс”. И все-таки он подсел к ней: за всей этой косметической выставкой он видел растерянную девушку, не понимавшую, как так вышло, что она, одна их королев Парижа, вдруг разом утратила привлекательность в глазах мужчин. Кон даже на миг заколебался, не протянуть ли ей, несмотря ни на что, спасательный шест. Он рассеянно слушал ее щебетание — девочка, не жалея себя, изощрялась в искусстве утонченной беседы, дабы продемонстрировать свое превосходство над дикими таитянками, у которых при каждом движении угадывается глаз циклопа между ног.

— По-моему, это отвратительно! Цивилизованные, культурные люди… Но стоит им оказаться здесь… Они превращаются в животных! Да они и сами это понимают — им так стыдно, что они избегают меня. Некоторые из пассажиров нашего самолета, которые ухаживали за мной напропа-

лую, пока мы летели сюда, сразу же спутались здесь с дешевыми проститутками. Теперь они не смеют даже подойти ко мне.

Сострадание Кона таяло на глазах. Он встал:

— Извините, я должен идти. Меня тревожит один из двигателей. Им занимается механик, но, сами знаете, без хозяйского присмотра…

С тех пор он замечал раза два или три ее модный силуэт на фоне кокосовых пальм — она прогуливалась в обществе утонченных джентльменов лет шестидесяти пяти, которым только утонченность и оставалась. Он ей сочувствовал, издалека. Наверно, это было действительно ужасно для популярной *cover-girl* — проиграть по всем статьям деревенским девкам, чья притягательная сила состояла просто в открытом проявлении своей женской природы.

Но Кону не могло прийти в голову, что эта малышка вступит с ними в столь решительную борьбу и так далеко зайдет в жажде самоутверждения.

Он остановил мотоцикл на вершине холма, перед плантацией Вильямсов: оттуда открывался великолепный вид на белые колесницы прибоя, несущиеся во весь опор к коралловому барьеру. Фарэ было выстроено на сваях. В саду дремали,

восстанавливая силы, около десятка *танэ*. Кон бросил мотоцикл под пальмой и поднялся по ступенькам.

Плетеные шторы были опущены, в комнате царил полумрак. В нос ударил сильный запах свинарника.

С минуту он стоял в шоке, с отвисшей челюстью, пытаясь водворить на место собственные глаза, вылезавшие из орбит.

Их там было человек двадцать, и мысль, что перед ними женщина в тяжелом истерическом припадке, фактически в бессознательном состоянии, не посетила ни одного из этих простодушных дикарей. Они, хихикая, теснились у кровати, дожидаясь своей очереди.

Взгляд Карен был застывшим и мутным, она смотрела в потолок, издавая периодически утробные звуки, похожие на писк говорящей куклы. Было ясно, что бой парижской моды с мифом о *вахинэ* длится уже много часов.

Несмотря на весь культурный багаж и знакомство с гимнами, воспевавшими оргиастические ритуалы в земном раю, Кона охватило возмущение поистине глубочайшее — оно добралось аж до его представления о человеческом достоинстве. Со страшной бранью, выставив вперед бороду,

он ринулся в атаку и с разбегу нанес сокрушительный удар ногой одному из *танэ*, слишком увлеченному тем, что происходило спереди, чтобы беспокоиться о возможной угрозе сзади.

Дети природы, которых ему удалось поймать, пока они в панике бежали к дверям и окнам, со слезами на глазах клялись в своей невиновности: им сказали приятели, что здесь есть одна *попаа*, которой хочется. Поди объясни им, что у бедняжки нервный срыв, что тут потребна медицина, а не любовные игры и что она борется за свою женскую честь со всей энергией отчаяния и уязвленного самолюбия.

Выгнав *танэ*, Кон в ожидании врача превратился в заботливого фельдшера. Карен почти пришла в себя и, приподнявшись на кровати, автоматически начала пудриться и красить губы. Врач констатировал шоковое состояние и прописал лечение сном, весьма кстати повлекшим за собой частичную амнезию. Единственным последствием всей этой истории стали для Карен синяки. Парижские газеты написали, что знаменитой *cover-girl* упал на голову кокосовый орех и она три дня пролежала в коме. На первых страницах появился ее портрет в пляжном ансамбле “Сен-Тропе” на фоне пальмовой рощи, там еще

фигурировала пирога и живописный улыбающийся гитарист.

Она улетела в Европу, как только смогла сидеть.

В итоге поплатился за это Кон: целую неделю он был не в состоянии вести себя как мужчина. Такого с ним еще не случалось, даже после того, как он прочел официальные отчеты об уничтожении нацистами евреев, с фотографиями, подтверждающими факты. Меева плакала, подруги, которых она призвала на помощь, добились примерно таких же результатов, как Комитет по правам человека при ООН, Кон кричал, что покончит с собой, новость мгновенно облетела окрестности, он ходил в ореоле мученичества и святости, мормоны злорадствовали, говорили, что Бог разит точно в цель, и призывали сейчас как никогда воздерживаться от курения и питья кофе.

Только на девятый день Кон, проснувшись, вновь почувствовал себя в форме.

— Видишь, Чинги, напрасно ты волновался, — сказала Меева, после того как Кон трижды выступил как мужчина: первый раз против русских танков в Праге, второй — против расовой дискриминации, третий — против Берлинской стены. — Почему ты так истошно кричишь, когда

тебе хорошо? — спросила она.

— Крик способен сокрушить античеловеческие законы, — вспомнил он Кафку. — Пошли, надо это отпраздновать. Едем завтракать к Чонг Фату.

XXVI. Наш французский китаец

Чонг Фат отказался их обслуживать. Едва заметив их в дверях, бесстрастный житель Востока впал в неистовство, весьма огорчившее Кона, который считал, что в хорошем китайском ресторане должны подавать исключительно национальные блюда. Видеть лицо Чонг Фата, искаженное нервными судорогами, было все равно что вместо заказанной утки по-пекински получить пасту по-неаполитански.

— Как, мы больше не признаём друзей?

— Убирайтесь вон! Вы взломали мою кассу и украли выручку! Ваше место в тюрьме! Не смейте больше переступать порог моего заведения!

Кон закрыл глаза. Смешение культур на Таити, несомненно, заслуживало уважения, но его всякий раз разбирал смех, когда он слышал чудовищный корсиканский акцент Чонг Фата.

— Ваш отец украл куда больше у гениального художника, в честь которого вы назвали свою харчевню “Поль Гоген. Настоящая кантонская кухня”!

— Пресвятая дева! — простонал Чонг Фат. —

Мой отец месяцами кормил Гогена задаром. Про это везде написано.

— Ваш отец — настоящий Иуда, который добился конфискации картин и имущества Гогена за долги.

Лицо Чонг Фата покрылось пурпурной краской, в которую остатки желтизны вносили кое-где оранжевый оттенок. Кон залюбовался своим произведением.

— Отстань от него, Кон, у него дети, — сказала Меева.

— Знаю, — ответил Кон. — Но я вынужден преодолевать себя.

Чонг Фат повернулся и бросился к себе в кабинет.

— Он убьет тебя, — сказала Меева. — Нельзя безнаказанно оскорбить отца китайца. Для них это все равно что оскорбить генерала де Голля. Пошли отсюда!

Но Чонг Фат уже вернулся, потрясая книгой Перрюшо “Жизнь Гогена”.

— Если вы найдете здесь хоть одно нелестное упоминание о моем отце, обещаю месяц кормить вас бесплатно!

Похоже, Чонг Фат знал, что говорит. Именно поэтому Бизьен и включил фотографию его ка-

бака в рекламные проспекты с приглашением “отведать китайские кушанья, которыми наслаждался Поль Гоген в своем любимом ресторане”. Меню изобиловало любимыми блюдами Гогена. Там значилось барбекю “Поль Гоген”, утка с апельсинами “Поль Гоген” и фруктовый салат “Поль Гоген”. Имелся даже “китайский буйабес по рецепту Поля Гогена, подаренному им своему ближайшему другу, отцу нынешнего хозяина, господина Чонг Фата-младшего”. Рядом красовался автопортрет художника в знаменитом желтом ореоле. Он его заслужил сполна.

— Напоминаю вам, месье Кон, — вопил китаец, — что мы находимся на Таити и не нуждаемся в поучениях иностранца без роду и племени, как нам чтить память великих людей и…

Тут из зала донеслась музыка: заиграл ансамбль “Джимми Линь Пяо и веселая троица”, исполнявший с большим воодушевлением “Жаворонок, жаворонок”[41].

По какой-то ему самому неясной причине китайцы, распевающие на Таити “Жаворонок, жаворонок” для американцев и скандинавов в ресторане “Поль Гоген. Настоящая кантонская

---

[41] Примечания: 41

“Жаворонок, жаворонок” — французская народная песенка.

кухня", вывели Кона из себя.

— Вы загадили французскую культуру! — взревел он. — Все в желтый цвет перекрашиваете, скоро ни одного шедевра белого не останется в наших музеях! У Джоконды завтра будут косые глаза. Бюргеры Вермеера в костюмах буддийских монахов начнут жрать рис палочками! Де Голля произведут в мандарины!

Лицо Чонг Фата сморщилось в нервной гримасе, как мятая тряпка.

— Я не позволю себя оскорблять! Я голлист, причем из самых первых!

— Неудивительно! Чего ж еще ждать от такого, как вы!

— Я член Бургундского содружества знатоков вина!

— Руки прочь от французских вин, пудинг рисовый!

— Я женат на француженке!

— И они еще зарятся на наших жен и дочерей!

— Не смейте устраивать скандал в моем заведении, месье Гоген! — завопил Чонг Фат. — Я подам в суд!

Кон замер от восторга. Это было великолепно. Он упивался сладостным сознанием творческой удачи, смаковал художественное совершенство.

Услышать, как его величает Гогеном рассвирепевший китаец, было для него высшим признанием, он почувствовал, что достиг зрелости, полностью овладел своим талантом. Он явственно различал где-то рядом веселый хохот своего предшественника, потерпевшего поражение на Таити полвека назад, и этот смех победоносно заглушал “Жаворонка”.

У Кона слезы выступили на глазах. Он одержал полную победу, и делать здесь больше было нечего. Он потянул Мееву за руку.

— Пойдем, — сказал он дрожащим от волнения голосом. — Что с него взять, с этого желтого Иуды! Предупреждаю, Чонг Фат: с завтрашнего дня я начну распространять перед вашим рестораном листовки, где будет написано, что я не обедал здесь никогда, а ваш отец конфисковал за какие-то жалкие пятьдесят франков мою кровать. У меня есть документы, подтверждающие это, и я передам их Бенгту Даниельссону, который пишет обо мне книгу. Прощайте.

И он гордо удалился с сигарой в зубах.

Это был один из чудеснейших моментов, когда Кон и правда уже не знал, кто он на самом деле. Он победоносно катил по набережной, воспринимая поднятые на мачтах флаги как приветствие,

адресованное ему лично, и в ответ по-королевски приподнимал руку. Сидевшая сзади Меева сердилась:

— Зачем ты наживаешь столько врагов, Кон? Для чего? В один прекрасный день тебя зарежут в собственной постели.

— Плевать! Так надо.

— Легко тебе говорить! А если ты отправишься в рай, что будет? Там даже трахаться нельзя!

— Отстань от меня со своими проповедями!

XXVII. А если это правда?

На террасе “Ваирии”, куда они отправились завтракать, они наткнулись на Бизьена, который распекал сидевшего там Ле Гоффа. Директор “Транстропиков” был вне себя. Поверив рекомендации Кона, он нанял Ле Гоффа на роль Христа в “Страстях”, инсценированных в Папеэте по образцу Обераммергау[42] в Германии. Уже с неделю или больше Ле Гофф в терновом венце таскался по улицам с крестом на плече и принимал театральные позы перед камерами туристов.

С девяти до десяти Христос обретался в порту среди рыбаков, с десяти до одиннадцати — на рынке, а с одиннадцати до обеда — в рабочих кварталах, чтобы продемонстрировать иностранцам, как Франция заботится о трудящихся. Во второй половине дня его отвозили на джипе вглубь острова и оставляли на пути туристических автобусов. Экскурсанты могли видеть из окна высокую белую фигуру, возникавшую то тут,

[42] Примечания: 42

Обераммергау — селение в Баварии. В память об избавлении от чумы 1634 г. его жители устраивают каждые десять лет представления Страстей Господних.

то там среди пальм на холмах земного рая. В Оберраммергау “Страсти” длились три дня, но Бизьен решил всех перещеголять и устроить “Страсти” на постоянной основе. Его проект Диснейленда был еще далек от воплощения, но великий промоутер считал, что надо брать быка за рога и уже сейчас предлагать публике самые лучшие аттракционы, а самые лучшие и самые поучительные — это, естественно, те, что дешевле всего стоят. “Хилтон” на полуострове Тайарапу и казино на Муреа — в рекламных проспектах оно будет называться “Лас-Вегас южных морей” — можно построить, только когда вкладчики убедятся, что на Таити наблюдается отчетливая тенденция к росту туризма. Бизьен уже нашел Адама и Еву и разместил их на холме над Пунаауиа, а на мысе Венеры дважды в день давалось представление “Смерть капитана Кука”. Кука съели на Гавайях, но поскольку Гавайи использовали на полную катушку историю Таити, то можно было не стесняться и использовать их историю на Таити.

Он замыслил представить в виде живых картин всю Библию и, быть может, воспроизвести в миниатюре Святые места. Все это должно было выглядеть в высшей степени достойно и благообразно. Поэтому он пришел в негодование,

застукав Христа с кружкой пива на террасе кафе: терновый венец сбился на затылок, крест валялся под столом, и все это в рабочее время. Ему не за это деньги платят.

— Еще раз нечто подобное повторится, и я найму другого Христа! На что это похоже? Если туристы сфотографируют вас в таком виде, нас обвинят в оскорблении чувств верующих. Я же говорил, все должно выглядеть достойно. В Диснейленде вас бы уже давно уволили. И бросьте сигарету, боже милосердный!

Ле Гофф сидел насупившись. Ему все меньше и меньше нравилась его роль.

— Имею же я, в конце концов, право выпить пива! Нет, кроме шуток… Я уже оттрубил свои три часа с утра.

— В следующий раз входите с черного хода и просите обслужить вас на кухне!

— С какой стати? Или Христа, по-вашему, дальше кухни пускать нельзя?

— Образ должен выглядеть убедительно. А вы выглядите шутом гороховым.

— Туристы прекрасно знают, что я артист.

— Но вы не можете с крестом и в терновом венце шляться по кабакам! Это даже меня шокирует. Последите за собой! Надо было мне брать

верующего, а не прощелыгу-безбожника. А вам, Кон, я это припомню! Ваша кандидатура.

Кон потешался:

— Я счел, что у него подходящая внешность, вот и все.

— Возможно, однако нужна еще хоть капля профессиональной сознательности. Без иллюзии подлинности американский Диснейленд нас просто раздавит. У них колоссальные средства, которых нет у нас. Ведомство заморских территорий отказало нам в финансировании, в министерстве культуры меня не жалуют, пришлось обращаться к банкирам… Сейчас же подберите с пола крест, Ле Гофф, и убирайтесь отсюда!

— Но у меня тут назначена встреча с подругой!

— Только попробуйте в этом одеянии появиться рядом с *вахинэ*! Я подам на вас в суд и потребую возмещения убытков, а потом вышлю за оскорбление нравственности. С минуты на минуту прибывают четыре сотни туристов из Бостона. Вы хотите, чтобы они потом рассказывали по всей Америке, что для французов нет ничего святого?

— Ладно, ладно, ухожу. Но все-таки забавно: с тех пор как я стал Христом, все меня поносят и задирают.

— Если б вы играли свою роль достоверно, ни-

кто бы вас не трогал.

— Да нет, дело не в этом. Когда люди видят Христа, у них срабатывает рефлекс. Они знают, что надо делать. И набрасываются на меня. Как павловские собаки. Некоторые даже швыряются камнями, а жандармы только хохочут. Капрал Леонтини сказал мне на днях, что их так учили на уроках катехизиса. Я тоже стремлюсь к достоверности, но всему есть предел. Людям столько раз твердили, где мое место, что они в один прекрасный день могут распять меня по-настоящему в своем стремлении к подлинности. Они ведь тут очень верующие. А если я стану сопротивляться и драться, как это воспримут? По идее, я должен безропотно покоряться. Предупреждаю, я буду требовать прибавки к жалованью.

Он встал, допил пиво, поправил терновый венец, взвалил на плечо крест из папье-маше и ушел. Кон, доедавший глазунью из шести яиц, покачал головой.

— Вот что значит работать с любителями, — заметил он.

— Пойдете на его место?

— Нет, внешность не та! У меня самое что ни на есть человеческое лицо, как на раннехристианских иконах. Получится неубедительно. Посмот-

рите на Иисусов, которые лежат на прилавках, это же оскорбление для веры! Они превратили в какого-то хлюпика самого мужественного и самого подлинного человека за всю историю цивилизации. Им нужен Христос-страстотерпец, козел отпущения, послушный подпевала. Пасхальный агнец. Смиренник. Серая мышка. Символ всепрощения. Тихоня с опущенной головой. А Христос никогда не опускал голову ни перед кем. Он испепелял их взглядом, и они улетучивались. Вот они и придумали изображать его кротким, как ягненок, изнеженным, ручным, послушным, беззащитным. Папе следовало бы вмешаться. Это же просто черт знает что!

Он стукнул кулаком по столу.

— Слушай, Кон, ты опять собрался скандалить? — спросила Меева.

Бизьен смотрел на него с любопытством:

— Не заводитесь. Я уверен, все эти художники и скульпторы вовсе не хотели вас оскорбить.

— Христос не такой, — продолжал возмущаться Кон. — Он непокорный. Он не говорит да. Он говорит нет. Он кричит: нет! нет! нет! Он не соглашается. Он испепеляет!

— А вы что, его лично знаете? — спросил Бизьен.

Кон яростно вытирал хлебом тарелку, словно стирал с лица земли века готического искусства.

— Не обращайте внимания, — сказала Меева. — Для него Христос неприкосновенен. Он такой нетерпимый!

Бизьен задумчиво ковырял в зубах:

— Знаете, Кон, мне иногда кажется, что вы самозванец.

Кон раздавил еще несколько столетий страдания и покорности в своей тарелке и проглотил хлеб. У него зрело сильное желание съездить Бизьену по морде. Он терпеть не мог, когда его понимали.

— Что вы хотите сказать?

— Я начинаю думать, что по натуре вы прекрасный человек… Но почему-то делаете все, чтобы это скрыть.

— Именно так, — согласился Кон. — У меня натура одна из лучших на острове, спросите у Меевы. Вы имеете в виду размеры или запас прочности?

Бизьен рассматривал свою зубочистку.

— Циники, — сказал он, — как правило, очень ранимые люди, готовые убить родного отца, лишь бы побороть свою уязвимость.

Кон рыгнул.

Вдали китобойное судно вычерчивало на спокойных полуденных водах вторую линию горизонта, более отчетливую, чем размытая граница между бледной голубизной неба и бледной голубизной Океана. На рейде, на островке Моту-Ута, редкие пальмовые рощицы устремляли вверх длинные ощипанные шеи и зеленые головки с хохолками, а вокруг плавали черные кляксы мазута. Шестьдесят пять лет назад Моту-Ута был излюбленным местом уединения короля Помаре Пятого. Последний повелитель Таити часто плавал туда один, на пироге, в мундире адмирала французского флота. Он брал с собой литр рома и Библию, которую переводил на таитянский язык. Как он объяснял своре англиканских пасторов, следивших, чтобы он не вернулся к ложным верованиям предков, он уединялся для размышления. На следующий день за ним посылали пирогу и мертвецки пьяного доставляли во дворец, забрав из одной руки пустую бутылку и оставив в другой Библию.

Время от времени Кон отправлялся туда, устраивался под пальмами, которые укрывали некогда в своей тени низложенного короля, умершего от цирроза печени, если не души, и там с королевским размахом напивался в память о человеке, в

котором Гоген надеялся найти покровителя.

— Кто вы *на самом деле,* Кон?

Кон заколебался. Он знал Бизьена уже давно, и в изнуряющей полуденной жаре, настойчиво возвращавшей его к самому себе, он вдруг ощутил такую острую потребность в дружбе, что ему стоило колоссальных усилий себя не выдать.

— Вы когда-нибудь слышали о деле Блейка и Девооса?

— Да, что-то припоминаю.

— Блейк и Девоос были выдающимися биологами, оба лауреаты Нобелевской премии. Их тела нашли в машине, упавшей в море с двухсотметровой высоты в Эзе, на Лазурном Берегу. Мое имя ничего вам не скажет, но я был третьим участником, хотя и не столь блестящим, их исследовательской группы в Кембридже.

— А дальше?

— Мы разработали метод, стопроцентно эффективный, иммунизации организма против рака. Увы, нам показалось этого мало. Нам захотелось действительно стать, что называется, благодетелями человечества. Мы решили не публиковать свои результаты. И обратились к великим державам с ультиматумом. Мы оповестили их о своем открытии, способном продлить жизнь

миллионам, а в обмен потребовали немедленного разоружения и уничтожения запасов ядерного оружия. В случае отказа мы намеревались сообщить журналистам, что найдена вакцина против рака, а правительства не принимают наши условия и готовы обречь человечество на все мыслимые муки, лишь бы не разоружаться. На этот романтический шаг могли пойти только неисправимые идеалисты, безнадежно далекие от реальности. Через пять дней после того, как мы выдвинули свой ультиматум, трупы Блейка и Девооса были обнаружены в запертой машине на дне моря. Их оглушили на моих глазах, пока они ждали меня у обочины: по фантастической случайности я отошел от машины пописать. Я видел, как убийцы потом столкнули машину в пропасть. С тех пор я скрываюсь. Я изменил внешность и обжег подушечки пальцев, чтобы избавиться от отпечатков, но они все-таки вышли на мой след, не знаю уж как. В Тринидаде меня едва не прикончили. Я спасся чудом. Со дня на день они доберутся до меня и здесь. На этот счет у меня нет никаких сомнений. Ну а пока я, как видите, стараюсь пользоваться жизнью.

— Браво! — сказал Бизьен.

Кон был польщен. Приятно получить похвалу

от знатока.

— Очень красиво!

— Правда?

— А с ушами вы ничего не делали?

Кон рассмеялся.

— Обязательно расскажите эту историю туристам и организуйте сбор средств в вашу пользу, — продолжал Бизьен. — В ней есть какая-то доля истины, совершенно необходимая, чтобы придать обману правдоподобие и убедительность. Могу даже определить природу номера, который вы здесь разыгрываете.

Широкая улыбка расцвела на губах “бродяги южных морей” и утонула в бороде.

— Я вас слушаю. Повеселите меня.

— Я уже давно к вам присматриваюсь и пришел к некоторым выводам. Ваш “номер” заключается в том, что вы представляете Человека — напишем его, если вы не против, с заглавной буквы, — который возвращается на место преступления и бродит по местам, бывшим некогда земным раем. Я имею в виду не только Таити… Я даже подозреваю, что этот “номер” отвечает какой-то вашей внутренней потребности. В нем ощущается доля бескорыстия… и подлинности.

Кон приподнял капитанскую фуражку в знак

восхищения.

— Люблю, когда меня понимают! — объявил он.

Меева смотрела на них с восторгом. Ее красивое лицо выражало интеллектуальное наслаждение, которое она неизменно испытывала, слушая вещи, абсолютно ей непонятные.

— А не поговорить ли о вас, Бизьен?

Наполеон туризма вздохнул и наморщил лоб, подняв брови так высоко, что они переместились чуть ли не на середину его лысины.

— О, у меня тоже натура творческая, не чуждая стремления к совершенству. В моей судьбе были поистине высокие мгновения. Одно из них я пережил несколько лет назад в Акрополе. Иногда я езжу в разные города и провожу инспекцию, так я оказался и в Афинах. Я сопровождал группу туристов, которые осматривали Парфенон под руководством одного из наших экскурсоводов. Вдруг я заметил, как некая пожилая дама остановилась посреди древнегреческих развалин и указала куда-то вдаль. “Смотрите, смотрите! — воскликнула она. — Отсюда прекрасно виден «Хилтон»!” И она схватилась за фотоаппарат. Образ этой упоительной женщины, фотографирующей “Хилтон” из Акрополя, стал для меня,

пожалуй, путеводной звездой туризма. Вы ведь знаете английское выражение *If you can't lick them, join them!* Если не можешь их одолеть, присоединись к ним! Так я и делаю. Я их поддерживаю. И я не отступлюсь.

Кон встал. Он чувствовал, что они зашли слишком далеко в своих признаниях и лучше расстаться до того, как наступит момент взаимной неловкости. К тому же он боялся себя выдать. Полуденное солнце почти не оставляло место теням, и все выходило на свет. В такие минуты Кон мог сказать что угодно, даже правду.

— Напомните, пожалуйста, Вердуйе, чтобы он принес мне несколько картин, — попросил он, кладя перед Бизьеном счет, который ему подал официант. — Пуччони сегодня приведет ко мне покупателей, а мне нечего им продавать.

Бизьен удивленно посмотрел на него:

— Как? Вы ничего не знаете?

XXVIII. Трагедия подлинности

Кон потрясенно выслушал рассказ Бизьена. Видимо, они оба недооценили талант и творческую цельность этого человека. Проработав больше тридцати лет в манере Гогена, Вердуйе, вынужденный уступить свое место Кону, честно попытался писать в манере Ван Гога, как того требовал уговор. Но у него не получилось. Он добросовестно брал вангоговские сюжеты, но сколько он себя ни насиловал, его стиль не только не приблизился к стилю арлезианского затворника, но даже приобрел неожиданную самобытность, отчетливую индивидуальность — индивидуальность Вердуйе, не интересовавшую никого. Иностранцы, приезжавшие на Таити, признавали живопись либо в стиле Гогена, либо в стиле Ван Гога. Тут срабатывали эмоции, связанные с мифом о “прóклятых гениях”, и картины хорошо продавались. Но ни один человек не хотел покупать какого-то Вердуйе. Здесь не было ничего узнаваемого, связанного с общеизвестными историческими фактами. Вердуйе превратился в оригинального художника — ни-

чего хуже случиться с ним не могло. Пуччони перестал водить туристов к нему в мастерскую. Вердуйе старательно подчеркивал свое внешнее сходство с Ван Гогом — слонялся по улицам в соломенной шляпе, из-под которой лихорадочно блестели исступленные голубые глаза и торчала рыжая бороденка, — но картины его по-прежнему не были похожи ни на что, то есть похожи только на Вердуйе. В общем… — Бизьен беспомощно развел руками. — Он в больнице. Этот маньяк подлинности отхватил себе ухо.

Кон решил, что Бизьен его разыгрывает.

Это было слишком красиво. Он недоверчиво посмотрел на Бизьена, сам по рассеянности заплатил по счету и бросился в больницу. Вердуйе лежал на кровати с перевязанной головой.

Художник, пораженный недугом подлинности, виновато поглядел на Кона.

— Не пошло у меня, — тихо сказал он. — Все, что я делаю, это чистейший Вердуйе!

Кон стоял у кровати, растроганный до глубины души. Он чувствовал, что соприкоснулся с истинным величием. Никогда еще он не встречал такого страстного стремления к творческому идеалу.

— Я даже не могу теперь писать как Гоген, — ле-

петал несчастный Вердуйе. — Нет, вы понимаете? Я пишу как Вердуйе. Кто станет покупать Вердуйе? Я утратил свой талант. Да, да!

— Может, он еще вернется, — сказал Кон.

— Вы думаете?

— Все художники время от времени подпадают под чье-то влияние. У вас сейчас период, когда вы испытываете свое собственное влияние, влияние Вердуйе. Вы с этим справитесь.

— Пуччони больше не приводит ко мне покупателей. Я подохну с голоду.

— Я займусь вами, — пообещал Кон. — Попробуйте писать красивенькие таитянские пейзажи.

— Не получается! Я пишу нечто, непонятное мне самому. И ничего не могу с собой поделать. Это прорывается откуда-то изнутри.

— Пройдет, пройдет, — успокоил его Кон.

Он вышел из палаты удрученный. Если Вердуйе действительно стал оригинален, то он хлебнет лиха.

XXIX. Сигнал тревоги

Держа Мееву за руку, он шел рядом с ней под раскаленным солнцем, оставлявшим для тени лишь жалкие сантиметры, положенные ей по законам полудня. Небо над мачтами было так насыщено светом, что Океану приходилось одному поддерживать в пейзаже синеву, на которой глаз отдыхал от натиска солнца. Кона охватила тоска от всего этого сверкания, он вдруг остро ощутил присутствие своего настоящего “я”, и борьба, которую он вел полтора года, непрерывно перевоплощаясь, чтобы убежать как можно дальше от своей подлинной сущности, показалась ему бесславно проигранной. Скорее всего, виновата была суровая бескомпромиссность солнца, вынуждавшая видеть вещи такими, какие они есть, но он чувствовал себя оголенным и навеки опороченным, как будто бомба Муруроа уже взорвалась посреди земного рая. Он мысленно видел себя в Париже получающим перед Домом инвалидов из рук Власти награду за свою капитуляцию — специально учрежденный для него по такому случаю орден Созвездия Большого Пса.

Он провел рукой по бедрам Меевы — это помогало бороться с чувством вины, охватывавшим его всякий раз, когда он терял контакт с безгрешной природой.

— У тебя самая роскошная задница на Земле, — сказал он, по-джентльменски оставив шанс неисследованным пространствам космоса.

Она улыбнулась от удовольствия. Когда Меева улыбалась, медный цвет ее лица и глаз приобретал золотистый солнечный оттенок.

— Мой немецкий *попаа* говорил, что при такой тонкой талии мой зад напоминает греческую амфору.

Кон почувствовал себя оскорбленным.

— Ну нет! — возмутился он. — Что делать в Полинезии этой старой шлюхе — греческой цивилизации, затасканной до невозможности?

— Откуда мне знать? Не злись.

— Надо быть просто старым похабником, чтобы думать о греческих амфорах, когда под рукой есть такая самодостаточная и прекрасная вещь, как женский зад! Цивилизации несопоставимы между собой! Но люди не успокоятся, пока не загадят все!

Мимо проехал черный “ситроен” губернатора Французской Полинезии с развевающимся

трехцветным флагом и с мотоциклистом впереди. Неожиданно машина замедлила ход, и произошло невероятное событие, не оставившее сомнений в том, что бунтарская пляска человека, который именовал себя Чингис-Коном в честь другого непобежденного смутьяна, подошла к концу.

Губернатор высунулся из машины и приветливо ему кивнул.

После чего “ситроен” продолжил свой путь, а Кон, оглядевшись в надежде, что этот дружеский кивок относился не к нему, а к кому-то другому, был вынужден посмотреть правде в глаза: губернатор Французской Полинезии приветствовал именно его, Кона, причем необычайно любезно.

У него задрожали колени. Это приветствие не могло относиться к отщепенцу Кону, отпетому хулигану и распутнику, чье поведение и само присутствие на Таити было для каждого, кто достоин называться человеком, личным оскорблением и которого только вмешательство Бизьена да тень великого предшественника спасали от высылки.

Следовательно, ответ один.

Губернатор знает, кто он на самом деле.

Кона не держали ноги. Он с перевернутым ли-

цом опустился на скамейку:

— Боже милосердный!

— Что с тобой стряслось, Кон?

— Со мной поздоровался губернатор.

Меева пожала плечами:

— Ты спятил?

— Говорю тебе, он со мной поздоровался.

— Лечись!

Это и впрямь выглядело совершенно невероятным, и Кон засомневался, не померещилось ли ему.

— Ладно, посмотрим, — решил он. — Посидим подождем, пока он проедет обратно.

Долго ждать не пришлось. Правая рука губернатора Кайбас проехал на своей “симке” спустя десять минут. Знакомство Кона с этим государственным мужем было весьма поверхностным и ограничивалось ровно двумя словами: “Чертов босяк!”, которые Кайбас послал Кону вслед, когда тот едва не сбил его на мотоцикле на площади Маршала Жоффра. Однако на сей раз Кайбас резко затормозил и остановил машину перед скамейкой.

— А, месье Кон! Говорят, вы теперь увлекаетесь живописью? Очень бы хотелось выбраться взглянуть на ваши работы… Но, сами понимаете, вечно

не хватает времени… Кстати, вы в курсе, что на Таити приезжает президент в связи с новыми испытаниями на Мурароа? Будет торжественное построение гарнизона и… хм-хм… вручение наград…

— А мне-то что до этого? — в ужасе закричал Кон.

Кайбас улыбнулся:

— Да, да, знаю, знаю… Ну… Отдыхайте, приятных вам развлечений!

Машина уехала. Кон вернулся в фарэ в полной панике, его знобило. Меева решительно схватила бутылку касторки и налила ему большую ложку. У Кона хватило присутствия духа незаметно выплеснуть ее в горшок с геранью, затем он вышел из дому, улегся в гамак, прикрыл лицо капитанской фуражкой и попытался взять себя в руки. Волноваться не стоит, все объясняется просто: история с Гогеном стала для властей хорошим уроком, и теперь все чиновники, от низших до высших, стараются показать, каким уважением, дружелюбием, можно даже сказать, любовью окружены художники на Таити. Он слегка пришел в себя. Гамак висел чуть в стороне от дома, между двумя высокими деревьями, в чьих густо переплетенных ветвях цвело, казалось, неисчис-

лимое множество сверкающих голубых цветов — небо. Где-то далеко, над рифом Уана, рокотал Океан, и это успокаивало, как успокаивают далекие раскаты грома. Кон позвал Мееву, и она прилегла рядом. Ее большое теплое тело защищало его от внешнего мира, как Великая Китайская стена. Закат застал их вместе и одел лиловатым пурпуром, потом опустилась тьма и укрыла их с заботливым участием, которое она испокон веков дарит беглецам.

Кон не спал. Он провел ночь, борясь с волнами, набегавшими на него одна за другой из недр Океана. Самыми сокрушительными были те, что приходили из двадцатого века, но он ухитрялся страдать и от более далеких, идущих действительно из глубины времен, и к двум часам поймал себя на том, что думает о проститутке, которую крестоносцы трахали на алтаре Спасителя в храме Святой Софии во время разграбления Византии. Лучше бы они этого не делали. Волна детей из секты катаров[43], уничтоженных Симоном де Монфором, обрушилась на него незадолго до рассвета, сразу вслед за волной Освенцима, и тут же накатила волна чернокожих

[43] Примечания: 43

Катары — средневековая секта, подвергавшаяся гонениям католической церкви.

рабов, которыми Кон, к своему стыду, торговал на невольничьем рынке в Новом Орлеане, а История по-прежнему преспокойно покачивалась на пенных гребнях, как пробка, и волны продолжали выбрасывать к его ногам обломки прошлого, где тоже не обошлось без его участия и где мелькали лица Робеспьера и Эйхмана. А около четырех утра он уже чувствовал себя в ответе за наводнения во Флоренции, за тайфун Инес и загрязнение атмосферы. Он плавал в поту, *пурау* тихонько покачивали над ним усыпанные лунными цветами ветви, и его раскаяние было столь велико, что он ощущал себя человеком во всей полноте, всеми сразу и каждым в отдельности, и от этого некуда было деться. Иногда он устремлял взгляд к небу и искал среди сверкания световых лет созвездие Пса. Человечное или бесчеловечное? Это было одно и то же. Луна присматривала за своим столовым серебром, пляж хранил первозданную белизну и неомраченные надежды, а светлячки сновали во тьме с фонариками — крохотные Диогены, не прекращавшие вечный поиск.

XXX. Кон – колониалист

Назавтра, когда он проснулся, солнце уже хозяйничало по-полуденному, куры нарушали полинезийский колорит чисто нормандским кудахтаньем, сверкающая лагуна казалась усыпанной битым стеклом. Кон увидел лиловые, желтые, красные цветы, бегущие к нему через банановую рощу, — парео Меевы. Еще не опомнившись от ночных кошмаров, он вскочил с гамака:

— За мной пришли?

— Кон, мотоцикл угнали.

Он пошел за дом, где оставлял по вечерам под гуаявами свою "хонду". Мотоцикла не было. Кон послал в адрес "грязных таитянских макак, которые воруют все, что попадется", серию проклятий, приправленных многочисленными референциями полового характера, ибо именно здесь, в первопричине своего происхождения, люди ищут обычно самые оскорбительные слова. Потом он засуетился, как всякий настоящий буржуа, незаконно лишенный собственности, побежал с жалобой к жандармам и был встречен злорад-

ным хихиканьем — в роли пострадавшего Кон выступал впервые. Его заверили, что мотоцикл рано или поздно найдется в каком-нибудь овраге. Кон в резкой форме выразил свое отношение к тому, как полиция обеспечивает безопасность граждан и охраняет их честно нажитое имущество, и отправился домой пешком. При выходе из парка Республики на него набросилась с дикими криками компания молодых таитян, уже некоторое время шедшая следом. Единственное, что он мог потом вспомнить, это слова “Проклятый янки!”, сопровождавшиеся ударом бутылкой по голове. Он пришел в себя уже дома, в кровати, с мокрым полотенцем на лбу, в обществе Меевы, вопившей, что убили ее *попаа*, встревоженного Бизьена — если это акция, направленная против иностранцев, то для “Транстропиков” она означала начало катастрофы — и отца Тамила, случайно оказавшегося рядом, когда произошло нападение. У Кона так раскалывалась голова, что он даже не выразил недовольства. Физическая боль — отличное средство против страдания другого рода, которое разве что удары по голове могут иногда ненадолго облегчить.

— Что произошло?

Доминиканец воздел руки к небу:

— Вы навлекли на себя народный гнев.

Кон заинтересовался:

— Да что вы? Почему же только сейчас?

— Вы доигрались, месье Кон. Вам же известно, до какой степени таитяне суеверны. На днях — кажется, это случилось, когда лежал при смерти вождь Вириаму, — вы сказали, будто собираетесь поймать его душу и засунуть в двигатель мотоцикла. Туземцы, в сущности, просто большие дети, а вы цинично заявили им, что ваш мотоцикл работает на энергии человеческой души и вы сейчас дождетесь, когда Вириаму умрет, и засунете его душу в бензобак, а потом — и это уже была настоящая провокация, — когда смерть наступила, вы сразу укатили, как будто на самом деле заправились, и даже не попрощались с семьей покойного.

Кон нехорошо посмотрел на Мееву.

— Я рассказала только Полетте Фонг, — пролепетала она. — Я же понимала, что ты шутишь.

— А упомянутая Полетта Фонг рассказала, естественно, всем и каждому, — продолжал доминиканец. — В результате крестьяне толпой явились в Папеэте и утащили ваш ни в чем не повинный мотоцикл. Они разобрали его до последнего винтика, чтобы освободить тупапау

своего возлюбленного вождя, после чего сбросили обломки в океан.

Кон поцокал языком, качая головой:

— И он не взорвался?

— Что?

— Бак. Им крупно повезло. От Таити не осталось бы камня на камне. Для пополнения вашего религиозного образования могу сказать: когда человеческая душа взрывается, происходит по меньшей мере революция. Это же страшная разрушительная сила… Сотни мегатонн.

— Не валяйте дурака, Кон, — сурово сказал Бизьен. — Надо уважать верования этих людей.

Кон все еще не мог прийти в себя. Он никак не ожидал, что его слова кто-то примет всерьез.

— Все-таки забавно, — сказал он. — С чего это таитяне вообразили, будто у них еще есть душа? Мы ее украли давным-давно. Последние остатки находятся в музеях Европы и Америки. Вы же сами знаете, Бизьен.

— Очень смешно, — хмуро сказал Наполеон туризма. — Просто сейчас расхохочусь.

Кон поднес руку ко лбу:

— Так они за это чуть не проломили мне череп?

Тут его ждала встреча с истинным совершен-

ством.

— Нет, вас побили не деревенские, — ответил Бизьен. — Это было бы занятно и, следовательно, полезно для туризма. Пережитки древних верований и так далее… Нет, это не простодушные дикари, а совсем другие.

— Какие другие?

— Продвинутые. Или, если предпочитаете, сторонники прогресса. Те, кто хочет создать независимое индустриальное государство Океания. Они обвиняют вас в том, что вы поощряете дикость и получаете от меня мзду за то, что помогаете “империалистам” держать народ в невежестве и суеверии. Короче, Кон, вы колониалист. Они очень резко настроены против вас, и лучше вам на время исчезнуть. Я не шучу. Они ненавидят людей, которые пытаются сохранить на Таити “чистоту и невинность”, как мы с вами любим выражаться. Вы рискуете головой.

Кон закрыл глаза. Исчезнуть? Он только об этом и мечтал.

— Съешьте конфетку, — предложил Тамил участливо. — Угощайтесь. И оставьте себе всю коробку.

Кон взял шоколадную конфету. Утешение из рук Церкви.

— Куда же мне деваться?

— Можете провести пару недель на полуострове Тайарапу, — предложил Бизьен. — У меня там есть для вас кое-какая работа. Расскажу, когда вам станет получше.

XXXI. Апофеоз Барона

Назавтра Бизьен изложил свой план.

Полуостров Тайарапу был самой неосвоенной частью Таити — нагромождение гор, воюющих с напористой и необычайно буйной растительностью, чей натиск удавалось сдержать лишь самым высоким вершинам. А на побережье обитали в пещерах так называемые дети природы, причем кое-кто из них жил там со времен Первой мировой войны.

— Это единственный уголок Таити, — говорил Бизьен, — действительно заслуживающий названия “земной рай”. Я намерен открыть его для туристов. Туда обещают провести дорогу, но пока что мы организуем доставку людей на пирогах. По-моему, это настоящий эдем, идеальное место для Адама и Евы. Вы ведь помните, сколько у меня было проблем с Сарразеном и его *вахинэ*, которым я доверил эту роль на холме Пуа. Теперь предлагаю ее вам. Мы уже начали работы по установке декораций. Конечно, больше месяца вы вряд ли выдержите, но за это время здесь про вас успеют забыть.

Кон не раздумывая согласился. Он не раз бывал на полуострове Тайарапу и успел познакомиться кое с кем из “белых дикарей”. “Дети природы” стали достопримечательностью Таити, и местные власти всячески их привечали. Бизьен лично следил за тем, чтобы пещеры не пустовали, и постоянно находил для них новых обитателей, платя им по пятьдесят франков в неделю. Это пещерное поселение привлекало туристов со всего мира и было предметом жгучей зависти Диснейуорлда во Флориде. Отважные гости Таити и члены *Club Med* с готовностью пускались в двухчасовое плавание на пироге, чтобы взглянуть на людей, служивших живой связью с каменным веком. Все известные путеводители по Таити упоминали о “детях природы” с ноткой лиризма. “В наш век необратимого прогресса, — писал Жан-Мари Лурсен в труде, опубликованном издательством «Сёй», — утешает и ободряет мысль, что этот край останется, вероятно, еще надолго тайным тихим раем бананоядных Адамов, светлокудрых поклонников бога Пана”. Мысль о боге Пане сразу понравилась Бизьену, и он поручил этнологам разобраться, есть ли хоть малейшая зацепка для установления связи между культом Вакха и Венеры и оргиастическими ритуалами

полинезийцев. Достаточно было бы доказать, что мореплаватели эпохи Гомера побывали на Таити и оставили здесь следы своего посещения, примерно как Тур Хейердал, совершив плавание на “Кон-Тики”, доказал наличие связей между цивилизацией инков и полинезийскими идолами.

Короче, “дети природы” представляли собой бесценный капитал, и Бизьен бдительно охранял их, менял, когда они приходили в негодность, как, например, бывший механик с заводов “Рено”, который, не выдержав, смастерил себе движок и установил в пещере холодильник и электрическую плиту, что Бизьен счел профанацией и надругательством над идеей. Даже самые перспективные из новичков доставляли ему массу хлопот. Так, швед Арне Бьоркман, молодой великан с лицом викинга, который жил в пещере уже около пяти лет и чья борода достигла такой длины, что делала ненужным фиговый листок, стал вдруг капризен и несговорчив. Когда ему запретили глушить рыбу динамитом, он на следующий день принял туристов во фланелевом костюме, замшевых туфлях и при галстуке, сидя в шезлонге со стаканом виски в руке рядом с включенным транзистором и читая роман Скотта Фицджеральда. После этого, хотя и не выдав ему

официального разрешения на использование динамита, власти старательно закрывали глаза на учиняемое им массовое истребление рыбы. Планировалось даже наградить его медалью “За заслуги перед туризмом”. Затем была история с рекламой лимонада “Грейпс”, для которой он очень эффектно позировал. Фото появилось во всех американских иллюстрированных журналах, разъяренный Бизьен пригрозил уволить шведа за вандализм, и только тогда он слегка образумился. Вид этого первобытного красавца, выходящего нагишом из пещеры и потрясающего дубиной, производил необычайно благоприятное впечатление на представительниц слабого пола.

Кон и Меева были не против поработать Адамом и Евой. Бизьен трудился не щадя себя и, несмотря на отсутствие кредитов, готовил фестиваль “Звук и свет”, этакий культурный дайджест, воспроизводящий в миниатюре знаковые моменты человеческой истории — библейские сцены, Парфенон, Распятие и все, что за ним последовало, — причем значительно раньше, чем этим занялись американцы, которые, перехватив идею, начали делать то же самое, только с куда большим размахом.

Кону не терпелось уехать: почтительное при-

ветствие губернатора тревожило его гораздо сильнее, чем удар бутылкой по голове. Пора было пускаться в бега, если он не хотел снова увидеть себя на первых страницах газет, и месяца на полуострове Тайарапу должно было хватить, чтобы в благоприятных условиях, без лишних глаз, подготовить побег на какой-нибудь необитаемый атолл архипелага Туамоту.

По пути на полуостров они остановились в Фареуа: Меева непременно хотела совершить туда паломничество, чтобы положить курицу и несколько банок американских консервов к алтарю Великого белого идола и, по древнему обычаю, прикоснуться к нему лбом, чтобы он даровал им удачу.

Деревня являла собой сплошную строительную площадку. По указанию Бизьена здесь строился ашрам, точная копия ашрама в Пондишери, способный пропустить семьдесят тысяч посетителей в год, из которых примерно шесть тысяч смогут остаться здесь на девять месяцев для медитации. Паава встретил их с распростертыми объятиями и показал проект, сделанный на общественных началах одним из учеников Ле Корбюзье. Решили пока построить что-то поскромнее, а затем уж заниматься расширением. Двести комнат по

семьдесят франков в день, включая обслуживание. “Хилтон” в доле. И все очень своевременно, ибо срочно требуется предложить туристам что-то интересное помимо красот природы. К тому же давно пора Западу создать противовес советской атеистической пропаганде, мобилизовав все духовные ресурсы, включая трансовую медитацию. Предполагалось импортировать из Индии гуру, которые будут постоянно сидеть у входа в ашрам, а заодно, если получится, внедрить культ священной коровы: около ритуальной хижины Кон действительно обнаружил дюжину представительниц крупного рогатого скота, которых фотографировали туристы из Бенилюкса. Внутри была еще одна корова и несколько голландцев, которым Пуччони тихим голосом рассказывал, что первые мореплаватели, прибывшие на Таити из Индии, оставили здесь следы своих верований, которые таитяне стараются теперь возродить.

Большой белый *тики,* такой же чистый и незапятнанный, как на заре культа Человека, восседал на своем алтаре среди коровьих лепешек, заваленный цветами по самую шею, отчего голова, по-прежнему увенчанная серым котелком, казалась отсеченной и смотрелась в этом качестве очень недурно. Вместо ленты котелок

был украшен гирляндой гардений.

Кону показалось, что, когда он вошел, у Барона мелькнула в глазах веселая искорка, но он не был уверен. Мгновение спустя взгляд маленьких голубых глаз вновь стал неподвижен и приобрел отсутствующее выражение, таинственное, как всякая настоящая пустота. Голова иногда слегка вздрагивала, а щеки раздувались, как будто брат пикаро делал бешеные усилия, чтобы не заржать. Вокруг алтаря расположились в живописных позах молодые таитянки и несколько беззубых старух, которые прилежно бормотали молитвы и целовали время от времени ноги белого *тики,* утопавшего в ворохе цветов, так что наружу торчали только голова и ноги в серых гетрах. Это длилось уже полгода, и ни разу живой истукан не вышел из состояния загадочной отрешенности, что позволяло судить о масштабе его амбиций.

Все вокруг было заляпано навозом.

— С ним стало трудновато, — пожаловался Паава. — Отказывается сидеть на алтаре больше четырех часов в день. В остальное время отдыхает у меня в фарэ или исчезает невесть куда. На днях затащил в постель мою *вахинэ* — еще слава богу, что мою, она никому не скажет, а то ведь какой скандал! Шок для верующих, да и миссио-

неры растрезвонят повсюду, сами понимаете. Но Бизьен кое-что придумал. Пойдемте покажу.

Он повел Кона к себе в мастерскую. Там стояла прислоненная к стене великолепная деревянная статуя Барона, точная его копия — в клетчатом костюме, при котелке, перчатках и тросточке, очень профессионально раскрашенная. Она напоминала фигуры, которыми в древности украшали нос корабля. Кон был потрясен. Веков через пять-шесть… Трудно даже вообразить, какой великой религии суждено родиться из мифа о Человеке.

— У Запада еще все впереди, если хотите знать мое мнение, — сказал Паава. — Поверьте, Бизьен — настоящий гений. Говорят, он уже создал в Африке десяток древних цивилизаций. И ни разу не попал в тюрьму, ни разу! Все-таки творческие возможности Человека в самом деле неисчерпаемы, и когда-нибудь, можете не сомневаться, он создаст себя заново, воплотит образ, им же самим от начала до конца выдуманный за минувшие века. Достичь подлинности через самозванство — согласитесь, это красиво!

Кону было так тошно, что хотелось сдохнуть. Меева набрала большой букет цветов и положила к алтарю Человека вместе с отварным цыпленком, пачкой сигарет “Кэмел”, бутылкой виски и

парой банок консервов “Либби”.

XXXII. Адам и Ева в земном раю

Недели, проведенные на Тайарапу, были едва ли не самыми счастливыми и спокойными в жизни Кона. Туристов, готовых плыть два часа на пироге, чтобы увидеть Адама и Еву и “детей природы” в земном раю, находилось немного — в неделю две-три группы человек по двадцать. Они плыли на красно-синих военных *ваа* с двадцатью гребцами каждая: “Транстропики” купили эти лодки за бесценок у кинокомпании, построившей их для фильма “Волшебница южных морей”[44]. Гребцы пели воинственные *утэ*, написанные специально для этой ленты, а пассажиры во время плавания могли видеть на берегу белых, розовых и голубых гогеновских лошадей, оставшихся здесь после съемок “Изгнанника”.

Наполеон туризма все хорошо продумал. Он приказал для удобства экскурсантов выкорчевать джунгли на одном из прибрежных холмов. Холм был невысокий, но с него открывался роскошный вид на лагуну с ее причудливыми мадрепоровы-

[44] Примечания: 44

Возможно, имеется в виду фильм Ф. В. Мурнау “Табу: история южных морей” (1931).

ми башнями и на три рифа Хуту-Хуту. Хуту-Хуту был древним богом, сменившим других, менее могущественных богов, и, когда он бывал недоволен каким-нибудь своим творением, он швырял его в море. Так появились многие острова Туамоту и добрая треть Маркизских. Так рассказывала Меева, неспешно расчесывая свои великолепные волосы, а Кон лежал рядом с ней на песке, казавшимся ночью еще белее. Она сидела у края тьмы, выделяясь на фоне Млечного Пути, словно великанша, собирающая гребнем звезды с неба.

В лунный час на горизонте бродили грозы и рассекали твердь огненными зигзагами с сокрушительной силой тех далеких времен, когда еще можно было увидеть, как в воду обрушиваются обломки неба. Немые грозы. Их голос не долетал до земли, его не пропускал привратник, оберегавший сон арий, ибо облака были дворцами, где спали властители небесных архипелагов после нелегкого дня управления миром. Звезды падали непрерывно — это арии сбрасывали неверных жен с небесных утесов. Впрочем, неба не существовало, это была “другая земля, на которой жили иначе”. По Млечному Пути, который был в действительности “длинной голубой акулой, пожирательницей юных облаков”, скользили

время от времени неясные блуждающие тени, и среди них “тени истинных королей, свергнутых узурпаторами Помаре”. Так пела Меева, сидя у края неба, своим глубоким голосом, в котором иногда пробивался странный гортанный акцент Туамоту, похожий на германский. Некоторые говорили, что падающие звезды — это вестники, летящие по поручениям богов, другие — что это знак рождения великих людей. Но небесная земля не была заселена полностью — там пока еще царила ихоидо, пустота, что вселяло надежду, ибо там “ничего еще не произошло, и все еще может быть”. Луна — женщина дурного поведения, она выходит только по ночам, и облака толпятся вокруг, чтобы заслонить ее, когда она занимается любовью. Настоящие имена Близнецов — Пипири и Рехуа, но это тайна, потому что они незнатного происхождения. Настоящее название Плеяд, неведомое для *попаа,* — Матарии, “Маленькие глазки”, это лазутчики воинов, которые должны вернуть землю истинным богам, ждущим своего часа. Венера меняет имена утром и вечером, в зависимости от одежд, в которые облачается. Ее зовут Фетиа-ао на рассвете, и Тауруа-о-хити-ите-а-хиахи вечером, когда она надевает самые красивые свои наряды и ждет

“бесконечного бога”. В точности как Меева, чей силуэт заслонял на небе несколько миллиардов светил, и, когда Кон наконец соединялся с ней, ему казалось, будто он углубляется в Млечный Путь. Потом, проявив себя наилучшим образом, он гордо задирал голову в поисках новых звезд, которые он, вне всякого сомнения, рассеял по небосводу.

Утром они выходили из хижины и окунались в воду, вновь обретавшую на солнце изумрудную яркость; лишь узкая прибрежная полоса отливала сначала желтизной, потом опалом над матовой белизной кораллов и перламутра, раздробленных в пыль непрерывным прибоем. Рядом вертикальный склон горы выставлял все оттенки охры против натиска штурмующих вершину буйных зеленых полчищ, тащивших наверх белизну гардений, пурпур цезальпиний и желтизну неувядающих цветов *пурау*, в то время как стволы бамбука, высокие, словно дубы, покачивали над неуемной пехотой кавалерийскими плюмажами. Кон поворачивался спиной к этим воинственным армиям, готовым разыграть какое-нибудь растительное Ватерлоо или Аустерлиц — казалось, оттуда вот-вот донесется: “Ни шагу назад! Победа или смерть!” Он спус-

кался вниз, к пляжу, входил в воду и отдавался ее ласкам. Меева догоняла его и шла вперед, с цветком за ухом, подставив лицо и грудь солнцу, потом плавала по коралловым гротам, и за ней тянулся по воде длинный шлейф волос — порой в них запутывались бурые водоросли и крохотные морские сагиттарии с желтыми клубеньками. Иногда она забиралась на коралловые башенки, закрывала глаза, поднимала к небу лицо с плоским кошачьим носом и затягивала монотонную песню, в которой отчетливая интонация счастья заменяла мелодию и слова. В такие минуты она возвышалась над Океаном словно необитаемый остров, давняя мечта Кона, остров, где человек еще может начать все сначала.

Их хижина пряталась за кокосовыми пальмами, в десятке метров от одного из бесчисленных водопадов, опутавших белыми нитями весь полуостров. Его бурление поначалу раздражало Кона, напоминая обо всех виденных прежде горных водопадах. С этими звуками в таитянскую глушь вторгалась Швейцария и Юбер Робер, Кону виделись стада овец, пастухи, слышалась музыка Рамо. Но вскоре он привык и перестал обращать внимание. На вершине очищенного от растительности холма стояли пластиковые яблони.

Две в цвету, а третья, под которой должны были сидеть Адам и Ева, вся в искусственных плодах. Нейлоновый змей, черно-зелено-желтый, безжизненно болтался на ветке. Он был подключен к батарейке и приводился в движение с помощью рычажка, который Кон незаметно включал. Тогда змей приподнимался и, завлекательно изгибаясь, протягивал ему в зубах яблоко.

Кон и Меева, совершенно голые, если не считать стыдливых узких трусов, сидели под яблоней; Меева пряла на французской прялке XV века, что было анахронизмом, но придавало всей сцене некую пасторальную достоверность. Туристы щелкали фотоаппаратами и задавали Кону вопросы, на которые тот отвечал ласково, с благостной улыбкой. Почему у него возникло желание покинуть цивилизацию и вернуться к природе? Кон говорил, что всегда лелеял мечту о земном рае и теперь решился ее осуществить. Чем он занимался до возвращения к истокам? Кон отвечал в зависимости от настроения и выражения лица клиента. Например, что он был редактором крупной вечерней газеты в Париже, но потом у него случился душевный перелом. Или что он не мог больше мириться с отравлением человечества выхлопными газами и ядом

идеологий. Или что хотел служить укреплению культурного престижа Франции в мире. Временами его душила ярость. Ему безумно хотелось встать, отвести кого-нибудь из туристов в сторонку и прошептать:

— Слушайте, может, вас заинтересует, у меня тут есть открытки с настоящей клубничкой — “Адам и Ева в земном раю”. Двадцать пять долларов за комплект, идет?

Мысль о том, что Адам и Ева позируют в эдеме для порнографических открыток, казалась ему блестящей, он считал, что это единственное упущение во всем бизьеновском замысле. Страсть к совершенству не оставляла его.

Однако Пуччони был настороже, а Кон не мог позволить себе роскошь рассориться с Бизьеном. Пуччони объяснял туристам, что библейский маршрут был создан в память о короле Помаре Пятом, который переводил Библию на таитянский язык, и это была чистейшая правда, как и то, что король умер от пьянства.

Иногда по ночам, лежа на циновке, Кон слушал шум волн, и ему казалось, что он различает в нем голос Христа, который, хотя и дал сам себе обет невмешательства, все же не в силах порой сдержать рокот ужасного гнева, когда-то так

страшившего людей, но потом превращенного фальсификаторами в лепет согласия и покорности, дабы склонить массы к послушанию.

Следы человека изглаживались с наступлением сумерек; появлялись ржавые луны у края фиолетовых туч, не оскверненные ни единой попыткой запечатлеть их с помощью кисти. Кон выходил голый из хижины. Океан с ревом бросался к нему, разделяя, похоже, негодование, накопленное за всю историю бытия; беззвучно струился водопад, заглушаемый грохотом камней в полосе прибоя; белые небесные колесницы, взметнув пурпурную пыль, перемахивали через гору и скрывались из глаз. Тогда Кон, чтобы выйти из категории бесконечно малых величин и вновь обрести достоинство, принимался насвистывать что-нибудь из Бетховена или Баха: вот так-то, мы тоже кое-что можем.

XXXIII. Ловушка для Кона

В пещерах восточной части полуострова обитало около полудюжины “детей природы”, но большинство сейчас составляли новенькие. Как сказал однажды Бизьен шведу Арне Бьоркману, это были либо белые, затравленные травлей негров в Южной Африке и искавшие на земле уголок, которого травля южноафриканских негров еще не коснулась, либо люди, порвавшие с обществом, но не порвавшие с чувством вины из-за того, что они порвали с обществом. Эти невротики были здесь на плохом счету, им хотели даже запретить селиться на полуострове, потому что они приезжали сюда со спальными мешками, термосами и прочим оснащением из магазина военных товаров, чем нарушали первозданный пейзаж и идиллическое ощущение затерянности в дебрях дикой природы, ради которого сюда так стремились туристы. Ветераны пещерной жизни написали протест в Папеэте и встретили полное понимание: теперь, чтобы стать “детьми природы”, нужно было подать заявление на специальном бланке, получить

разрешение администрации и удостоверение с гербовой печатью.

В числе немногих, считавшихся “действительно настоящими”, был некий Маэ, чья пещера находилась меньше чем в километре от хижины Кона. Бизьен считал Маэ особо ценным экземпляром, потому что тот был настолько волосат, что его шерсть казалась скорее частью растительности острова, нежели его тела. Гид Пуччони не упускал возможности поведать туристам о трагических событиях, толкнувших Маэ на стезю мрачного отшельничества на берегу Океана.

Рассказ Пуччони варьировался в зависимости от обстоятельств, но суть оставалась неизменной. Идея, разумеется, принадлежала Бизьену. Маэ, как и Кон в начале своей карьеры, стал живописным элементом современной мифологии, без которого не могли обойтись сегодня ни кино, ни литература, — он стал “бывшим”. Бывший сталинист, сломавшийся на венгерских событиях; бывший капитан-десантник, воевавший в Алжире; бывший голлист, ставший оасовцем; бывший американский летчик из Вьетнама, терзаемый угрызениями совести и истязающий себя всяческими лишениями; бывший идеалист, разочаровавшийся в человечестве и не против-

ший ему этого; раскаявшийся бывший нацист; бывший хирург, специалист по абортам, которому не дает покоя мысль о его преступлениях, поэтому он каждое утро просит у природы прощения и целует головки цветов, напоминающие ему головки не рожденных по его вине детей. Последний вариант особенно нравился Маэ, и, когда было настроение, он выходил из пещеры и целовал цветы, что неизменно вызывало обильные слезы у экскурсанток.

— Он страдает, — лаконично пояснял Пуччони.

Кон считал себя одним из величайших ныне живущих специалистов по “бывшим”, однако признавал Маэ если не равным себе, то, по крайней мере, достойным соперником и собратом по оружию. Иногда они очень весело проводили вместе часок. Маэ поведал Кону, что на самом деле он бывший парижский таксист, которому осточертели пробки, и место пещерного отшельника, полученное им благодаря мохнатому торсу и секретарше Бизьена, питавшей слабость к волосатым мужчинам, имело в его глазах одно-единственное неудобство: слишком напряженный график общения.

Для немецких туристов он придумал специальный вариант “бывшего”, очень им гордился,

и текст, произносимый Пуччони, был кратким, но впечатляющим. Он указывал туристам на Маэ, который стоял к ним спиной и смотрел на Океан, словно отвернувшись от мира и от своего прошлого:

— Нам неизвестно, кто он такой, хотя есть основания полагать…

Тут Пуччони делал многозначительную паузу, потом, словно наконец решившись, продолжал:

— Одно мы знаем наверняка: это не Борман.

Действовало безотказно.

Кон и Маэ часто виделись, но строго соблюдали корректность в вопросе о прошлом и подлинных именах друг друга, ибо этикет профессии требовал не вынуждать воображение коллеги работать вхолостую, дабы оно не изнашивалось зря и сохраняло бодрящее обаяние загадочности и свежесть тайны, столь необходимые в ремесле пикаро. Иногда Кон признавался, что сделал для Франции водородную бомбу, которую скоро взорвут на атолле Мururоа, и его потянуло, как убийцу, на место преступления. На это Маэ отвечал, что является изобретателем талидомида и повинен в рождении тысяч детей-уродов. Все это было отчасти правдой: или ты человек, или не человек, но если все-таки человек, то ты — это не

только ты, а все люди, какие есть на земле. Кон прекрасно знал, что Маэ не шофер такси, точно так же как Маэ знал, что Кон никакой не Кон, и этого было достаточно для взаимного уважения.

В демистифицированном мире мистификация стала физиологической потребностью, искусственным дыханием, жизненно необходимым, пока не восстановится естественный и свободный ритм сердца.

Нейлоновый змей-искуситель тихо покачивался на пластиковой яблоне, а туристы внимали рассказу Пуччони:

— Недавно мы приступили к осуществлению идей великого короля Помаре Пятого, переводчика Библии на таитянский язык, мечтавшего, чтобы его любимый остров стал живой иллюстрацией к его любимой книге.

Иногда их навещал преподобный Тамил. Он выкуривал трубку в обществе Кона, который на все лады воспевал перед ним немеркнущее величие красивого женского зада. Доминиканец одобрительно кивал и уходил, не забыв оставить коробочку шоколадных конфет, которые Кон, обожавший сладкое, мог поедать в любых количествах. Однажды он долго слушал, как Кон воспевает формы Меевы, после чего сказал:

— А вы знаете, что, по Бовису, материализм был для древних полинезийцев проклятием Те-Фату, когда от человека после смерти не остается ничего?

Вот кто был настоящим змеем, которого стоило бы посадить на дерево вместо нейлонового. Прощаясь, он сделал вороватое движение, пряча что-то под сутану.

— Что это у вас там?

— Где? А, это? Ничего. Газета. Позавчерашняя.

У Кона потекли слюнки. Нет, он ни за что не станет спрашивать, что нового в мире. Лучше сдохнуть. А змей-доминиканец махнул на прощание рукой, даже не предложив заглянуть в газету. Кон вынужден был сам протянуть к ней руку.

— Ладно, оставьте мне ее. Я ведь знал, что вы пришли в мой маленький рай, чтобы его разрушить.

У доминиканца мелькнула на губах далеко не христианская усмешка, он положил “Фигаро” на стол, вышел и исчез за стволами пальм.

Кон провел ужасную ночь.

Он опять промахнулся, бомбя Камбоджу, и стер с лица земли дружественную деревню — мужчин, женщин, детей. Он ошибся жертвами — мужчинами, женщинами, детьми. Это оказались не те.

В Китае вместе с хунвейбинами он избил ногами и прикончил дубинками “гнусного уклониста” и обрил наголо знаменитую артистку Пекинского оперного театра, обвинив ее в ревизионизме. После этого она выбросилась с одиннадцатого этажа. Что ж, очко в пользу маоистского Китая — у них там, оказывается, есть одиннадцатиэтажные здания.

В Бразилии он вызвал страшное наводнение — больше тысячи погибших и пропавших без вести.

Дальше выяснилось, что он слишком быстро размножается. Если так пойдет, то планета скоро не выдержит и треснет под тяжестью четырех миллиардов жителей. Неудивительно: ему всегда говорили, что он слишком много трахается.

Кроме того, он устроил землетрясение в Чили и убил в Париже старуху, чтобы украсть у нее тридцать франков. В Лионе в довершение всего он избил до смерти свою трехлетнюю дочь.

Зато в Германии он изобрел новое удобрение, которое может даже самую скудную почву сделать плодородной. Наконец-то евреи станут для этого не нужны.

В Индии он оставил толпы людей умирать с голоду, а в Нигерии уничтожил двадцать тысяч

человек из враждебного племени, включая детей и женщин.

В общем, старый девиз “Женщин и детей вперед” на глазах менял значение и для поколения самое позднее двухтысячного года обещал обрести новый смысл, неизвестный благородным капитанам прошлого.

Он прочел также, что его брату Океану грозит опасность, ибо он, Кон, вылил в его воды сотни тонн мазута, а заодно отравил воздух в городах окисью углерода. И в довершение всего отказался сдать в Париже комнату какому-то студенту из-за того, что он негр.

Кон страдал. У него болело все тело — от Северного полюса до Южного, на западе и на востоке. Он наглотался аспирина и среди ночи попытался найти прибежище между бедер Меевы, а она пробормотала: “Ох, как же тут москиты кусаются!” — и даже не проснулась. Кона охватило чувство бессилия, которое проявление мужской силы только обострило. Люди все-таки неправильно употребляют выражение “мужская сила”. Однако он проявил ее еще раз и остался собой доволен. Определенно у него была очень богатая внутренняя жизнь.

Наутро он выглядел так скверно, что Меева, ни

слова не говоря, потянулась к бутылке касторки. Кон раскричался: у них с Гогеном по крайней мере одна общая болезнь — геморрой, и врач сказал, что все из-за этой вечной касторки, которой она его пичкает. И в самом деле, перед приходом туристов у него начались адские рези в заднем проходе, как будто там поворачивали кинжал. Он засунул туда палец, нащупал что-то твердое, ловко подцепил и, вопя от боли, извлек наружу инородное тело.

— Кон! Что с тобой?

Кон с изумлением смотрел на крохотный, не больше рисового зернышка, круглый кусочек металла. У него не было ни малейшего представления, что это такое. Одно он понимал ясно: невзирая на его двухлетние старания освободиться от мира и от самого себя, очиститься — причем не только в физиологическом смысле, — предмет, только что извлеченный им из собственного зада, не был ни миром, ни им самим, хотя ему тут же вспомнились бессмертные слова Гамлета: “Я мог бы замкнуться в ореховой скорлупе и считать

себя царем бесконечного пространства”[45].

Меева осторожно потрогала загадочный предмет.

— Что это за железка, а, Кон?

— Что бы это ни было, раз она оказалась там, значит, я ее проглотил и…

Он пристально вгляделся в кусочек металла. Ужас шевельнулся в нем. Он побледнел.

— О господи! — прошептал он, едва не лишившись чувств.

Он выбежал из хижины, схватил кокосовый орех и, положив шарик на камень, разбил его, орудуя орехом как молотком. Ему хватило одного взгляда. Перед ним был микроскопический радиопередатчик, своего рода рыболовный крючок современных спецслужб, который они ухитряются дать заглотать тому, кого боятся упустить. Эта электронная дрянь испускала волны на три километра, а то и дальше. Гады, они наловчились засовывать микрофоны в маслину из мартини, вставлять “жучки” в стены…

Они нашли его. Они знают, кто он такой. Вот

---

[45] Примечания: 45

Цитируемая реплика Гамлета в переводе М. Лозинского полностью звучит так: “О боже, я мог бы замкнуться в ореховой скорлупе и считать себя царем бесконечного пространства, если бы мне не снились бурные сны”.

почему сам губернатор не удержался и поприветствовал его.

Но кто, где, каким образом заставил его проглотить это проклятое чудо техники?

На миг у него мелькнула действительно непереносимая мысль, он бросил подозрительный взгляд на Мееву, но в ту же секунду догадался.

— О дьявол! — взвыл он. — Конфеты! Чертов монах! Стукач!

Кон кинулся в дом и схватил коробку конфет, которую ему оставил Тамил: он приносил их каждый раз, когда появлялся на полуострове. В коробке оставалось еще около двадцати штук. Кон взял одну и ударил по ней орехом — электронные внутренности крохотного передатчика вывалились на камень. Кон хотел сесть, но у него подкосились ноги, и он потерял сознание.

XXXIV. Профессионалы

Человек, чье имя было не Виктор Туркасси, хотя именно так он зарегистрировался позавчера в гостинице, сидел в пижаме на краю кровати и, стуча зубами, пытался надеть носок.

Его знобило, руки тряслись, нога никак в носок не попадала, а тому, кто должен был через час или два стрелять из револьвера, это не сулило ничего хорошего. Последние тридцать восемь часов он пролежал под одеялом с температурой сорок один, не решаясь даже позвонить и попросить чаю, потому что боялся в бреду сказать лишнее. Он подхватил малярию в Северном Вьетнаме, где провел некоторое время на рисовых полях, выполняя особое задание, но скрывал это от начальства, потому что никто не стал бы посылать за границу агента, способного в любой момент начать бредить, а человек, которого звали не Виктор Туркасси, не собирался доживать остаток своих дней кабинетной крысой.

Ему все-таки удалось натянуть носки и одеться: филиппинский чесучовый костюм, калифорнийская рубашка в цветочек и соломенная шляпа,

купленная в Вайкики, где он недавно провел три месяца, занимаясь оздоровлением агентурной сети, в которую просочились китайцы. По этой части он был асом. После ареста полковника Абеля в США он в одиночку произвел зачистку организации, которую ФБР и ЦРУ уже практически держали в руках. Человек, которого звали не Виктор Туркасси, знал себе цену, и его оскорбил приказ вылететь на Таити с заданием, напомнившим ему времена, когда он был простым исполнителем. Расшифровав радиограмму, он впал в раздражение, повинное отчасти в приступе малярии, задержавшем выполнение приказа на два дня. Разумеется, его выбрали только потому, что он находился в тот момент в Гонолулу и оказался единственным свободным агентом в регионе. Но он уже лет восемь не держал в руках оружия и даже не носил его при себе: все такого рода дела давно перешли к его подчиненным. И вот теперь он сидел на кровати и собирал американский кольт из множества частей и деталей, рассованных по карманам и по разным углам чемодана. Руки все еще дрожали, и он десять минут прилаживал пружину затвора. Многообещающее начало! Придется стрелять в упор: в таком состоянии он мог не попасть в человека с трех метров.

Мысль, что придется выступать в роли киллера, при его-то звании и квалификации, была ему глубоко отвратительна. Потом он, конечно, потребует объяснений, но сейчас хочешь не хочешь надо выполнять приказ, переданный с кодом, означавшим первоочередную срочность — инфляция первоочередности была причиной постоянных трений в их ведомстве — и особую важность. Только трижды за всю свою карьеру он получал такие “горячие” инструкции. Однако сейчас во всем этом чувствовалась какая-то поспешность, непродуманность и, попросту говоря, неразбериха. Он понял это мгновенно. Распоряжение явно основывалось на сведениях, полученных с Таити, то есть из местного источника. Он тут же среагировал и попросил вывести его на связь с информатором. Ответ пришел за два часа до вылета, и имя было помечено двумя крестиками, что означало “двойной агент”, а в сопроводительной инструкции говорилось, что надо воздержаться от любых контактов с ним в ходе выполнения задания. Иначе говоря, жизненно важная операция планировалась на основании данных, поступивших из сомнительного источника.

Но верхом нелепости был условный код “звез-

да-звезда", так называемое требование личной безопасности, что всегда смешило его, но в данном случае выглядело просто-напросто бюрократическим идиотизмом. Код "звезда-звезда" означал, что, если вас убьют, тело должно быть ликвидировано во избежание проблем с полицией и прессой. Такое предписание предполагало наличие по крайней мере еще одного агента, если не целой местной сети. А его посылали на задание одного. То есть, если его пристрелят, он должен убрать потом собственный труп. Человек, которого звали не Виктор Туркасси, был настоящим профессионалом, и его злила такая небрежность. По опыту он знал, что она всегда влечет за собой риск и в большинстве случаев — провал операции. И вдобавок никакой "общей ориентировки", вообще ничего. Срочно лететь на Таити, убрать художника Кона, Чингис-Кона — странное имя, скорее всего псевдоним, — и незаметно изъять все его бумаги, а также электрическую бритву и зубную щетку, тоже электрическую. Бритва и зубная щетка, видимо, содержали микрофильмы, но и тут никаких уточнений он не получил. Вероятно, это было как-то связано с грядущими ядерными испытаниями на Мururoa, но все равно непонятно, почему надо посылать на такое

задание разведчика его класса, не снабдив хоть какой-то информацией.

Сразу по приезде он взял в аренду автомобиль, отправился к дому художника, изучил обстановку, но внутрь проникнуть не удалось. Там были люди — монах-доминиканец, еще какой-то мужчина и молодая женщина, они стояли у порога и разговаривали. Он припарковался чуть поодаль и стал ждать, пока они разойдутся, но тут дали себя знать первые признаки малярии — он еле успел доехать до гостиницы, рухнул на кровать и почти сразу же впал в беспамятство. Сокрытие болезни было единственным изъяном в его безупречной служебной биографии. Сделка с профессиональной совестью во имя любви к профессии.

Он зарядил револьвер и сунул его в карман. Он настолько от этого отвык, что чувствовал себя чуть ли не американским гангстером. Это было все равно что послать полковника генерального штаба в штыковую атаку. Либо дело и вправду превосходило по важности и срочности все остальное, либо в Москве кто-то спятил.

Человек, которого звали не Виктор Туркасси, был по национальности грузин, имел борцовский торс, густые черные брови, казавшиеся еще гуще и чернее из-за огромной лысины, по обе стороны

которой две длинные пряди волос были тщательно зачесаны за уши. Большой нос над короткими усами и глаза цвета спинки майского жука. Ему часто говорили, что он похож на Кагановича, сподвижника Сталина.

Он вышел из гостиницы, сел в “фольксваген” и поехал в Пунаауиа. Оставил машину в километре от фарэ художника и пошел дальше пешком.

Он обогнул дом и осторожно приблизился к двери. В его подготовке был один пробел, более чем существенный для такого рода миссии, — он не знал, как выглядит человек, которого надлежит убить. Он решил войти, как бы намереваясь купить картину, убедиться, что перед ним именно тот, кто надо, и тогда уже действовать. Если там окажутся посторонние, то, учитывая срочность задания и то обстоятельство, что он не может себе позволить оставлять свидетелей, церемониться он не станет. Лагуна рядом, в тридцати метрах, и скоро стемнеет.

Дверь была не заперта, он услышал в доме какой-то шорох. У него не было причин прятаться: он уверенно вошел и закрыл за собой дверь. Он очутился в мастерской, почти совсем пустой, только в углу стояло несколько картин. В глубине висела занавеска из бамбука и ракушек. Он подо-

шел к ней и хотел отодвинуть.

Когда он увидел торчавший оттуда ствол револьвера, у него не сработал профессиональный рефлекс. Точнее, сработал рефлекс пятнадцатилетней давности, когда от него требовалось не размышлять, а действовать. К нему словно вернулась молодость и с ней все ошибки и опрометчивость новичка. Он отпрыгнул в сторону, выхватил оружие и выстрелил — одновременно с человеком за занавеской.

Тот, кто не был Виктором Туркасси, получил пулю в правый бок. В ту же секунду он услышал крик и стук упавшего тела. Он отдернул занавеску.

На полу, раскорячившись, прислонившись спиной к стене, сидел китаец, толстый, лоснящийся, в дорогой одежде, обхватив обеими руками живот, словно ребенка. Он плакал, и человек, который был не Виктором Туркасси, понял, что перед ним дилетант. А заодно понял, что у него самого задеты печень и почка и его грузинского здоровья, считающегося самым крепким в мире, хватит в лучшем случае на четверть часа. А минут через двадцать — двадцать пять он умрет.

Китаец продолжал плакать. Рядом с ним на полу валялись револьвер, электробритва и зубная

щетка. Комнату окутывали сумерки, снаружи доносились мирные звуки вечного лета.

Грузин все еще стоял. Но не за счет своего богатырского здоровья, а исключительно за счет воли. Он поймал себя на том, что думает о жене и сыне, оставшихся в Москве, и тут же сказал себе, что при его профессии лучше было не иметь ни жены, ни сына. “Звезда-звезда”. Надо срочно, любой ценой избавиться от своего тела, прежде чем умереть. Он шагнул к двери, решив добраться до лагуны, но едва не потерял сознание и рухнул в плетеное кресло рядом с китайцем. Потом увидел бритву и зубную щетку и поддел их ногой.

— Что там в них? — спросил он по-английски.

Чонг Фат посмотрел на него с нежным упреком. Нежность относилась к самому себе, упрек — к противнику.

— Американец? — выдохнул он. — Но тогда… почему? Я работаю… на американцев… я тоже… за свободный мир… За что вы меня убили? Кто… кто вы?

— ЦРУ.

— Почему меня не предупредили? Агент ЦРУ здесь — это…

Человек, который не был Виктором Туркасси, сам удивился своей непроизвольной реакции: за

несколько минут до смерти он жадно следил за губами китайца, стремясь узнать имя агента ЦРУ на Таити. Но Чонг Фата начало рвать.

— Господи, — прошептал он, — мне плохо… Я умираю… Зачем вы меня убили? Я работаю на вас, на ЦРУ. Почему…

— Вы первым выстрелили…

— Я думал, вас послали китайцы, — пролепетал он. — Они преследовали меня… Я увидел револьвер… Испугался…

Человек, который уже почти не был Николаем Васильевичем Орджоникидзе, сидел в кресле очень прямо, откинув голову назад и теряя кровь. Он видел перед собой толстого китайца, двадцать толстых китайцев, и все они описывали в воздухе плавные круги. Но, слава богу, он хоть не видел больше лиц жены и сына. Лучше уж так, чтобы перед смертью понапрасну не отвлекаться.

Он указал на электробритву:

— Микрофильм?

— Нет! Там ничего нет! — простонал Чонг Фат. — Нас обманули… Я все осмотрел… Ничего! Вещи… из магазина… “Вестингауз”… Езус-Мария!

Полковник Николай Васильевич Орджоникидзе стиснул подлокотники кресла и закрыл глаза.

— Зря! — крикнул Чонг Фат. — Все зря! Вы уби-

ли меня зря, ни за что ни про что!

Нет. Не зря. Виноградники и кавказские девушки его юности встали у него перед глазами. Ради них. Он услышал шаги и открыл глаза. Бамбуковая занавеска шевельнулась, и над ним склонилась какая-то белая фигура. Он сделал усилие, чтобы умереть, пока еще не поздно. Ему случалось видеть, как люди с последним вздохом выдают всех.

Борясь с остатками жизни в себе, он резко встал в надежде, что это последнее резкое движение его прикончит.

Человек, которого звали не Тамил, смотрел на едва державшегося на ногах незнакомца с лицом турка и фигурой борца. Он обхватил его за плечи, заставил снова сесть, быстро произвел осмотр. Пуля в печени.

Затем он наклонился к умирающему будде, который стонал на полу, держась за живот.

— Вы болван, Чонг Фат. Я же велел вам сидеть тихо.

“Лучшая кантонская кухня” на глазах уходила в небытие. Китаец устремил на Тамила глаза, расширившиеся от боли и страха до такой степени, что перестали быть раскосыми. За окнами Океан с яростным грохотом кидался на риф.

— Китайцы… заставили меня… работать на них, — пролепетал он. — Родственники… одиннадцать человек… заложники в Кантоне… Но я работал… на американцев… по убеждению… чтобы искупить… Против… красных китайцев…

— А на нас? — спросил Тамил. — Из патриотизма?

На лице китайца появилась умильно-мечтательная улыбка.

— Я… француз… я был поваром… Тихоокеанский батальон… Бир-Хакейм[46]… “Сражающаяся Франция”[47]… де Голль… патриот… крест “За боевые заслуги”…

Монах-контрразведчик почувствовал спазм в горле: единственный в мире китаец, говоривший с неподражаемым акцентом корсиканских жандармов, вот-вот должен был присоединиться на небесах к своим предкам-галлам.

— Но все это не объясняет, зачем вы работали еще и на русских, — мягко сказал он.

Чонг Фат из последних сил выдавливал из себя

---

[46] Примечания: 46

Бир-Хакейм — местность в Ливии, где в 1942 г. французы прорвали окружение армии Роммеля.

[47] Примечания: 47

“Сражающаяся Франция” — возглавляемое де Голлем движение за освобождение Франции от фашистской оккупации (до 1942 г. называлось “Свободная Франция”).

слова оправдания:

— Они… знали, что я… работаю на китайцев… угрожали… сообщить… американцам… Шантаж…

Агент четырех держав пробормотал что-то еще, но получилось одно бульканье, а в глазах уже начинало застывать безграничное удивление, и тот, кого звали не Тамил, узнал в нем выражение глаз целого поколения. Сзади послышался шорох, он обернулся: второй болван с нетерпением ждал смерти первого.

— У вас есть еще какие-то планы? — спросил француз холодно.

Бывали минуты, такие, например, как эта, когда его охватывала бешеная ненависть к своей эпохе и к тем, кто ее такой сделал, — к самому себе в первую очередь.

Человек, который не был Виктором Туркасси, ощутил прилив сил — последняя попытка самозащиты сердца, которое вот-вот разорвется.

— Я офицер советских спецслужб.

— Очень приятно. — Кипя от ярости, француз указал на кресло. — Садитесь. Сигарету? Что вам предложить выпить? Виски, водку?

— Франция и Советский Союз…

— Понимаю.

— Наши народы… Вам нет никакой выгоды в том, чтобы полиция… обнаружила меня здесь. Во имя дружественных отношений…

— Между нашими двумя странами, так-так…

Великан прислонился к стене:

— Ликвидируйте… мое тело…

— Ладно, но при условии, что вы скажете свое настоящее имя, — быстро ответил француз. Он просто не мог упустить такой случай. — Вы слышите меня? Мы ведь все равно узнаем, но вы сэкономите нам несколько недель… Скажите свое настоящее имя, и обещаю бросить вас в море, как только вы умрете… или даже раньше, если хотите. Идет?

Человек, которого звали не Виктор Туркасси, опустил голову. Он напоминал быка, готового упасть на колени.

— О’кей, — сказал он наконец.

Потом поднял глаза.

— Виктор Туркасси, — выдохнул он и упал на руки человеку, которого звали не Тамил.

XXXV. Гром и молния

Кон греб с неутомимостью викинга, соперничая в скорости с полинезийскими вождями, и пирога перелетала с волны на волну с такой легкостью, что ему казалось, будто Справедливость, Достоинство и Права человека гребут вместе с ним, хотя подвесной мотор тоже, бесспорно, облегчал дело. Мысль, что враг коварно проник в его утробу и, не засунь он отважно палец в недра организма, иллюзия безопасности не развеялась бы до сих пор, приводила Кона в неистовство, которое его брат Океан полностью разделял. Кон оставил на полуострове заплаканную Мееву, тщетно вопрошавшую, какой тупапау, какой злой дух вселился в ее *nonaa*, и теперь у него было одно-единственное желание — добраться до проклятого шпиона Тамила и отправить его месяца на полтора в больницу, желательно в гипсе. В деревне Фиваэ в ожидании водителя стоял местный автобус, явно ниспосланный ему Высшим Правосудием, и Кон, к великой радости пассажиров, решительно уселся за руль и рванул с места, а Куоно, шофер, бежал за своей машиной,

крича: “Пожар! Пожар!” — единственное слово, которое он мог нормально выговорить.

В течение пяти часов, выгружая постепенно пассажиров, клетки с курами, велосипеды и корзинки, Кон объехал на взбесившемся автобусе весь остров и посетил такое количество церквей, миссий и прочих религиозных учреждений, что этого хватило бы на целую жизнь доброго христианина. В монастыре Святого Иосифа он насмерть перепугал монашек, обвинив их в том, что они прячут Тамила под кроватью, а в Папара так стремительно вклинился в похоронную процессию, увидев, как ему показалось, во главе подлую рожу псевдодоминиканца, что скорбящие родственники все как один залезли на пальмы. Автобус отдал богу душу за неимением горючего в Пунаауиа, не доехав семнадцати километров до Папеэте, где Кон намеревался призвать народ к революции. В любом случае, поскольку враги знали настоящее имя Кона, с ним должны были обходиться бережно, и он мог позволить себе, по сути, все что угодно. У него даже мелькнуло подозрение, что именно этим и объяснялась полная безнаказанность, которой он пользовался на острове, но оно привело его в такое отчаяние, что он решительно его отмел.

Тамила нигде найти не удалось, как будто сам Господь Бог оповещал его обо всех передвижениях Кона, и в четыре часа пополудни, когда Кон, терзаемый неутоленной жаждой мести, явился в резиденцию к Татену, чтобы задать пару вопросов, его схватили жандармы, грубо затолкали в полицейский джип, отвезли в Папеэте и швырнули в камеру. Это вселяло некоторую надежду: если с ним так обращаются, значит, только на самом верху знают, кто он, и, следовательно, есть шанс продержаться еще некоторое время и даже сбежать на какой-нибудь затерянный островок архипелага Туамоту.

Рикманса на месте не оказалось. Он, как выражались его подчиненные, глумливо хихикая за его спиной, праздновал день святого Рикманса: африканская республика Батанга отмечала памятную дату — день, когда Рикманс сослал на Змеиный остров некоего уголовника, который вскоре стал боготворимым соотечественниками главой нового государства. По такому случаю в батангских школах вывешивали портреты Рикманса, и дети должны были подходить и плевать в него. У самого же Рикманса в этот день наблюдались любопытнейшие психосоматические явления — на лице появлялись стигматы,

он источал сильный запах роз — святой Иуда и мученик в одном лице — и кричал, что Иисус поджег дом в Папеэте, причем специально, чтобы его спровоцировать, но он, Рикманс, ни за что не пойдет у него на поводу, даже если из-за этого мир останется без христианской цивилизации.

Назавтра в семь часов утра заместитель Рикманса принес Кону на подносе глазунью, тосты с маслом, кофе, коробку гаванских сигар, после чего отпустил. Завтрак наверняка тоже прислали сверху — заместитель ничего не знал, это было видно по его ошеломленному лицу. Выходя, Кон наступил ему на ногу, и тот извинился. На его пути все расступались и кланялись. У Кона было такое чувство, что, взорви он сейчас бомбу в пятьдесят мегатонн посреди Тихого океана, все будут в восторге. Тем не менее он все-таки ухитрился подраться на улице с китайцем, которого обозвал “сражающимся французом”, что было страшным оскорблением из-за вспыхнувшей задним числом массовой ненависти к де Голлю. К полудню ему уже хотелось только одного — очутиться в объятиях Меевы, ради этого он даже готов был временно оставить без синяков фальшивую физиономию подлеца Тамила. За четыре часа он добрался на автобусе до Порт-Фаэтона, но там

рыбаки сказали ему, что с минуты на минуту начнется буря и лучше не сердить Папатоа, который дует с севера: Папатоа очень не любит встречать на своем пути лодки и рассматривает это как неуважение, если не прямой вызов. Кон тем не менее сел в пирогу и поплыл. Если великий Папатоа все-таки подует, то он швырнет ему свою пирогу в морду — Кону до смерти надоела Власть во всех ее формах.

Угрожающе черное небо, рифы, почти незаметные в серо-зеленой воде, и багровые гребешки волн, поднимавших мотор выше солнца, от которого над горизонтом виднелась лишь пурпурная макушка, меньше страшили его, чем перспектива снова взвалить на себя свою подлинную судьбу и под звуки гимна принять звание командора ордена Почетного легиона перед Домом инвалидов в Париже — "Марсельеза" неизменно напоминала ему о прославленных покойниках и безвинно убитых мальчишках, обрушивая в очередной раз на его голову всю мировую Историю. В конце концов он благополучно осилил если не Историю, то плавание через бухту и счел, что это в порядке вещей, ибо жизнь припасла для него немало других неприятностей.

Меева, следившая за пирогой с берега, встре-

тила его на верху лестницы, которую Бизьен распорядился вырубить в скалах для удобства туристов. Гроза раскалывала купол неба, и с каждой новой ослепительной трещиной казалось, будто он неминуемо рухнет, но тут же опять воцарялась тишина, неподвижность и гнетущая тяжесть, и вскоре новое рокочущее предупреждение обостряло тоску природы, жаждавшей освобождающего взрыва, которому какое-то непреодолимое табу мешало осуществиться. И ни капли дождя в воздухе, насыщенном призрачной фиолетовой влажностью: он давил на землю и сливался с Океаном — густая, вязкая третья стихия, ни небо, ни море. Внезапно в этом серо-лиловом куполообразном пространстве, рассекаемом молниями, появились птицы, которых Кон никогда прежде не видел, словно буря принесла их с собой с далеких архипелагов. Вдали невидимая гора иногда проступала в наплывах туч и содрогалась со страшным грохотом: в нем сливались эхо и его источник, голос грома и голос камня. Дракон с фиолетовым брюхом по-прежнему ежесекундно выпускал сверкающие когти, а Кон тщетно пытался вызвать в себе бодрящий первобытный страх. Просто электричество, ничего больше. Но рука Меевы в его руке дрожала,

и это радовало.

— Пойдем домой, Кон, мне страшно. Они гневаются там, наверху…

“Они”… Кон с минуту наслаждался “их” близостью и вновь вернувшимся на землю простодушием. Хижина плавала в теплом поту неба, а кокосовые пальмы в ожидании готового обрушиться с небес потопа покачивали изящными кронами с легкомыслием королей, которым восставшая толпа кажется очередью за бесплатным супом. Великий Матаи затаил дыхание, и тучи, притиснутые к горе, ждали момента, чтобы прорваться, ждали в напряженной неподвижности и время от времени грохотали, будто с бессильной яростью трубили в рог. Океан исчез за непроницаемой воздушной стеной. Кое-где за ней угадывалось тайное содрогание стальной воды вокруг рифов.

Кон жадно съел приготовленного Меевой петуха с бананами, глядя, как огромные тени ночных бабочек исполняют свой недолгий танец и исчезают со смертью их обладательниц в пламени лампы. Снаружи по-прежнему не было ни дождя, ни ветра, только грохочущая неподвижность и недоступная свежесть огромных масс воды, томившихся в плену у неба. Он бросился на кро-

вать, Меева прижалась к нему и тут же заснула. Лежа на спине, он чувствовал ее согнутую ногу на своем животе, движение ее груди подле своей, и вспыхивавшие за окном образы зримого мира терялись в ее густых волосах, которые он тихонько поглаживал. Только один раз, когда гром обрушил на гору особенно величественный разряд, Меева на секунду проснулась и с укором пробормотала:

— Нельзя так объедаться бананами, Кон!

Он даже не знал, спит он или нет, но вдруг почувствовал беспокойство, перешедшее в сильную тревогу, и унять ее было ему не под силу. Ему захотелось бежать, бежать прочь, чтобы справиться с охватившей его паникой, в которой к его обычным страхам примешивалась невыносимая тяжесть грозы, взявшей его в кольцо грохота и непрерывного сверкания.

Кон вылез из постели и как был, не одеваясь, вышел на порог. Его окутала липкая, словно влажная шерсть, темнота, и впервые за все время его дружбы с таитянской ночью ни один светлячок не зажег во мраке свою земную звездочку. Он сделал, дрожа, несколько шагов, вернулся в хижину, хотел лечь, но тревога не ослабевала, и у него снова возникло непреодолимое желание

бежать. Он бросился вон из хижины, помчался куда-то в непроглядную тьму, натыкаясь на стволы деревьев, и оказался, сам не зная как, на вершине холма, в прерывистом белом сиянии электрических разрядов, следовавших один за другим с такой быстротой, что ночь ни на миг не успевала сомкнуться.

Им овладел животный страх и такое острое ощущение опасности, что он резко обернулся и увидел метрах в двадцати две темные фигуры, приближавшиеся к пальмовой роще. От этого простого человеческого присутствия он испытал облегчение и радостно замахал руками:

— Эй! Эй!

Дальше все произошло так быстро и так неожиданно, что Кону отказала способность думать и чувствовать, он просто замер среди пульсирующих вспышек, опутавших его своей колышущейся паутиной. Незнакомцы рывком повернулись к нему, и он увидел два направленных на него автомата. В тот же миг где-то справа раздалась очередь, двое с автоматами на миг застыли, выронили оружие, согнулись пополам и повалились наземь, а справа раздалась новая очередь — видимо, с целью убедиться, что они не бессмертны.

Кон закричал, но не сдвинулся с места. Ноги не

слушались его. Холм заливала смертельная бледность непрерывных электрических вспышек. Потом вдруг Хуано-но втянул свои желтые когти, и ночь накрыла бесстыдную наготу земли.

Чья-то рука легла на его плечо.

— Караул! — заорал Кон, который не желал умирать, не произнеся вдохновенных слов, которые в миг озарения выражают порой суть всей жизни.

— Ну-ну, успокойтесь. Все уже позади.

Тамил, машинально отметил Кон, нисколько не удивившись. Он и без того был так ошеломлен, что в голове у него уже не осталось места для удивления. Свет электрического фонарика выхватил из темноты подножие холма. Два тела лежали одно на другом с восхитительной неподвижностью. На Тамиле был непромокаемый плащ с капюшоном, как у старых добрых бретонских капитанов, и руку он по-прежнему держал на плече Кона.

— Теперь вы в безопасности. Они убиты. Пойдите взгляните сами.

Это были китайцы, они лежали с открытыми глазами, сложив руки на животе. Кон никогда раньше их не видел.

— Чего они от меня хотели, эти ублюдки?

— Хотели убить вас. Вас уже дважды пытались убить на Таити. И один раз на Тринидаде… Итого трижды, насколько мне известно. С вами не соскучишься. Ваша голова слишком много весит на весах ядерного равновесия.

Все просто, как дважды два, но Кон не мог в это поверить. Два года они следовали за ним по пятам, знали каждый его шаг, знали, где он и кто он… Они опекали его, как наседка цыпленка, в надежде, что рано или поздно он снесет еще какое-нибудь гениальное яйцо.

— Какая гнусность!

— Что поделаешь! Человек жив не только тем, что прекрасно, а Бог не в состоянии за всем уследить.

— Хватит паясничать!

— Пойдемте со мной, не стоит будить Мееву, лучше ей всего этого не видеть. И вообще, мы не жаждем огласки. Я пришлю людей за телами моих китайских коллег и попрошу подобрать для них бухточку с тихой водой. А мы с вами тем временем…

Он обхватил Кона за плечи:

— Думаю, пара стаканов горячего вина будет вам кстати. Ваш приятель Маэ с удовольствием вас угостит.

Кон просто ошалел.

— Маэ? — взревел он. — Нет, вы мне скажите, есть на Таити хоть один человек, который еще не стал шпионом?

— Конечно, — ответил Тамил с уверенностью, которая показалась Кону чрезмерной и потому подозрительной. — Но поймите, нам иначе нельзя, у нас здесь стоят войска — пятнадцатитысячный гарнизон, — а кроме того, приближаются испытания на Мурароа. Пять великих держав прислали сюда тайных “наблюдателей”. Ну, и есть еще вы, месье… Кон. Думаю, вы предпочитаете, чтобы я продолжал называть вас так. А для Франции — мне следовало бы сказать, для Запада — вы в сто раз важнее пятнадцати тысяч солдат и даже испытаний на Мурароа. Поверьте мне.

Кон верил. Ему хотелось сдохнуть. Он плелся в темноте, голый, как червяк, все еще дрожа от страха и опираясь на Тамила. Небо опять несколько раз великолепно громыхнуло, но Кон был настолько пришиблен, что у него недостало гордости ответить на эти величественные звуки столь же громогласной очередью из собственной утробы. Он совершенно выдохся.

— Нам пришлось создать целую специальную сеть для вашей защиты. Вы стоите французским

налогоплательщикам двадцать миллионов старых франков ежегодно, не считая бессонных ночей ответственного за вашу безопасность… вашего покорного слуги.

Через десять минут Маэ встретил их у входа в пещеру. “Дитя природы” был в камуфляже и в погонах. Он разговаривал с двумя морскими пехотинцами в такой же пятнистой форме и приветствовал по-военному Тамила и Кона. Последний, чувствуя себя в крепких сетях беспощадной реальности, неспособный даже сочинить какую-нибудь легенду, чтобы все опровергнуть, в ответ обрушил на якобы “бывшего” или бывшего “бывшего” мощный поток ругательств. Тот выслушал их со спокойным любопытством, какое профессиональные военные обыкновенно проявляют к литературе, и гостеприимным жестом пригласил в “столовую”. За тяжелой дощатой дверью, хорошо Кону знакомой, он увидел рацию и двух аквалангистов — Тамил тут же отправил их убирать трупы, напомнив, что тела ни в коем случае не должны всплыть или вызвать водовороты. Кон рухнул в плетеное кресло и закрыл глаза. Он открыл их только после того, как выпил два литра горячего вина, приготовленного Маэ с сахаром и корицей. Шпионы участливо склони-

лись над ним:

— Ну как, вам получше?

Он вяло обругал их, но без вдохновения: это прозвучало скорее как признание собственного бессилия. Маэ пошел было за пижамой для него, но Кон категорически отказался. Да, голый, с голой задницей, несмотря на блистательные покровы цивилизации, которые ткутся уже много веков, чтобы скрыть преступления человека. Нет, он таков, каков есть, и желает таковым остаться. Именно с наготы и правды надо начинать все заново, если это еще возможно. Он пил, и вино вскоре возвратило ему энергию священного гнева, необходимого человеку, чтобы не дать сердцу застыть и умереть.

— Для чего им понадобилось меня убивать? Помимо общего соображения, что человек есть нечто такое, с чем в принципе примириться невозможно?

Тамил огорченно посмотрел на него:

— Месье… Кон, вы слишком умны, чтобы задавать такие вопросы…

Кон прищурился. Пальцы его крепко сжали стакан. Силы возвращались, и вместе с ними насмешливая злость, от которой ничего не меняется, но на душе становится легче. Снаружи

шумела буря, но в сравнении с бурей у него внутри это было нежным детским лепетом.

— У вас богатое воображение. Но иногда вы далековато заходите в своих шутках, забываете о колоссальном авторитете вашего имени… вашего настоящего имени, месье… Кон. Возьмите хоть историю с мотоциклом. Один наш уважаемый русский коллега и еще один китайский коллега убили друг друга несколько дней назад из-за этой выдумки. Мы выловили их трупы в лагуне… Рука торчала из воды…

Кона это потрясло:

— Они что, правда поверили?

— Нет, конечно. Какой вы ни есть гений, они не поверили, будто вы действительно открыли способ ловить то самое, что в просторечии называется человеческой душой, и использовать как бесплатное горючее, этакий неиссякаемый источник энергии, вечный двигатель. Но они поверили, что вы открыли *нечто*. Любые слухи о научном открытии, если они связаны с вашим именем, всегда воспринимаются всерьез и немедленно проверяются. Двое уже отправились из-за этого на тот свет… плюс двое сегодняшних.

Кон задумался:

— Четыре трупа — это как-то маловато. Меня

недооценивают. Я стою гораздо больше. Сами подумайте, одной моей бомбой вы можете стереть с лица земли столицу какого-нибудь крупного государства… Четыре трупа! Да это просто черная неблагодарность!

Тамил с интересом посмотрел на него:

— Вы страдаете гипертрофией совести, месье Кон. Напрасно вы так терзаетесь уже целых полтора года.

— Я терзаюсь, как вы изволили выразиться, гораздо дольше, с тех пор, как живу на земле, — сердито ответил Кон. — Уже около двух тысяч лет.

— Да-да, знаю-знаю, — согласился Тамил. — Но каковы бы ни были ваши удивительные дарования, от вас мало что зависит. Человечество никогда не испытывало недостатка в гениях и никогда, благодарение Богу, испытывать не будет. Не вы, так другой. Даже у китайцев уже есть бомба, а говорили, будто они очень отстают. Конечно, вы представляете для нас большую ценность — возможность получить перед другими странами преимущество в несколько лет. Поэтому кое-кто и пытается вас убрать, а другие, вроде нас с Маэ, вас оберегают. В вопросе ядерного равновесия вес научного гения, способный

перетянуть чашу весов, играет действительно решающую роль. Отсюда и… внимание, которым вас окружают… с той и с другой стороны. Но вы не хуже меня знаете, что даже если бы вы самоустранились… если бы ваш знаменитый “прорыв” не позволил так быстро создать оружие, которое сейчас готовится к испытанию на Мурароа, это бы сделал рано или поздно кто-нибудь другой… Так что мысль приехать на Таити и бродить на месте “преступления”… разыгрывать “проклятого гения”… терзаться и бушевать — это, знаете ли… Гипертрофия совести легко лечится. Ваш врач в Париже, доктор Бирдек, наблюдавший вас во время вашей последней нервной депрессии, наверняка вернул бы вам душевный покой, который так необходим сегодня крупному физику, пусть даже верующему христианину, чтобы продолжать плодотворно работать…

Кон не слушал. Волнение, усталость, пережитый страх в сочетании с алкоголем привели его в полубессознательное состояние, и осталась только мечта, острая, мучительная в своей недостижимости, о далеком неприступном острове, который Океан охранял бы со всех сторон. “Я ищу того, кем я был до сотворения мира”… Кон не способен был сейчас постоять за себя. Он поднял

на Тамила взгляд, полный страдания, в котором тонуло все, кроме последнего путеводного огонька — негодования.

— В сущности, — пробормотал он, — это вопрос теории вероятности. Цифры все есть, они опубликованы в газетах, но они никого не волнуют… Степень деморализации и пассивности людей такова, что народы больше ничего не замечают… Да их и нет уже, народов, остались только государства. Кстати, напомню вам признание, сделанное не так давно Организацией Объединенных Наций и Белым домом: шестнадцать миллионов детей, по самым скромным подсчетам, должны родиться неполноценными из-за радиации, уже накопленной в генах человечества с тех пор, как ведутся ядерные испытания[48]. И эта цифра занижена — некоторые биологи оценивают количество будущих уродцев в шестьдесят или даже восемьдесят миллионов. Это официальная цифра, Тамил, всеми утвержденная, всеми признанная и на которую всем насрать. Людей, правда, немного беспокоит грядущая атомная война, но преступление уже совершено, самое страшное преступление за всю историю. И знае-

[48] Примечания: 48

Кон приводит общеизвестный факт, отмечавшийся, в частности, генералом Бофром в статье 1966 г. (*Прим. автора.*)

те, ради чего?

Он стукнул кулаком по столу, и по небу прокатился гром. Тамил засмеялся.

— Великолепно! — сказал он.

Кон потерял голос и на миг замолчал, отыскивая его в глубинах гортани.

— Шестнадцать миллионов детей-дегенератов уже ждут в наших отравленных генах… Есть шанс, что родится… новый Христос… вполне нас достойный… Христос-дебил… глухонемой младенец Христос, к тому же умственно отсталый… Его наконец-то перестанут бояться… Преступное чудовище, которому можно смело доверить… духовное руководство… делами нашего мира…

Кона вырвало, и он рухнул на стол.

— Бедняга, — сочувственно вздохнул Маэ. — Трудно быть одновременно хорошим парнем и великим человеком.

— Надо отнести его домой, — сказал Тамил. — Помоги мне… Трудно быть человеком, вот и все. К счастью, это большая редкость.

XXXVI. Адам и Ева в земном раю (окончание)

Меева с обнаженной грудью возвышалась на носу пироги среди звездных россыпей: она гребла. Кон лежал у нее за спиной, одной рукой придерживая руль, другой сжимая термос с горячим вином, и смотрел, как весло погружается то в Млечный Путь, то в светящуюся вселенную микроорганизмов, каждый из которых мог теоретически стать зародышем нового человечества. Он чувствовал себя великим Те Туму, “Первопричиной”, спускающимся с небес на Тахито Фенуа, “Землю Прошлого”, навстречу своей супруге Атеа Нуи, “Великому Свету”, на пироге, полученной в дар от “бесконечного бога”, хозяина ключей от мира. Не хватало только последнего из могикан, Белоснежки и Микки Мауса.

Что до “бесконечного бога”, то он был, скорее всего, пошлейшим агентом спецслужб, но надо уметь использовать обманы зрения, и Кон смотрел, как весло Меевы вклинивается в звезды, иногда сбивая какую-нибудь из них. Кон задирал голову к небу и поглядывал на него как

равный, он ведь тоже не в поле обсевок, великий Чингис-Кон, умная голова, и его не удивишь столкновениями миров на небесном бильярде. Придерживая нетвердой рукой руль лодки и мироздания, пьяный, как последний король Помаре, он лежал на дне пироги, мечтая о какой-нибудь новой мифологизации земли и неба, которая обманула бы бдительность созвездия Пса и утвердила торжество мифа о Человеке над его исторической реальностью. Он принялся горланить что есть мочи — одолевая силой связок если не свой человеческий удел, то, по крайней мере, шум мотора, — великое *утэ* Непокорных:

Это есть наш после-е-едний
И реши-и-ительный бой,
Или стадом ванда-а-алов
Предстанет род людской!

— Кон, ты совсем спятил? — спросила Меева, стремительно терявшая мифологическое сознание.

— Надо заново мифологизировать мир! — заорал Кон. — Иначе человечество вконец освинеет!

Контрольный визит Бизьена положил конец

их идиллии на полуострове. После истории с передатчиком в заднице и всего, что за этим последовало, включая выстрелы наемных убийц и балет спецслужб вокруг его персоны, у Кона случился приступ отчаяния, который вылился в беспробудное пьянство, серьезно осложнив создание убедительного образа Адама.

Чаша переполнилась, когда Адам закричал Еве перед толпой голландцев, англичан, немцев и шведов, указывая на них пальцем:

— Если б ты, дура, регулярно принимала противозачаточные таблетки, всего этого не было бы!

Туристы обиделись: они не поняли, что “все это” относилось к ним лишь отчасти и имело куда более широкий метафизический смысл. Бизьену, несмотря на слабость, которую он питал к Кону, пришлось вмешаться, и Адам с Евой были вновь изгнаны из рая.

Мотор пыхтел, Кон рулил, Меева гребла. Время от времени она ворчала:

— Мне надоело! Зачем нужно грести, когда есть мотор?

— Из эстетических соображений! — возмущался Кон.

Эта темная, усыпанная звездами фигура на носу лодки создавала пьянящую иллюзию незапамят-

ного прошлого. Ему в который раз вспомнились слова Йейтса: “Я ищу того, кем я был до сотворения мира”.

— Все, с меня хватит! — сердилась Меева, бросая весло.

Кон объяснял, что дело в красоте и утраченной невинности мира, а вовсе не в скорости, но рационализм уже проник в сознание Меевы и оставил там неизгладимую печать.

— Какой ты все-таки сложный, Чинги! — вздыхала она и снова бралась за весло, а Кона захлестывала волна брызг и любви.

Посреди бухты, когда потребность излить душу стала непреодолимой, Кон сказал:

— Меня недавно пытались убить.

— Что? Кто тебя пытался убить?

— Сторожевые псы. Содержимое моей головы представляет угрозу для ядерного равновесия.

— У тебя белая горячка.

— Им известно, кто я.

— А кто ты, Кон? Я знаю, что ты большой человек, и только. Ты мог бы мне сказать. Кто ты, Чинги?

— Да не зови ты меня “Чинги”!

— Кто ты, Кон?

— Черт его знает! Я сам задаю себе этот вопрос

уже сто тысяч лет.

— Не хочешь говорить?

— Они вообразили, будто я прячу в себе Христа. Боятся, как бы Он не размазал их по стенке за все, что они вытворяют против рода человеческого. Поэтому решили уничтожить меня раньше, чем Он явится и призовет народы к мятежу…

— Не скажешь?

Кону захотелось вознестись еще выше.

— Ладно, так и быть, скажу… Я Человек! — И, провозгласив таким образом свое недосягаемое величие, он ясно увидел, как побледнели звезды, а Большой Пес удрал поджав хвост.

Ему полегчало.

Меева вздохнула:

— Ну ты даешь! Нет, ты, конечно, прекрасно трахаешься, но не думай все-таки, что ты Господь Бог.

Кон закрыл глаза. Да, эта девушка окончательно усвоила рационалистический взгляд на мир. Полинезии конец. Он подумал, не взять ли ее и в самом деле с собой во Францию, чтобы отдать учиться этнологии и вернуть таким способом к ее изначальной природе.

Он еще не вполне оправился после своих приключений. Но все же догадался принять

элементарные меры предосторожности. На следующий день после покушения он написал письмо профессору Стюарту из Массачусетского технологического института и подписался своим настоящим именем. Умолчав о том, где он в данный момент находится, Кон сообщил профессору, что готов принять предложение, сделанное ему за несколько недель до “исчезновения”, продолжить свои исследования в Соединенных Штатах. Он снял с письма фотокопию и оставил себе, а оригинал вручил стюардессе самолета, улетавшего в США. После чего отправился к Маэ в пещеру и, даже не взглянув в сторону этого подонка, потребовал вызвать по рации Тамила. Через час, когда шеф французской разведки на Таити примчался, Кон протянул ему копию письма:

— Вот. Вручаю это вам. Адрес на конверте. Поскольку вы все равно следите за моей перепиской… Сделайте так, чтобы письмо дошло. Вопрос жизни и смерти.

Тамил пробежал глазами текст, и лицо его омрачилось.

— Но вы же не подложите Франции такую свинью? Я знаю, у вас мать — американка… Но вы французский гражданин! Вы ставите меня в трудное положение…

— Да, было бы и правда смешно, если бы после того, как вы меня так долго оберегали, вам пришлось меня пристрелить, чтобы не допустить “предательства”!

— Что означает это письмо?

— Меня уже пытались прикончить китайцы и русские. Остались американцы.

— То есть?

— Если я соглашусь, хотя бы на словах, работать на Америку, ЦРУ оставит меня в покое. Более того, начнет со своей стороны тоже меня охранять. Незачем говорить вам, что я вовсе не собираюсь работать на Америку, равно как и ни на кого вообще. Единственное, чего мне хочется, — это найти тихий уголок, где можно спокойно заниматься любовью. Это письмо позволит мне выиграть время.

Тамил сунул письмо в карман:

— Хорошо. Но не стоит, право же, так метаться. После вашей нервной депрессии…

Кон и не знал, что у него была нервная депрессия. Он-то думал, что это душевный перелом.

— Я хочу сказать, — заключил Тамил, — что весь этот ваш театр не имеет смысла. Вам не удастся перестать быть собой. Вероятно, где-то произошла ошибка: научный гений промахнулся

и вселился в вас, а художественное дарование, для которого вы, совершенно очевидно, были предназначены, досталось кому-то другому… Возвращайтесь лучше в Париж и занимайтесь наукой.

Кон поймал себя на мысли, что когда Тамил без рясы, у него довольно гнусная рожа.

Несмотря на нежности Меевы, волны гнева по-прежнему накатывали на него с неистовой силой, и только братский голос Океана возле кораллового барьера немного его поддерживал. Кон слушал этот голос, лежа на пляже, и чувствовал себя понятым. Когда после второй попытки самоубийства врач в Париже сказал ему, что “это” пройдет, Кон расценил такое отношение к истории как истинно философское.

Все последующие дни он разрабатывал план бегства с Таити. Прежде всего отправить Мееву на Туамоту. Там она уговорит своего отца, вождя острова Уана, выйти ночью в море на “большой ритуальной рыбачьей пироге”, предназначенной для праздничных церемоний в честь бога Ауа, устраиваемых для туристов. Пирога будет ждать в открытом море, на пути рейсового кораблика, курсирующего между Уаной и Папеэте. Кон будет на борту. В темноте, когда кораблик окажется

вблизи пироги, он спрыгнет в воду. Все решат, что он утонул. Вождь подберет его, и они вместе с Меевой отправятся на какой-нибудь из островков архипелага, подальше от людей и цивилизации.

План не выдерживал никакой критики, но главное — надежда.

У него началась настоящая мания преследования. Ему повсюду мерещились убийцы и шпионы. Через неделю после возвращения с Тайарапу, когда он шел через кокосовую рощу, рядом упал орех, пролетев в нескольких сантиметрах от его головы. Он отскочил, и тут же в песок бухнулся еще один. Кон возмущенно заорал, взглянул вверх и увидел на пальме голую попку: мальчишка-таитянин собирал орехи. Кон обозвал сопляка туа уа ана, обозначив таким образом профессию его матери. Мальчик понуро опустил голову и заплакал, а у Кона возникло тягостное чувство, что он угадал.

Кон был настолько деморализован, что решил для разнообразия отправиться в гости, как давно уже обещал, к американцу Биллу Кэллему. Американец исповедовал принцип невмешательства и проводил его в жизнь у себя в роскошном бунгало, неподалеку от плантации Джапи.

Кон слегка побаивался пускаться в это пу-

тешествие, хотя и обезопасил себя согласием сотрудничать с Соединенными Штатами. Его письмо наверняка уже давно дошло. Три недели — более чем достаточно, чтобы ЦРУ обо всем пронюхало. Так что путь свободен. А потом, черт побери, он ведь никогда не нарушал верность Западу!

Кон доехал на автобусе до Пунаауиа и отправился дальше пешком вдоль моря.

XXXVII. ЦРУ

Джон Уильям Кэллем был идейным вождем нового американского движения в литературе и живописи, известного под названием “революционный абстенционизм”, или “творческое отрицание”. Кэллем был гений, наотрез отказывавшийся писать свое великое произведение. Невзирая на властные призывы вдохновения, он сдерживал себя изо всех сил, придавая тем самым своему неписательству глубокое мировоззренческое значение отказа. Молодые авторы-абстенционисты стекались к нему на поклонение со всех концов Америки. Кэллем не говорил им ничего, и они уходили под сильнейшим впечатлением. Он был лидером американского авангарда, чьим лозунгом стало отсутствие текста, достойно соперничавшее с отсутствием мысли в европейской нелитературе. Писательское молчание Кэллема достигало высот истинного художественного совершенства и было столь красноречивым, что в зиянии его нетворчества ясно прочитывался протест, потрясающий своей невыраженностью. Он считался одним из столпов западной культуры,

ее духовным глашатаем, активно противостоящим материалистическому обскурантизму Китая и СССР. В нем было что-то от человека Возрождения. Он не ограничивался литературой, занимался еще изобразительным искусством и пользовался большим влиянием среди нового поколения художников, сменившего поколения “поп” и “оп” и известного как поколение “топ”, что означает “вершина”. Его неживопись выставлялась во всех музеях — огромные пустые рамы символизировали пустоту бытия, непреодолимость материальных границ, положенных человеческим чаяниям, а также тот прискорбный факт, что наша природа обречена оставаться “вещной”. Он написал несколько пьес — разумеется, без текста. Авангардистские театры ставили их, именуя неспектаклями: неподвижные актеры молча смотрели на зрителей, пока их внутренняя пустота не передавалась залу. Кэллем был, несомненно, одним из ярчайших выразителей своего времени.

Кон шел по пляжу и смотрел в небо, развлекаясь тем, что мысленно перекраивал форму облаков,

как будто перед ним были тесты Роршаха[49]. Крепость в Акре после последней резни, рушащийся Нотр-Дам, окопы Вердена, где крабы напоминали каски давно убитых солдат, города после бомбежек, радующие глаз своей миниатюрностью, уменьшенный до приятных размеров Пентагон. Кон воссоздавал на ходу некоторые яркие этапы совсем иного пути. Дул легкий фааруа, утруждая себя не более, чем требовалось, чтобы вывести кокосовые пальмы из сонного столбняка. Их тени мягко скользили по пляжу, чередуясь с солнцем, которому услужливое облако не позволяло превратить песок в слепящее зеркало. Вдали дремали рыбаки на своих пирогах, прибой утих, ограничившись плетением белых кружев на рифе. Было около трех часов дня, время тишины на Таити, когда нигде не слышно транзисторов. Серые крабы бросались врассыпную при приближении Кона: в каждой из их бесчисленных норок колотилось от страха маленькое сердце.

Кон разулся, засунул кеды за пояс и наслаждался теперь нежными, прохладными прикосно-

[49] Примечания: 49

Герман *Роршах* (1884–1922) — швейцарский психиатр. В опубликованных им тестах пациенту предлагается набор чернильных пятен, клякс, и человек должен, не задумываясь, назвать возникающие у него ассоциации.

вениями песка к разгоряченным ногам. Ходить босиком по влажному песку вдоль спокойного Океана было наслаждением, никогда не терявшим для него остроты.

На подходе к каменистому руслу речушки, которой завершалось то, что наверху было водопадом, Кон, обогнув сломанную пирогу, чуть не наступил на парочку, занимавшуюся любовью. Мужчина был членом английской партии лейбористов, приехавшим на Таити от Всемирной организации здравоохранения. Девушка — дочерью одного из крупных торговцев овощами в Папеэте. Кон остановился:

— Ну как, хорошо?

Лейборист приподнялся:

– *Get the bloody hell out of here!* Вали отсюда к чертовой матери!

Кон мялся. Несмотря ни на что, его все-таки еще интересовало, что творится в политическом мире.

— Вы полагаете, Англия войдет в Общий рынок?

— Слушай, Кон, — закричала девушка, — ты не имеешь права меня оскорблять!

Кон искренне удивился:

— Но…

— То, что у меня любовь с *попаа*, вовсе не означает, что я готова делать это со всеми подряд! Сам ты Общий рынок, гад паршивый!

— Я же только спросил, очень вежливо…

— Да вы присаживайтесь, — сказал англичанин, не переставая трудиться, как истинный социалист, ради лучшего будущего. — Располагайтесь! Через несколько минут я к вашим услугам.

Кон пожевал потухшую сигару:

— У вас найдутся спички?

— Возьмите зажигалку в правом кармане брюк.

Кон нагнулся. Он так никогда и не узнал, что это спасло ему жизнь.

В пальмовой роще на вершине холма, в двухстах метрах от бунгало Билла Кэллема, человек, державший винтовку с оптическим прицелом, уже готов был спустить курок.

– *Oh, hell!* — выругался он, опуская винтовку.

Он был негр. Его напарник, сидевший на песке с биноклем, тоже опустил руку.

— Ничего, успеется. Все равно он должен быть один, свидетели нам ни к чему.

— Можно прикончить всех троих.

— Можно, но мы сюда не на пикник приехали.

Подпусти его поближе.

Кон шарил в кармане брюк. Наконец он нашел зажигалку, выпрямился, раскурил сигару и сделал несколько шагов, собираясь идти дальше.

— Верните, пожалуйста, зажигалку! — потребовал англичанин.

Кона потрясло это чисто британское хладнокровие. Как будто у парня был где-то третий глаз.

— Чем еще могу быть полезен? — спросил лейборист.

Кон положил зажигалку на место и ушел. Его тактичный и своевременный вопрос о вступлении Англии в Общий рынок был встречен так холодно, что он решил не поддерживать кандидатуру этого хама на выборах. У девушки красивая попа, но это еще не все!

Он шел по берегу. Бунгало Билла Кэллема уже виднелось на холме среди бананов.

Черный снайпер, которого звали О'Хара, вновь поднял винтовку с оптическим прицелом. Кон находился от него меньше чем в двадцати пяти метрах. На таком расстоянии использовать оптику было недостойно профессионала. Он снял ее, взял голову Кона на прицел, выбрав мочку левого уха, прямо над золотой серьгой, и в тот же

миг выронил винтовку. Потом постоял секунду или две с удивленным видом и рухнул на песок. Его спутник по имени Весли, стоявший к нему спиной, принял раздавшийся выстрел за тот, которого он ждал. Он следил за Коном в бинокль.

— Мимо! — сообщил Весли. — Ты сдаешь, старик!

Он обернулся. О'Хара лежал с помутневшим взглядом, из уголка губ текла кровь.

Весли остолбенел. Но уже в следующую секунду бросился ничком на землю и пополз к ближайшей пальме. Он не думал, даже не пытался думать, следуя велениям инстинкта, словно животное. Потом все-таки сообразил оглядеться, но увидел вокруг только пальмы, слишком редкие и слишком тонкие, чтобы за ними мог укрыться убийца. Он поискал глазами Кона: тот, петляя, как заяц, бежал между деревьями к бунгало Кэллема. Тут только Весли догадался посмотреть в ту сторону и заметил — или ему померещилось? — нечто такое, чего быть не могло, что не укладывалось в голове. Кэллем стоял к нему лицом на опоясывавшей дом галерее с карабином в руке.

Весли показалось, что он попал на другую планету, в другой мир, непостижимый и абсурдный. Кэллем был резидентом ЦРУ на Таити с

тех пор, как начались испытания на Мурароа, и, следовательно, являлся его и О'Хары прямым начальником на период выполнения задания. Однако именно он — сомнений не оставалось — убил одного из снайперов, прибывших в его распоряжение. Убил. Ибо О'Хара был мертв, как только может быть мертв человек, получивший пулю в сердце.

Кэллем сошел с ума! Другого объяснения Весли не находил.

Резидент яростно жестикулировал. Этот жирный боров, только что застреливший своего подчиненного, теперь, не выпуская карабина, исступленно махал руками, стараясь привлечь внимание Весли. Сумасшедший! Буйный сумасшедший! Весли бросился вперед, согнувшись пополам, как в Корее, перебегая от ствола к стволу, уверенный, что его шеф сейчас разразится сатанинским хохотом и начнет по нему палить. Он упал на землю возле синей дорожной сумки "Эр Франс", открыл ее и достал переговорное устройство. В первую минуту он мог только орать, не слушая Кэллема, который силился что-то объяснить, но язык ему не повиновался.

— Это вы стреляли! Вы его убили! Вот он лежит мертвый, черт вас побери! И не пытайтесь мне

внушить, будто…

— Я ничего не пытаюсь, — кричал в ответ Кэллем. — Это я, да, я, я! Мне ничего другого не оставалось, у меня приказ…

— Приказ? Приказ? Вы издеваетесь? Кто-то вам приказал застрелить О'Хару?

— Послушайте, Весли, немедленно успокойтесь! Да, именно так, я получил приказ. Точнее, контрприказ. Я уже час пытаюсь с вами связаться. Вы должны каждые два часа выходить на связь! Где вы были?

— Выслеживали объект, где ж еще!

Весли повернул голову и опять увидел труп О'Хары, к его открытым глазам уже подбирались мухи. Весли снова заорал:

— Вы дорого заплатите за это, Кэллем! Вам крышка, или я буду не я! И не врите, будто получили какой-то приказ, я все видел, я разделаюсь с вами сам, это так же верно, как то, что Бог есть!

— Сию минуту прекратите истерику! — срывающимся голосом крикнул Кэллем, который сам, похоже, был на грани истерики. — Я не получал приказа застрелить О'Хару, я и не говорил этого. Но мне не оставалось ничего другого. Ничего, понимаете, ничего, чтобы помешать ему спустить курок!

В его тоне звучало такое отчаяние, что Весли слегка опомнился. Надо быть с ним помягче. Главное сейчас, чтобы французские власти ничего не узнали.

— Объяснитесь, Билл, — сказал он, стараясь, чтобы интонация была по возможности примирительной.

Несколько секунд Весли слышал лишь свистящее дыхание Кэллема, пытавшегося овладеть собой.

— Послушайте, Весли! Я получил второй приказ, отменяющий первый.

Весли чуть не взорвался снова, но взял себя в руки. Он не мог смотреть в остекленевшие глаза О'Хары. Впервые в жизни вид трупа был для него невыносим. Климат, наверное.

— Мы получили приказ уничтожить человека, который считается особо опасным, — сказал он с расстановкой. — Для этого мы с О'Харой сюда приехали.

— Спасибо, что сообщили, — прошипел Кэллем. — Только, повторяю, я получил контрприказ. Срочный. Три *Z*. Я ясно говорю: три *Z*.

Весли размышлял. Возможно, Кэллем и не сошел с ума. Видимо, свихнулся кто-то повыше, в Вашингтоне. Это происходит сплошь и рядом.

Был же случай с Форрестолом, министром обороны при Трумэне, который в припадке безумия выпрыгнул с одиннадцатого этажа: ему привиделось, что русские высаживаются в Америке.

— Вы знаете, что означают три *Z*? — кричал Кэллем.

— Обеспечить любой ценой безопасность указанного лица, — автоматически ответил Весли.

— Отлично. Я рад, что вы наконец в состоянии соображать. Потому что я… Вернее, вы, О'Хара и я теперь считаемся ответственными за безопасность этого парня. Хотя ровно сорок восемь часов назад я получил подтверждение приказа его убрать — как человека, потенциально опасного для Соединенных Штатов. По тем же причинам, по которым китайцы — или русские — убили в Центральном парке не так давно физика Смедли. Вам понятно?

— Нет, — ответил Весли.

Выходит, Кэллем не рехнулся. Всё куда серьезнее. Ветер безумия действительно дует из Вашингтона.

— Я пытался вас предупредить, но вы были недоступны. Чудо, что вы оказались поблизости и я успел вас заметить в последний момент…

Потрясенный Весли искоса взглянул на "чудо":

хорошо хоть перестала течь кровь.

— О'Хара уже взял его на прицел. Я думал, что все пропало, но О'Хара не выстрелил, я так и не понял почему.

— Парень нагнулся, — объяснил Весли. — К тому же там были свидетели…

— Я побежал, схватил карабин… Когда я вернулся, О'Хара опять держал винтовку… Я не хотел его убивать, черт побери, вы ж понимаете. Я целился в ноги. Но я не киллер. И не снайпер. Я сделал, что мог…

Это звучало правдоподобно. Весли взглянул на О'Хару уже спокойнее. Все сходилось. Жертва долга. Издержки ремесла.

— Между прочим, Билл, все оперативные работники обязаны периодически проходить переподготовку. Вы должны тренироваться время от времени. Стрелять в цель, но лучше по бутылкам…

Кэллем не слушал:

— Я оттрубил пятнадцать лет на этой работе и никогда ничего подобного не слышал. Приходит приказ убрать — цитирую — "лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов". Приказ остается в силе две недели, подтверждается каждый божий день.

Вас присылают сюда, и в тот самый момент, когда мы приступаем к исполнению, причем в самых благоприятных условиях, приходит контрприказ, да еще три *Z* в довершение всего. Короче, я теперь обязан как зеницу ока оберегать негодяя, которого час назад должен был любой ценой уничтожить. Вы что-нибудь понимаете?

— Нет, — ответил Весли. — Но есть человек, который понимает еще меньше, чем мы. Это О'Хара.

— Может, тот тип согласился переметнуться и работать на нас или что-нибудь в этом роде.

— Да, наверно, что-нибудь в этом роде, — подтвердил Весли. — Это все объясняет.

— И все же я хочу, чтобы кто-нибудь мне сказал…

— Постарайтесь успокоиться, Билл. Посмотрите на О'Хару, вот кто ни о чем больше не тревожится.

— Очень смешно.

— Кстати, что с ним делать? Нельзя, чтоб его нашли французы.

— Пока бросьте в воду, а там посмотрим.

XXXVIII. За новые Женевские соглашения

Кон удирал во все лопатки по берегу Океана, демонстрируя новый интересный вид спорта — скоростной бег на подкашивающихся ногах. Из-под пяток летели облака песка, а нос издавал жалобные пошмыгивания. Он не сомневался, что прозвучавший выстрел предназначался ему, и готовился в любую секунду получить пулю в голову, в которой хранились такие бесценные богатства. Кон не дорожил жизнью, но ужасно боялся умереть.

Он добежал до бунгало целым и невредимым, но пришлось еще добрых пять минут колотить в дверь, пока Кэллем его впустил.

У Кэллема был расхлябанный вид типичного интеллектуала. Его физиономия так часто мелькала на обложках литературных журналов, что казалось, он только что сошел со страниц “Эсквайра”. Он был бородат, носил на лбу какие-то таинственные знаки, два красных и один синий, полученные якобы за паломничество в храм сына Рамы, которого он не совершал, и ше-

стимесячное пребывание в ашраме в Калькутте, где он никогда не был.

Внешность Кэллема производила впечатление отталкивающее, и он намеренно жил в состоянии перманентной лжи, лишь бы не быть самим собой. У него вызывало острейшее отвращение собственное лицо, не говоря уже о ста тридцати килограммах жира, и он испытывал потребность считать все это маской. Он мог нормально существовать, только искренне веря, что гнусный персонаж, каковым он является, ненастоящий, что он выдуман для отвода глаз. Под видом вождя литературного суперавангарда он скрывал уже больше десяти лет бесспорную подлинность агента ЦРУ, причем одного из самых надежных и ценных. Начальство прощало ему даже гомосексуализм, настаивая лишь на соблюдении приличий. На Таити его заслали в связи с испытаниями на Мурароа. Узнав от Чонг Фата, что Кон является объектом особого внимания французских спецслужб, Кэллем немедленно информировал Вашингтон. Потянулась обычная рутина: фотографии, отпечатки, особые приметы, запись голоса, микрофоны, тайные обыски, подслушивание разговоров, привычки, вкусы, корреспонденция, личные связи, круг знакомств,

диаграммы Стюарта, поведение под действием алкоголя, образцы почерка, сексуальные склонности, экспертиза криминалистов. И вдруг грянул гром. Кэллем был поражен до глубины души, когда ему сообщили, кто такой Кон на самом деле. Что этот наглый люмпен — великий человек и его чуть ли не с собаками ищут правительства сверхдержав, казалось Кэллему полнейшей несуразицей. В его представлении гениальный ученый должен был быть личностью возвышенной и одухотворенной, а уж никак не уличным хулиганом — такое у него просто не укладывалось в голове. Он считал богемность и распутство уделом исключительно художников и поэтов. А тут как будто Эйнштейна подменили Гогеном. Все условности, традиции, привычные стереотипы требовали грязных художников и чистоплотных ученых. Зато его почти не удивил приказ уничтожить мнимого Чингис-Кона, полученный одновременно с сообщением о прибытии Весли и О'Хары. Ничего не поделаешь. Ядерное равновесие постоянно висело на волоске, его могло нарушить любое новое открытие. После того как в Массачусетсе "по неосторожности утонул" профессор Чурек, Соединенные Штаты за десять лет потеряли Расмилла, Лючевского,

Грегори, Паака, Спетаи — все они умерли от каких-то внезапных болезней, которых никак не предвещало состояние их здоровья. По опубликованной в Кембридже сводке, число исчезнувших со сцены виднейших советских ученых к 1965 году достигло пяти. Франция потеряла в 1963 году Бернера, в 1964-м Ковалу, а также Барлемона, Франка и Густавича. По Японии цифры тоже известны: Косибаси, Сото, Окинада и Кусаки за один год. Во всех этих случаях смерть, если верить официальным данным, наступила по естественным причинам. В январе 1966 года “Фри спич”, студенческая газета Университета Беркли, цинично писала:

Наверно, было бы проще, если бы сверхдержавы созвали специальную конференцию и договорились между собой, сколько ученых и каких именно нужно уничтожить с каждой стороны во имя ядерного равновесия, и все бы строго придерживались этих новых Женевских соглашений.

Кэллем провел Кона в гостиную и плюхнулся на софу, плавая в своих жирах, как бледная кувшинка в болоте. Уже несколько недель Кэллем пребывал в маниакальном состоянии, выпивал полбутылки виски с утра и видел Кона, даже

когда того поблизости не было, как некоторые невротики видят крыс или пауков. Вдобавок он терзался переживаниями морального характера. Пришлось убить коллегу и, что особенно огорчительно, единственного чернокожего специалиста, которым могло козырять ЦРУ. В дни негритянских волнений наличие среди доблестных бойцов ЦРУ киллера-негра освобождало это учреждение от обвинений в расизме.

У Кона стучали зубы, он был серый от страха. Кэллем томно откинулся на подушки:

— Вы чем-то взволнованы? Что с вами?

— В меня опять стреляли, вот что со мной.

“Опять” — это было интересно.

— Все эта сволочь Ван Гог!

У Кэллема задергалась левая половинка задницы. У него это было признаком надвигающейся нервной депрессии.

— Что?

Кон пожал плечами.

— Что, что! — передразнил он. — Бедняга Винсент совсем спятил. Ладно, я понимаю, что ему не везет, никто не покупает его работы. Он должен стать покойником, чтобы зарабатывать живописью. Но я-то тут при чем? Он уже пытался в Бретани зарезать меня бритвой, а теперь вот

стрелял…

У Кэллема от ярости перехватило дыхание, он трижды сглотнул слюну, прежде чем обрел дар речи.

— Бросьте, приберегите это для вашего Диснейленда!

Кон сидел опустив голову. Ему просто необходимо было сейчас кому-то довериться.

— Билл, за мной охотятся правительства всех стран.

Как давно ждал Кэллем этой минуты! Он замер, чтобы не спугнуть муху, летящую к нему в паутину.

— Налейте мне выпить.

Кэллем встал и налил Кону тройную порцию виски, суеверно избегая даже глядеть на него.

Кон опустошил стакан и теперь молчал. Кэллем снова сел и прикрыл глаза. С этим ублюдком ничего не стоит и инфаркт заработать.

— Билл, я ученый.

— О, правда?

— Я изобрел адскую штуку. — Кон взял бутылку и допил до конца. Он наслаждался. Он вновь чувствовал себя в своей стихии. — Я разработал один составчик… Он очень прост в изготовлении, легко растворяется в воде и страшно летучий.

Скорость распространения приближается к скорости света.

Кэллем закрыл глаза совсем. Значит, с мотоциклом он просто ломал комедию.

— Для военных целей?

Кон обиделся:

— Нет, что вы, как вы могли подумать!

— Прошу меня извинить…

— Для мирных целей, напротив. Для самых что ни на есть мирных. Поэтому сверхдержавы так меня и обложили. Китай, Америка, СССР, Франция, Ватикан — все трясутся от страха. Я действительно ухитрился восстановить против себя весь цивилизованный мир.

— Может, объясните, в чем состоит ваше адское открытие?

Где-то там, в темноте, ворочался во сне Океан. Ночные запахи, всегда более тяжелые, чем дневные, наводили на мысль о некоей первозданной женственности, чувственной и зовущей.

— Понимаете, Билл, — сказал Кон, понижая голос, — эта штука грозит нарушить весь уклад жизни человечества. Настоящая революция для нашего времени, когда труд священен и мораль повсеместно торжествует. Неудивительно, что силы порядка хотят со мной разделаться, пока о

моем открытии не стало известно. Билл, я придумал вещество, которое произведет полный переворот в технике полового акта. Вместо жалких нескольких секунд оргазм будет длиться шесть часов, а потом можно опять начинать сначала, и так сколько хочешь. Это и есть возвращение к земному раю, Билл. А теперь представьте себе Мао Цзэдуна…

Кэллем с ревом вскочил с софы и завертелся посреди комнаты, вытанцовывая что-то вроде безумного ча-ча-ча, сжав кулаки и запрокинув голову. Слезы ярости катились из закрытых глаз. Это было очень красиво. Кон остался доволен своим произведением. Не всякому дано заставить отплясывать такую гору жира.

— Что это с вами? — спросил он невинно.

— Убирайтесь отсюда сию же минуту, поганый сводник! — заорал Кэллем. — Живо! Вон! Вон, говорю!

У Кона возникло трагическое ощущение, что он потерял друга.

— Не сердитесь, Билл, я не виноват. Я всегда мечтал осчастливить человечество.

— ВОН!

Кэллем указывал на дверь мелодраматическим жестом, и Кон на миг почувствовал себя обесче-

щенной девушкой, которую неумолимый отец выгоняет из дому с младенцем на руках.

Он вздохнул:

— Хорошо, хорошо… Уж и пошутить нельзя…

Билл Кэллем набрал полные легкие воздуха и на выдохе изверг поток нецензурной брани, впервые въяве продемонстрировав размах своего литературного дарования.

— Чао!

Кон удостоверился, что бутылка пуста, и удалился с гордо поднятой головой. Теперь он знал, что и Билл Кэллем тоже шпион. Его окружили заботой буквально со всех сторон.

Он направился к Дому наслаждений, единственному месту на земле, где он мог расслабиться.

XXXIX. Благая весть

Вечером Кон возвращался домой по пляжу в обнимку с таитянской ночью, которая по природе своей — женщина. Прекраснейшая из всех, и единственная из всех — таинственная.

Засунув руки в карманы, он тихонько насвистывал. Воображение работало на полную катушку. Он страшно гордился своей выдумкой. Поймать отлетающую душу и навеки заточить в нашем земном гадюшнике ради промышленной выгоды! Не нужны больше ни нефть, ни уран... Просто блеск! Но Кон был не вполне собой доволен. Можно придумать и получше. Мало взять в плен душу, надо еще ее расщепить и подарить великим державам поистине сокрушительное оружие.

Он шел и свистел в темноте, повеселевший, с легким сердцем, смакуя высочайшее достижение в ремесле пикаро, когда можно открыто говорить правду и никто тебе не верит. Такое удается только истинным виртуозам.

Он вытащил из-под рубахи сигару, которую стащил у Кэллема, и закурил. Огонек во тьме мог в

принципе навести на цель снайперов, но он уже имел дело с русскими, китайцами, французами и американцами, и теперь, по идее, должна была наступить передышка.

Кон подошел к фарэ в состоянии легкой эйфории. Все вокруг дышало гармонией, контуры пейзажа были словно выведены рукой мастера. На лунном фоне, прильнув к небу, спала гора, кокосовые пальмы склонялись над белизной песка, от которого поднимались морские запахи.

Кон толкнул дверь.

Из постели метнулся какой-то *танэ*, схватил со стула штаны и выскочил в окно.

— О, пардон, — сказал Кон.

Меева не пошевелилась, она спокойно лежала, раскинув ноги. По ее счастливому, умиротворенному лицу Кон понял, что пришел вполне вовремя и ничему не помешал. Она улыбнулась ему и потянулась. Он что-то пробормотал и направился к умывальнику. Бритва была еще влажная, со следами волос и мыла. Это его возмутило.

— Какого дьявола! — заорал он. — Я не выношу, когда пользуются моей бритвой! Безобразие! Стоит только выйти за порог…

— Вечно ты из-за пустяков поднимаешь шум, Чинги.

— И потом, что это за манера выскакивать в окно, ни здрасьте, ни до свидания?

— Он застенчивый.

— Застенчивый-застенчивый, а даже зубы моей щеткой не постеснялся почистить. Просто свинство!

— Что же ему было делать? Он ведь не знал, когда сюда шел, что ему понадобится зубная щетка!

— Кто этот олух?

— Понятия не имею. Я с ним только что познакомилась.

— А, ну ладно. Что можно поесть?

— Знаешь, я приготовила тебе обед, но он все умял.

Кон подошел к кровати:

— Ну вот что, я не собираюсь читать тебе мораль, но когда *вахинэ* позволяет всяким проходимцам брать бритву и зубную щетку человека, с которым она живет, да еще скармливает им его обед, это значит только одно: что она не умеет обращаться со своим *попаа*. Я очень недоволен.

— Кон, погоди…

— В холодильнике пусто?

Меева чуть не плакала. Нет ничего оскорбительней для таитянки, чем сказать ей, что она не

умеет обращаться со своим *попаа*.

— Я думала, ты не будешь сегодня есть дома, и потом, сам знаешь, когда занимаешься любовью…

Кон смягчился. Она была права. Невозможно делать сто дел одновременно. Меева — настоящая таитянка. Она знает, что важно, а что нет. Любовь на первом месте. Все остальное может подождать.

Он присел на кровать и погладил ее по щеке:

— Ладно, не реви. Ты хорошая девочка.

Она обвила его руками, прижалась к нему:

— Мы ведь счастливы вместе, правда, Кон?

— Да.

Он все еще сердился.

— Но ты должна понять, что зубная щетка *попаа* священна.

— Я куплю тебе другую завтра, у китайца.

Он положил голову ей на грудь:

— Тебе было хорошо?

— Очень. Все-таки Господь Бог здорово все на земле устроил.

— Да. Кое-что ему удалось. Однако он оставил нам еще кучу работы.

— Но ее же можно не делать!

Кон восхитился. Это было на сто процентов

верно.

Масляная лампа не нарушала мягкость окружающей полумглы. Прибой стих. Где-то вдалеке петух, обманутый прозрачной ясностью ночи, настойчиво и рьяно возвещал рассвет с упрямой убежденностью лжепророка. На москитную сетку шлепнулась ящерица, в ужасе замерла на секунду и стрелой умчалась прочь. Меева ласково гладила его по голове и крепко обнимала, как всегда, когда чувствовала в нем тревогу. Причину его тревоги она не понимала. Кон, впрочем, тоже. Это и есть в тревоге самое тревожное.

— Кон…

Он повернулся к ней, сжал ее руку:

— Я с тобой.

Хотел добавить: “Я всегда буду с тобой”, но осекся. Он не мог взять ее во Францию. Таитянки во Франции чахнут, бледнеют, тают на глазах. Она лежала окутанная длинными черными волосами. Ее огромные глаза стали вдруг еще больше. Она в нерешительности умолкла, и Кон думал о том, какие потаенные мысли посещают это живое сокровище, которое боги забыли случайно на земле в своем поспешном бегстве, когда завершилась эра мифов и настало время реальности.

— Почеши мне спинку, — сказала она наконец

грудным голосом.

Таитянка всегда найдет, чем удивить. Он послушно начал чесать. Меева мурлыкала.

— Ты потрясающе это делаешь!.. Ох, как приятно! Как приятно!

Кон был в своей стихии. Он знал, что он великолепный любовник. Он мог чесать спинку без устали, целыми часами.

— Кон, Флора, кухарка губернатора, сказала мне, что там у них только о тебе и говорят. И вроде бы ты важный человек. Я не хочу, чтоб ты уезжал. Если ты важный человек, значит, обязательно уедешь, бросишь меня. А теперь, когда мы ждем ребенка…

Кон замер:

— Мы ждем ребенка? С каких пор?

— Я беременна.

— От меня?

— Не знаю, от тебя или не от тебя, но хочу, чтобы отцом был ты. Все, что у меня есть, твое, Кон.

Кон знал, что у таитянок это считается высшим проявлением любви. Он был растроган и даже — неожиданно для себя — слегка горд, оттого что станет отцом. Извечное мужское тщеславие, ничего удивительного.

— И ты не знаешь, от кого?

— Нет, конечно, как я могу знать?

— Не обижайся, я спрашиваю просто так, имею же я право полюбопытствовать, от кого он, мой будущий сын. Обещаю о нем заботиться. Я страшно рад, честное слово.

Она улыбнулась:

— Правда?

— Ну да, я такой же человек, как все. Я и не думал, что во мне дремлет любящий папаша. Мне бы хотелось, чтобы это был мальчик. Забавно, я даже представить себе не мог, что на меня это так подействует.

— Он будет красивый, вот увидишь. Я никогда не спала с некрасивыми. Ты сможешь им гордиться.

Кону вдруг показалось, что жизнь удалась. У него даже заколотилось сердце. Это была первая хорошая новость за много месяцев. Он смахнул слезу. Меева схватила его за руку:

— Не плачь, Чинги!

— Да ведь это потрясающе! — вскричал Кон.

Меева гладила его по руке.

— Я тебе потом еще рожу, сколько захочешь. Я люблю тебя, правда.

Кон пришел в необычайное возбуждение. Его сын, не им зачатый, наверняка будет парнем что

надо. А может, и того лучше. Древняя мечта о чудесном рождении жила в нем как последняя надежда людского рода.

— Ну хватит плакать, Кон.

Он рыдал. Это же великолепно — подарить миру сына, который не связан с тобой кровными узами! После того как не стало его родителей, Кону ни разу еще не было так хорошо. Да, он расчувствовался. Выходит, он так долго топтал в себе все человеческое, чтобы стать наконец человеком.

— Ну хватит, Чинги, не реви…

— Ты что, не видишь, я взволнован! Такое нужно отпраздновать. Одевайся, пошли танцевать…

Вдруг он забеспокоился:

— А тебе танцевать-то можно? Он не вывалится?

— Он не может так просто вывалиться. Уж если зацепился, так зацепился.

— Вот, кстати, напомнила, надо купить ртутную мазь. Понятия не имею, где я подцепил эту дрянь. Такая грязища кругом, не знаешь, куда деваться.

— От Унано, — сердито процедила Меева. — Эта девка не француженка. Совершенно не следит за собой.

Он закурил сигару. И снова мысль о том, что у него будет сын от неизвестного отца, пробудила в нем надежду.

Они встали, вышли из фарэ, пошли по пляжу, держась за руки. Километры белого песка были рассыпаны, казалось, исключительно для того, чтобы им было приятно ступать по нему.

— Когда ты едешь во Францию?

— Почему ты решила, что я еду?

— Потому что у тебя вид побитой собаки.

Он понимал, что оставаться на Таити невозможно. Но еще был шанс сбежать. Существуют ведь где-то другие острова, необитаемые, в далеких атоллах. Но его все равно очень быстро отыщут. Они берегут его как зеницу ока и не упустят ни за что. Как якобы сказал ему де Голль, когда он якобы осуществил свой знаменитый ядерный "прорыв": "Я считаю для себя честью жить в одно время с таким выдающимся человеком".

Он улыбнулся. Он еще не сдался. Как будет благодарен мир, когда первый механизм — автомобиль, стиральная машина или зерновой комбайн — с мотором в две-три души (говорить станут попросту "в два-три духа") поступит в продажу!.. Никто тогда не посмеет заявить, что человечество утратило духовность.

Накануне он виделся с Бизьеном и подробно рассказал обо всем, что с ним произошло. Бизьен вежливо выслушал, не выказав ни малейшего удивления или скепсиса, и вообще был необыкновенно учтив. Кон так и не понял, поверил бывший патрон его исповеди или счел ее очередной творческой импровизацией, по части которых сам был большой мастер.

— Фантастическое совпадение! Интерпол разыскивал меня за мошенничество, и я сделал в Венесуэле пластическую операцию. И кто бы мог подумать, хирург совершенно случайно сделал меня похожим как две капли воды на крупного французского ученого, бесследно исчезнувшего около двух лет назад, скорее всего убитого. Отец французской водородной бомбы, многообещающий исследователь, с массой перспективных идей… Его везде искали, ну и, естественно, в какой-то момент вышли на меня и “опознали”… Сходство, видимо, разительное… В результате одни пытаются меня убить, другие ночей не спят — охраняют… Все хотят, чтобы я работал именно на них. Представляете? Надеются, что я придумаю новое сверхмощное оружие… Это я-то!

Бизьен задумчиво сосал маслину. Лицо его не выражало ничего.

— Красиво, — сказал он.

— Не верите?

— Отчего же? Верю, — вежливо ответил Бизьен.

— И между прочим, я его сделаю. Я способен на все.

— Знаю.

— Ведь я — Человек! — воскликнул Кон мелодраматическим тоном, как бы пародируя самого себя, что позволяло путать карты и высказываться вполне откровенно под видом шутовства. — Я — Человек и в этом качестве обречен на уничтожение, потому что наши выдающиеся мыслители предрекают мне близкий конец. Короче, меня пытаются истребить и одновременно меня же спасти. И то и другое правильно. Я ведь непредсказуем. Могу добровольно пойти на крест, как Спаситель, могу сделать страшнейшее оружие. Это уж как получится. Такой вот я, ничего не поделаешь!

Бизьен одобрительно кивнул. Означало ли это, что друг-пикаро ему верит или просто выражает профессиональное уважение коллеге? Кон не знал.

— Конечно, можно было бы сказать им, что это не я. Но в сущности, это все равно я. И я не

стал отпираться. Не имело смысла. Это все равно что утверждать, будто не я распял Христа, не я обратил негров в рабство, не я устроил в Китае “культурную революцию”, будто уничтожение евреев, Вьетнам, Хиросима, отравление атмосферы, Крестовые походы не моих рук дело… Естественно, моих, чьих же еще?.. Но бежать я уже не могу. Некуда.

Маленькие, лишенные выражения глаза великого промоутера медленно поднялись, чтобы встретиться с глазами Кона. Кон выдержал его взгляд не моргнув. По лицу Бизьена скользнула улыбка.

Номер не прошел. Впервые за всю карьеру пикаро Кон покраснел.

— Крестовые походы были из рук вон скверно организованы, — строго сказал Бизьен, то ли решив тактично сменить тему, то ли сожалея, что его там не было. Уж он бы организовал все как надо.

Светало. За пальмовой рощей хижины деревни Таэ приветствовали рождение дня столбиками неподвижного дыма. По Океану пробегала легкая дрожь, подгоняя к берегу длинные белые полукружия. Мужчина и женщина, держась за руки, шли по розовому песку. Кон пел.

XL. Святотатство

В тот день он решил подкрепиться у мамаши Нуны, которая держала харчевню в Таореа и всякий раз, когда он заходил, кормила его свининой.

— Кон, да ты фью! Это правда, что ты скоро нас покидаешь? Садись. Свинина поднимает настроение.

Кон сидел мрачный. Он, в общем, готов был снова стать Марком Матье, профессором Коллеж де Франс в двадцать семь лет, гениальным физиком и автором пресловутого “прорыва”, давшего Франции возможность наконец-то взорвать свою первую термоядерную бомбу в земном раю. Он Человек, у него, как, впрочем, и у всех, ипостасей может быть сколько угодно, и раз уж цивилизация требует… Что ж, он вернется в Париж и изобретет еще какую-нибудь мерзость. Да она уже почти готова. Осталось только додумать кое-какие детали.

Он повеселел.

— Ну, как свинина, Кон?

— Вкуснейшая!

Он вдруг с отвращением оттолкнул тарелку.

— Что с тобой?

— Что со мной, что со мной… Просто есть больше не хочется.

В сущности, Бог запретил евреям есть свинину для того, чтобы избранный народ случайно не превратился в племя каннибалов.

Кон улегся под деревьями. Свет был такой яркий, что пальмы казались китайскими тенями, а неподвижные пироги с рыбаками висели где-то посреди сверкания, в котором небо и Океан сливались в единое целое, и это не было ни водой, ни воздухом, а каким-то лучезарным небытием.

Прикрыв лицо фуражкой, Кон собрался вздремнуть, убаюканный дружественным бормотанием воды у его ног, как вдруг услышал шаги. Он покосился через плечо на заросли кустарника, и шаги стихли. Если *танэ* и *вахинэ* уже начали прятаться, стесняясь заниматься любовью, значит, точно всему конец! Он зевнул, закрыл глаза, и в ту же секунду на него обрушился град ударов. Он завопил, стал отбиваться, дал кому-то ногой в живот, получил удар в челюсть, потом в голове что-то вспыхнуло, и он потерял сознание.

Придя в себя, Кон сообразил, что находится в участке. Бросив взгляд сквозь решетку, он

мгновенно узнал двор, выходивший на улицу Маршала Фоша, а напротив вывеску “Кит-Кэт”, куда устремлялись все моряки на поиски *вахинэ* своей мечты. Впервые жандармы обошлись с ним так круто, и Кон устроил себе суд совести, быстро проанализировав свое поведение в последние дни. Однако упрекнуть ему себя было не в чем.

Так он промаялся час или два, пока не услышал “эй! эй!”, доносившееся со двора. Он бросился к окну, готовый выразить свое отношение к происходящему. Но это оказалась Меева. Она стояла во дворе вместе с тремя другими *вахинэ*, пришедшими поддержать ее в беде.

— Зачем ты делаешь такие вещи, Кон?

— Какие вещи? Что я сделал? В любом случае это неправда!

— Говорят, ты избил жандарма Поццо при исполнении служебных обязанностей.

— Ох ты, черт! — воскликнул Кон.

Он совершенно об этом забыл.

Случилось все накануне. Кон устал и потому был настроен мирно. Он ездил на рыбалку, которая заключалась у него в том, что он просто сидел в пироге, нисколько не тревожа рыб. Он возвращался домой с пустыми руками, в ушах еще шумел прибой, а в голове не оставалось ни

одной мысли, что и есть истинная цель всякой медитации.

Там, где тропа выходила на дорогу, Кон наткнулся на Христа. Тот сидел у обочины, положив крест на землю, и ел колбасу, запивая дешевым красным вином. Кон не узнал его и удивился — лицо было ему незнакомо. Значит, новенький. Последний, кто работал Христом, был Беллен, француз с мыса Венеры, приехавший на Таити в качестве "дружелюбного инструктора" *Club Med* и уволенный оттуда за то, что пренебрегал коллегами-француженками, занимаясь исключительно таитянками.

— Привет!

— Привет! — отозвался незнакомец.

Кон смотрел на крест, лежащий на земле. Это было нехорошо. Крест, он на то и крест, чтобы его нести.

— Давно работаете?

— И не спрашивайте! Скоро неделя. Не работа, а каторга, можете мне поверить.

Он говорил с сильным корсиканским акцентом, обдавая собеседника запахом чеснока. Кон окинул его критическим взглядом. Внешность совершенно неподходящая. Приземистый, мужиковатый, терновый венец сбился на затылок.

Взгляд злой и глупый. На худой конец он сгодился бы на Варавву. Нельзя же все-таки совсем не считать туристов за людей и подсовывать им что ни попадя!

— Не нравится?

— А вам бы понравилось?

Кон начал нервничать. Он воспринял это как личное оскорбление. Взять на роль Христа такого дуболома! Бизьен явно сдавал.

— Шеф вызвал меня и говорит: “Поццо, ты поступаешь в распоряжение месье Бизьена из «Транстропиков», это будет тебе хорошим уроком”. А на мне висят десять суток строгого ареста за пьянку. Как тут откажешься? Меня могут просто выслать во Францию.

Страшная правда замаячила перед Коном, но он все еще боролся против очевидности.

— Так вы… на службе?

— Ну да, — ответил Поццо. — Я жандарм.

Кон испустил звериный рык и бросился на Поццо. Он не мог снести такого надругательства над Христом. Жандарм был парень крепкий, но Кон обрушился на него с неукротимостью праведного гнева. Поццо попал в больницу с двумя сломанными ребрами.

Кон стоял понурившись, сжимая прутья ре-

шетки. Ему не следовало так поступать. Он себя выдал.

— За что ты набил морду Поццо, Кон?

— Он оскорбил меня.

— Похоже, это тянет на три месяца тюрьмы…

Меева расплакалась. Теплая волна захлестнула сердце Кона. Все-таки любовь — великолепная штука, она обязательно должна где-то существовать.

— Я буду ждать тебя всю жизнь, Кон, все три месяца.

У Кона слезы выступили на глазах:

— Ты хорошая девочка! Поменьше спи с другими. Ты ведь знаешь этих *попаа*. Они ничего не понимают. И будут считать меня рогоносцем.

— Если хочешь, я вообще ни с кем спать не буду.

— Я ж не прошу тебя в гроб лечь!

Кон услышал, как в замочной скважине повернулся ключ. Вошел охранник Кристоф. Кон никогда не видел таких бледных жандармов.

— Шеф ждет вас у себя, месье Кон.

Едва войдя в кабинет, Кон понял, что все действительно кончено. На лице Рикманса читался неописуемый ужас, и Кон его почти пожалел. Непозволительная слабость.

— Прошу извинить нас, месье… месье Кон.

Кону стало любопытно, что значила эта запинка в конце: то ли у Рикманса от подобострастия сорвался голос, то ли едва не слетело с языка его настоящее имя.

— Чудовищное недоразумение… У меня был выходной… Мои подчиненные… Я не считал возможным оповещать их о приказах, полученных в отношении вас… Мне известно, что вы дорожите своим инкогнито… Жандарм Поццо будет сурово наказан…

— Не трогайте его. Я с ним сам разберусь.

— Разумеется… как вам будет угодно… Позвольте предоставить в ваше распоряжение мою машину…

Кон предложил Мееве прокатиться с ним на “ситроене”. Шофер, сняв фуражку, распахнул перед ними дверцу. Меева посмотрела на Кона со страхом:

— Господи, Чинги, что ты опять натворил?

Ему не хотелось ее пугать. Он взял ее за руку и улыбнулся:

— Я — ничего. Это Гоген. Люди не так неисправимы, как принято считать. Иногда они учатся на своих ошибках.

XLI. Гоген отомщен!

Кону не хотелось покидать Таити, не воздав должное тому, в чьем обличье он прожил так долго. Акт публичного покаяния, символизирующий готовность капитулировать перед Властью и вновь занять свое место в обществе, вполне вписывался, как ему казалось, в образ Чингис-Кона, с которым ему вскоре предстояло расстаться навсегда. Ему не хватало последнего штриха, чтобы оставить на Таити полноценное, законченное произведение искусства.

В четыре часа дня ничего не подозревавший Бизьен проезжал через центр Папеэте на экскурсионном автобусе вместе с пассажирами “Президента Рузвельта”, которых он лично встречал в порту. На углу улицы Поля Гогена он заметил большое скопление народа, причем толпа явно волновалась. Вытянув шею, он увидел сцену, заинтересовавшую его необычайно, ибо это была уже готовая живая картина, и он пожалел, что раньше не догадался включить нечто подобное в туристическую программу. Под аркадой, перед цирюльней китайца Фонга сидел на

стуле жандарм Поццо, босой, с закатанными до колен форменными брюками, а перед ним стоял тазик с водой. Он поджимал ноги, словно боялся, что их оторвут. Кон смиренно стоял перед ним на коленях, держа полотенце и мыло, и умолял вручить ему свои конечности. Бизьен ощутил присутствие муз. Этот чертов Кон работал в русле великой традиции. Он велел шоферу остановить автобус. Пожилая дама, заглянув в путеводитель, осведомилась о причинах остановки.

— Это сцена из жизни Поля Гогена, — ответил Бизьен. — Она давно уже вошла в местный фольклор. Каждый год в годовщину смерти художника ставятся живые картины. Перед вами один из наиболее волнующих эпизодов в биографии этого бунтаря, который к концу своих дней раскаялся, о чем, к сожалению, далеко не все знают. Завтра вы прочтете об этом в приложении к путеводителю. Церемония называется “Покаяние Поля Гогена и изъявление им покорности обществу”.

Он утер холодный пот, выступивший на лбу от такого кощунства, и вышел из автобуса. Первым, на кого он наткнулся, был Рикманс, в штатском. В толпе чувствовалось брожение. Слышался ропот недовольства, отдельные выкрики. Рикманс сильно нервничал. Он бросил на Бизьена негоду-

ющий взгляд.

— Что тут происходит? — спросил Наполеон туризма.

— Подрывная акция, — мрачно ответил Рикманс. — Когда Кон вчера пришел ко мне и сказал, что хочет перед отъездом публично вымыть ноги жандарму Поццо в знак раскаяния и в искупление неприятностей, которые он доставил таитянским стражам порядка, я сразу заподозрил неладное. И решительно сказал нет. Нельзя учинять такое над жандармом в форме. Это оскорбляет его достоинство. Но он настаивал. Я позвонил губернатору. И меня разделали под орех. Сказали, чтобы я не смел ему перечить, что надо потакать всем его прихотям. Тогда я вызвал Поццо и объяснил, что этот хулиган мечтает при всем честном народе вымыть ему ноги и он должен согласиться, ибо того требуют национальные интересы Франции. Но он и слушать ничего не желал, у него тоже есть своя гордость, пришлось пообещать ему внеочередной отпуск и чин капрала. Вот до чего мы докатились, месье Бизьен. Я буду просить перевода.

Бизьен пробрался сквозь толпу поближе. Поццо в конце концов сдался и опустил ноги в тазик. Наверно, никогда со времен Ватерлоо лицо

жандарма-корсиканца не выражало такого негодования. Кон старательно намыливал ступни, тщательно промывал каждый палец, счищал черноту вокруг ногтей. Это было красиво само по себе, а уж под табличкой “Улица Поля Гогена” особенно. Но по-настоящему Бизьен понял все макиавеллиевское коварство Кона, когда из толпы стали раздаваться возмущенные возгласы:

— Безобразие! Нас заставляют мыть ноги фараонам!

— Довольно! Кон, пошли их в жопу!

— Смерть легавым!

— Скажем “нет” диктатуре!

— Нацисты!

— Фашизм не пройдет!

— Кон, держись! Они не имеют права! Ты должен постоять за себя!

Кон понуро опустил голову. Его сгорбленные плечи, сутулая спина выражали приниженность и безропотную покорность.

— Кон, хватит! Мы с тобой!

— Дай ему в харю! Мы поможем!

— Нет такого закона, чтоб ты жандармам ноги мыл!

— Кон, восстань!

Кон ждал. О чем он думает, этот разиня Тароа?

Ведь ему было дано четкое указание! И в ту же минуту Тароа громким сильным голосом затянул “Марсельезу”:

Вперед, сыны родного края,
Пришел день славы! Страшный враг,
Насильем право попирая,
На нас поднял кровавый стяг![50]

Толпа взорвалась. Таитяне, все как один, ринулись вперед по зову бессмертной песни предков. Могучие руки подняли жандарма Поццо вместе со стулом и зашвырнули в витрину цирюльни. Рикманс пытался удрать, но был пойман. С него стащили штаны и бросили в Океан, а когда голова его показалась над водой, в нее полетели горсти песка вперемешку с ругательствами:

— Сука! Палач!

— Фашист!

— Садист!

— Иуда!

На улицах зазвенели разбитые стекла. “Марсельеза” звучала со всех сторон. Кона с триумфом несли на плечах. Китайцы поспешно закрывали лавки. В их адрес уже летели угрожающие выкри-

---

[50] Примечания: 50
Перевод В. Ладыженского.

ки: безошибочный инстинкт толпы подсказывал, что у этих тоже рыльце в пушку. Подняв руки в форме буквы *V*, Кон, которого бурно прославляли со всех сторон, приветствовал в ответ народ. Океан у рифа вторил радостному гулу толпы. Кон снял с шеи таитянки, встречавшей туристов, цветочную гирлянду и украсил ею табличку с именем Поля Гогена.

XLII. Повинная голова

“Эр Франс” известил Кона, что билет первого класса на парижский самолет ждет его в агентстве, надо лишь сообщить не позднее чем за сорок восемь часов дату вылета. Кон провел день с рыбаками в бухте Пуа-Пуа и, вернувшись домой, застал Мееву сидящей перед мешком корреспонденции, которую Шавез переправил ему из Франции с припиской:

Мы счастливы, что ты жив и здоров. Вся команда ждет тебя с нетерпением. Без тебя мы топчемся на месте.

Кон записку порвал. Она затронула кое-какие тайные струнки его души. Значит, от него еще ждут новых свершений. Когда он открыл огонь, изобрел пращу, лук со стрелами, а затем и порох, каждый раз все ахали и охали от восторга. А потом приходили опять и требовали чего-нибудь получше. Что ж! Надо так надо.

Когда у него в Париже случился “душевный перелом”, — как же это было давно! — врач сказал ему: “У вас так называемый синдром Спасителя,

медицине хорошо известный. Он может привести как к терроризму, так и к святости, а иногда человек предается своеобразной дикарской пляске, силясь сбросить со своих плеч тяжесть мира. Вы же сами как-то сказали, что Атлант был плясуном".

Истина заключается в том, что каждый человек — Атлант и несет на своих плечах бремя мира. Как от него освободиться? За этим вопросом таится несбыточная мечта — умыть руки. Когда Кона спрашивали, откуда у него такая страсть к танцам, он отвечал: "Я не танцую. Я топчу". Говорят, в России был такой случай: в местечке после погрома подобрали умирающего еврея, его грудь была рассечена шашкой. Кто-то спросил: "Тебе очень больно?" Он ответил: "Только когда смеюсь".

Кон лихо сдвинул на ухо капитанскую фуражку.

Он без страха поджидал врага. У него еще хватало сил бороться.

Меева по-прежнему смотрела на гору писем. Кон сел на корточки рядом с ней. Она взяла его за руку.

— Надо купить тебе чемодан, — сказала она. — И костюм. Ты же не можешь ехать так во Фран-

цию… Там холодно.

— Перестань, пойдем выкинем все это в море.

Письма теперь приходили каждый день, некоторые полугодовой давности, адресованные ему в Коллеж де Франс и исправно пересылаемые Шавезом. Приглашения на конгрессы, симпозиумы, коллоквиумы, предложения прочесть курс лекций, написать статью, дать интервью, разнообразные поздравления. Сообщение о присуждении ему звания доктора *honoris causa* одного из американских университетов. Институт перспективных исследований спрашивал, не согласится ли он занять место, освободившееся после смерти Оппенгеймера. Восторженные статьи, доказывавшие, как дважды два, что, если бы не его решающий вклад, создание французской водородной бомбы затянулось бы еще лет на десять. Он предвидел, что не сегодня завтра толпы журналистов высадятся в аэропорту и набросятся на него с сакраментальным вопросом, что он чувствует в момент триумфа, когда его водородная бомба вот-вот озарит ослепительной вспышкой небо над Океанией.

Однажды прибыл посыльный на мотоцикле и вручил ему официальный пакет. В нем вместе с личным приветствием от губернатора лежала

вырезка из “Фигаро”. Всего несколько строк, зато на первой странице и крупным шрифтом. Заметка гласила:

Французский физик Марк Матье, бесследно исчезнувший полтора года назад, живет, как выяснилось, на одном из островов Тихого океана. Молодой ученый, чья определяющая роль в разработке французского ядерного оружия общеизвестна, восстанавливает там силы после тяжелой болезни.

Кон скомкал заметку.

Он не видел причин отвергать имя, которое ему таким образом предлагалось. Еще один недоразвившийся плод, не более того. Его друг поэт Мишо не зря написал: “Спотыкаясь о камни, он уже двести тысяч лет шагал, когда я услышал крики ненависти и презрения, которыми его хотели застращать”. Приходилось признать, что он является также и Марком Матье, как являлся некогда Гомером или Эйхманом. Тут главное — верить в эти метаморфозы и продвигаться наугад к некоему чудесному будущему воплощению, которое ждет его после поругания.

— Что с тобой, Кон? — забеспокоилась Меева. — Ты совершенно зеленый.

— Зеленый? Это, наверно, зрелость. Понимаешь, я ведь принадлежу к категории людей, которых называют интеллектуалами. А у них процесс созревания происходит в обратном порядке. В молодости они, как правило, красные. Потом становятся зелеными. В этот период они, пожалуй, лучше на вкус.

В тот же день он получил несколько поздравительных телеграмм из Национального центра научных исследований. В преддверии испытаний на Мурароа его наградили орденом Почетного легиона. Меева читала телеграммы через его плечо.

— Что ты для них сделал, Кон, что они так тебя благодарят?

У него не хватило сил соврать. Он опустил голову.

— За что тебе навесили орден Почетного легиона?

— Его обычно дают посмертно. Мне дали за Гогена.

Но у него возникло странное ощущение, что она все понимает. Уже и дома не стало покоя!

Двое молодчиков, которых он никогда прежде не видел, деликатно следовали за ним на некотором расстоянии, сопровождая его, куда бы

он ни пошел, а ночью слонялись вокруг фарэ с электрическими фонариками. Франция трогательно заботилась о нем. В один прекрасный день, заглянув под кровать в поисках сандалии, он заметил круглую штучку, прикрепленную к стене. Оказалось, микрофон. Он осмотрел все кругом и обнаружил еще один — в другой комнате, под столом. Но теперь это было уже не важно. Он ни на миг не расставался с Меевой и все время держал ее за руку. Никогда он не нуждался в ней так остро, как сейчас. Она была последней ниточкой, тянувшейся к первозданному миру, к эпохе нерастраченных возможностей, к "тому, кем он был до сотворения мира". Она не имела даже аттестата о среднем образовании. И готовилась родить ему сына от неизвестного отца, что вселяло большие надежды.

Меева с ним почти не разговаривала. Он никогда не видел ее такой деловитой. Как-то утром она молча перегладила все его вещи и аккуратно сложила в небольшой чемодан, который сама же купила накануне. При известной доле воображения можно было бы подумать, что она страдает.

Потом нарядилась в свое лучшее платье, красное с синими цветами.

— Ты куда собралась?

— Пойду потанцую.

Она страдала действительно. Кон знал, что она будет плясать несколько часов кряду, а потом отправится на пляж трахаться с каким-нибудь *танэ*. Ей было тяжело. Кон впервые в жизни чувствовал себя любимым.

Последний удар, окончательно добивший Кона, настиг его около шести часов вечера, когда солнце уже начинало раздуваться, чтобы лопнуть над Муреа. Кон в фуражке набекрень сидел на песке перед домом, опустив бороду на поджатые колени, и курил свою последнюю сигару. Он не знал, как быть. Невозможно везти Мееву во Францию. Для таитянки это будет не жизнь. Она сразу же утратит всю свою невинность и чистоту. Да и сам он в Париже постоянно будет чувствовать себя рогоносцем. На Таити никто не был рогат, здесь вопрос так не стоял, местные традиции делали нелепым само понятие супружеской измены. А в Париже все воспринималось иначе, искажалось, извращалось. Там он неизбежно потребует от Меевы верности, и она этого не вынесет. Можно, конечно, закрыть глаза, но это недостойно. Ничто не вызывало у него такого омерзения, как снисходительные мужья-рогоносцы.

Так он сидел и мучился, как вдруг увидел че-

ловека, шедшего в его сторону через гибискусы. Это был элегантный седоватый турист, с которым Кон несколько дней назад поболтал минут пять на террасе “Ваирии”. Немец, вспомнил Кон. И тихо выругался. Сейчас он испортит ему весь закат.

Немец подошел ближе. Он выглядел действительно очень элегантно. На нем был безукоризненный серый костюм с бабочкой, в руках он держал шляпу. Волосы разделял идеально ровный пробор. Лицо было симпатичное, с длинным аристократическим носом.

— Извините, пожалуйста…

Кон и ухом не повел. Таитянские правила запрещают приставать к человеку, который спокойно курит сигару на берегу Океана, смакуя заход солнца.

— Месье… Кон, не так ли?

Кон обладал особым даром предчувствовать дерьмовые ситуации. Где-то в заднице у него имелся небольшой радарчик, и за несколько секунд до катастрофы он начинал вибрировать, вызывая холодную мелкую дрожь. Сейчас радар работал в бешеном темпе. Кон взглядом дал понять чужаку, что тому лучше отвалить.

— Прошу прощения за беспокойство, но я ищу свою дочь.

— Не там ищете.

— Я знаю, что она не хочет меня видеть. Но ее мать очень тоскует. Она больна, может умереть. Мне бы хотелось, чтобы Либхен поехала во Франкфурт, хотя бы на несколько дней.

— Здесь нет никакой Либхен.

Либхен! Только этого не хватало!

— Позвольте представиться. Моя фамилия Кремниц, я профессор международного права в Тюбингенском университете. В юности у меня случился, так сказать, романтический порыв, вполне обычный для этого возраста. Я сбежал в Полинезию… Не мне вам объяснять, как это бывает. Женился на таитянке. В конце концов я, разумеется, вернулся в Германию с женой и дочерью. Она изучала этнологию в университете.

Кон вздохнул с облегчением. Ложная тревога. Радар, похоже, испортился.

— Либхен принадлежит к бунтующей молодежи, которая непрерывно воюет с нашей бедной цивилизацией… Она уехала из Германии и решила поселиться здесь. Старая тоска по земному раю, мечта современных людей вернуться назад к истокам, как будто можно будет оттуда двинуться в другом направлении…

Кон вытащил изо рта сигару:

— Я-то тут при чем?

— Прошу меня извинить. Я пришел не затем, чтобы размышлять вслух в присутствии незнакомого человека. Мы уже год не получали никаких известий о дочери… Я занялся поисками. Написал в несколько учреждений в Папеэте. Нам сообщили, что Либхен живет здесь уже около двух лет под именем Меева…

Кон одновременно раскрыл глаза и рот. Сигара выпала из пальцев. Он разразился такой кошмарной бранью, что от нее покраснел бы сам Господь Бог, если бы Он умел краснеть. Потом Кон рывком вскочил на ноги:

— Либхен, да? Либхен!

Он дико захохотал. Немец смотрел на него с изумлением:

— Простите, я не понимаю…

Кон сделал глубокий вдох, задрал голову. Сын приготовился выложить Отцу все, что он о нем думает, но вдруг вспомнил, что там, наверху, никого нет. Он бросился бежать к Океану.

Бухта лежала в четырехстах метрах, там, где из-под земли среди скал и деревьев вытекал источник. Пирога стояла на своем обычном месте, привязанная к свае. Кон потрогал веревку. Она оказалась длинной и крепкой, как раз такой, как

нужно. Оставалось только найти камень потяжелее, ибо тяжесть на душе, будучи всего лишь фигурой речи, веса не имеет и ко дну утянуть не может. Кон ощущал себя выбитым из седла, родео кончилось, и уже не стоило пытаться снова вскочить на коня. Только недоумки вроде Гогена способны верить, будто надо "упрямо и страстно держать курс, — как пишет он в своем дневнике, — к гостеприимной земле, восхитительной и чудесной, дивной родине свободы и красоты".

Наконец он нашел здоровенный валун, килограммов в тридцать, который едва смог поднять. Кое-как доволок его до пироги.

Пришла ночь. Кону даже показалось, что она нарочно поторопилась, чтобы увидеть конец бунтаря. Ночь любит поучительные финалы. Кон поднял глаза. Звезды сгрудились над ним, как ярмарочная толпа. Он поискал среди них свое созвездие и не нашел. Оно было, наверно, очень занято и не могло заботиться одновременно обо всех своих подопечных.

Кон принялся грести.

Фосфоресцирующая вода светилась мириадами невидимых жизней, дававших знать о себе лишь едва уловимым трепетом. Пальмовые рощи тонули во мраке, виднелись лишь их неподвиж-

ные лохматые головы. Луна высунула из-за туч бледную лысину, словно придирчиво выбирала парик. Океан нес в своих складках блестящие монетки разменянной бесконечности.

Когда пирога достигла середины лагуны, Кон положил весло, крепко привязал камень к концу веревки, а на другом конце сделал петлю и накинул на шею. Связал на всякий случай себе запястья. Опасался, что сработает инстинкт самосохранения.

Стоя в пироге со связанными руками и петлей на шее, Кон еще раз взглянул на то, что за неимением достаточно сильного слова именуется небом: ночные светила явились на представление в полном составе, трибуны были заполнены мирами. Он почти слышал крики продавцов мороженого, орешков и лимонада.

Ему почудилось, что в сиянии бессчетных световых лет появился особый торжествующий блеск. Галактики были на стороне Отца. Ему давно следовало избавиться от своего непутевого Сына. Кон стоял в пироге во весь рост.

Камень оказался тяжелее, чем представлялось на берегу. Трижды не получилось его ухватить. Мешали связанные запястья. Пирога опасно раскачивалась. Кон боялся сделать себе больно.

Наконец ему удалось поднять камень, прижимая его локтями к животу. Он машинально набрал в легкие воздуху, потом сообразил, что этот естественный рефлекс лишь продлит агонию. Кон выдохнул воздух, закрыл глаза, сжал зубы и бросился за борт.

Ко дну он не пошел. И, открыв глаза, обнаружил, что его держит веревка. Он слишком рано выпустил из рук камень, и тот упал обратно в пирогу.

В груди Кона закипела такая злость, что Океан вспенился и вокруг поднялись волны. Отец издевался над ним. Играл с ним в кошки-мышки. Со всей яростью и силой настоящего безбожника Кон разразился проклятиями. В своем неистовстве он совсем забыл, что Отец любит в Сыне подобные проявления беспомощности и веры и что природа чувств, которые Он внушает, Ему безразлична, для Него главное — служить источником вдохновения.

Кон решил снова залезть в пирогу, чтобы довершить начатое. Через несколько минут он понял, что ему это не удастся. Связанные руки не позволяли ухватиться за борт как следует. Он дернул за веревку, чтобы вытащить камень в воду. Но в результате лишь подтянул к себе пирогу.

Он попытался утонуть без камня, но при каждом погружении, как только ему начинало не хватать воздуха, терял самообладание и выныривал.

Так он болтался в воде, разрываясь между праведным гневом и радостью, оттого что остался в живых. Люди только что потеряли блестящий шанс лишиться крупного ученого. Он же, со своей стороны, сделал все, чтобы стать подлинным благодетелем человечества — привязал себе на шею камень и честно хотел утопиться.

Кон поплыл к берегу. До пляжа оставалось километра три. Со связанными руками и тяжелой пирогой, которую он невольно тянул за собой, у него не было никакой надежды доплыть. Он глотал воду и начал нервничать — так ведь и утонуть недолго.

Он перевернулся на спину, придерживая веревку. Пирога очутилась в лунной дорожке, как и он сам, так что оставалось лишь ждать. На пляже наверняка должны быть какие-нибудь парочки. Он закричал:

— На помощь! Спасите!

Это было несколько унизительно для записного циника, но ему ничто не мешало всюду потом рассказывать, что это полиция, власть и церковь

привязали ему на шею камень, стремясь от него избавиться. Все же знают, что они довели Гогена до могилы.

— Помогите! Убивают!

Примерно через час какая-то пирога отделилась от берега и начала двигаться в его сторону.

— Убивают! Спасите! Помогите!

Это оказалась Меева.

Кон замолчал. Решил поберечь голосовые связки. Скоро они ему пригодятся.

— Кон! Любимый мой!..

— Тварь! Дрянь! Сука!

— Кон, миленький, я тебе сейчас все объясню…

— Заткнись! Что я ненавижу больше всего, так это вранье!

Она подогнала свою пирогу к его и потянула изо всех сил за веревку.

— Тише, идиотка, ты меня задушишь!

Меева дрожала. Волосы ее растрепались, она даже не успела надеть платье и была совершенно голая. Кон возмущенно зашмыгал носом. Эта немка-потаскуха трахается на пляже с первым встречным, как невинная *вахинэ*. Нимфоманка, вот она кто! Сексуальная маньячка! Только немка может так себя вести. Кому еще придет в голову явиться на Таити и осквернить последний уголок

невинности в этом мире, единственный прекрасный остров, где не существует понятия греха.

— Проститутка! Мразь!

Меева плакала. Но Кона и без того мутило от соленой воды.

— Давай-давай, поплачь, мне как раз хочется посмеяться.

— Кон, моя мать — таитянка, клянусь тебе…

— Да какая разница, кто твоя мать!

— Ты же знаешь, в каждой таитянке обязательно есть хоть капелька европейской крови!

— Капелька! Ха-ха!

Он приготовился сразить ее наповал.

— Либхен! — процедил он с убийственной иронией. — Либхен!

— Я до двенадцати лет жила на Туамоту. У меня таитянский менталитет… Честное слово!

Кон зажмурился. Что могло быть ужаснее, чем услышать из уст Меевы слово “менталитет”!

— Да, мой отец — немец, но он всегда был антифашистом и…

— Породив такую доченьку, как ты, он загладил свою вину перед фюрером. Я уверен, что Гитлер на том свете его простил!

— Подплыви ближе, дай я тебе помогу. Ты же простудишься! Вот вернемся в фарэ, и можешь

меня побить.

— Не прикасайся ко мне! Убирайся! Не желаю жить с такими людьми, как ты и я.

Но у него не хватало сил следовать своим убеждениям. Он очутился на дне пироги с таким количеством камней на душе, что хватило бы построить собор.

— Кон, ты должен меня выслушать. Я хотела стать настоящей таитянкой, как моя мать. Хотела вернуться к своим корням. Ты можешь это понять?

— Ну конечно! Пришлось даже проучиться пять лет на факультете этнологии, чтобы обрести утраченную невинность. Тьфу!

— Я не хотела быть немкой. К тому же во времена Освенцима мне было всего три года…

Кон сел. Не будь она голая, он бы, наверно, ее задушил. Но у нее было действительно роскошное тело. Он закрыл глаза.

— Я не хотела там оставаться. Я ощущала себя таитянкой, и только таитянкой. Не могла приспособиться к условностям, предрассудкам, притворству…

— Вот-вот, давай поговорим о притворстве.

— Я не могла сказать тебе правду. Ты бы убежал от меня как от чумы. Ты хотел Мееву, а не Либхен

Кремниц.

Кон сплюнул:

— Сколько тебе платили за то, чтобы шпионить за мной?

— Я жила с тобой не для того, чтобы шпионить. Это несправедливо! Когда меня заставили это делать, у нас уже полгода была любовь. Я люблю тебя, Кон. Люблю всей душой.

— Еще слово про душу — выброшу в воду.

— Сначала их интересовало только одно — не работаешь ли ты на русских или китайцев. Когда они разнюхали, кто ты такой, они страшно удивились — думали, ты давно где-нибудь за железным занавесом. А потом я уже не могла от них отвязаться. Носила им время от времени клочки бумаги, какие-то записи, которые ты забывал на столе. У меня же немецкий паспорт. Мне угрожали высылкой, если я откажусь. Он крепко держал меня в руках, гад.

— Что за гад? Кэллем?

— Нет. Отец Тамил.

— Никакой он не отец и вообще не священник, — вяло сказал Кон, вдруг осознав, что еще пытается спасти лицо, и вдобавок не свое.

— Про это я ничего не знаю. Знаю только, что это он.

— Он тебе платил?

— Ты что? За кого ты меня принимаешь?

Берег был уже совсем близко. Меева перестала грести.

— Кон…

— Нет, все, хватит. Сыт по горло. Еще немного, и я начну от тебя блевать.

— Но мы ведь были счастливы вместе, разве нет?

— Мы друг друга не знали.

— Мы были счастливы.

Да. И он жалел, что все кончилось.

— Вот что я тебе скажу, Либхен. Пока мужчина и женщина друг друга не знают, они могут друг друга любить. И это даже бывает иногда прекрасно. Но когда они узнают друг друга по-настоящему… это уже невозможно.

Она уронила лицо на руки. Волосы упали ей на грудь, на колени.

— Ладно, не плачь, — смилостивился Кон. — Все равно мне надо уезжать. Так даже легче.

Он обшаривал глазами небо. Искал свое созвездие.

— Забавно, — сказал он. — Что-то я не могу сориентироваться.

Меева рыдала.

— Ненавижу своего отца…

— Я тоже, — отозвался Кон.

— Как он посмел сюда явиться, испортить все!..

У Кона возникла идея, подсказанная страстью к совершенству:

— Едем со мной во Францию, Либхен. Я буду делать бомбы еще более разрушительные, а ты пойдешь на панель. Из нас выйдет дивная пара.

Они были в нескольких метрах от берега. Кон встал. Человечность или бесчеловечность? Это одно и то же.

Он снова сел, обнял ее за плечи.

— Не плачь, детка, — сказал он, и в его голосе было столько доброты, что Меева резко вскинула голову. — Не плачь.

Он улыбался.

— Я хочу тебе кое-что сказать… Меева. Невинность обрести вновь нельзя… И знаешь почему?

Она ждала.

— Потому что ее нельзя потерять.

Она схватила его за руку:

— Кон, я знаю один островок в атолле Атура… Там никто не живет. Настоящий рай. Мы могли бы там поселиться. Начать сначала. Начать все сначала.

Острова. Бегство. Новое начало. Вернуться на-

зад и пойти по другому пути. Нетронутый пляж на берегу Океана. “Я ищу того, кем я был…”

— Давай уедем туда, Кон. Все забудем.

— Это нельзя забыть.

— Я даже могу родить там ребенка. Это было бы чудесно. Как в первый день…

Кона вдруг обуял ужас. Теперь, после всего этого вранья, он опасался самого худшего.

— От кого он?

— Я уже говорила. Не знаю.

— Ты уверена, что не от меня? Уверена?

Он не хотел подложить такую свинью своему сыну. Он был хорошим отцом.

— Я правда не знаю, от кого он. Со всеми этими *танэ*, которые у меня были за последнее время… Тебе не о чем волноваться. — Она помолчала. — Он будет чудесный. Добрый, не такой, как все. Из меня получится неплохая мать, вот увидишь.

Пирога уткнулась в песок. Кон шагнул за борт и подтолкнул ее. В глазах у него стояли слезы.

— Твой остров далеко отсюда?

— Триста миль. Туда корабли не заходят, он в стороне от морских путей. Никто там никогда не был, кроме меня. Девочкой я плавала туда с Уаной, старым вождем Туамоту, он давно умер… С тех пор я все время мечтаю о своем острове…

Ты не представляешь себе, как там красиво. Это невозможно представить, если долго живешь на свете. Но я его никогда не забывала. Давай попробуем, Кон, а? Давай попробуем!

— У тебя есть карта?

— Его нет на карте. Но я знаю, как туда добраться. Ты согласен?

Кон привязал пирогу. Пальмовая роща казалась сплошной черной массой с подвижными контурами. Таити вздымал над ними свой бычий хребет. На склоне, с той стороны, где Бизьен выбрал место для явления Бога Моисею, вспыхивали, гасли и снова вспыхивали красные и желтые неоновые огни: там испытывали Неопалимую Купину. Из репродукторов, укрепленных на верхушках пальм, ночной ветер доносил до Океана звуки церковной музыки. Лучи фар скользили по темным зарослям. Автобус вез туристов на Крестный путь: этой ночью должно было состояться Распятие под председательством губернатора. На Мурурoа работали день и ночь, чтобы наверстать отставание Франции.